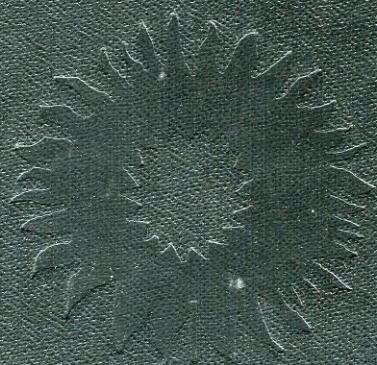


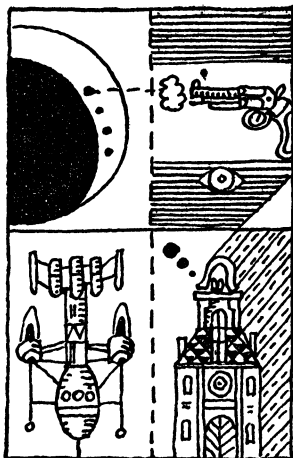
АРКАДИЙ, БОРИС
СТРУГАЦКИЕ



НЕНАЗНАЧЕННЫЕ
ВСТРЕЧИ

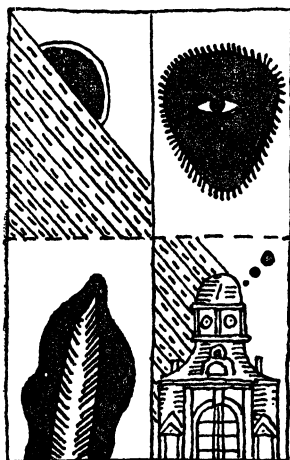


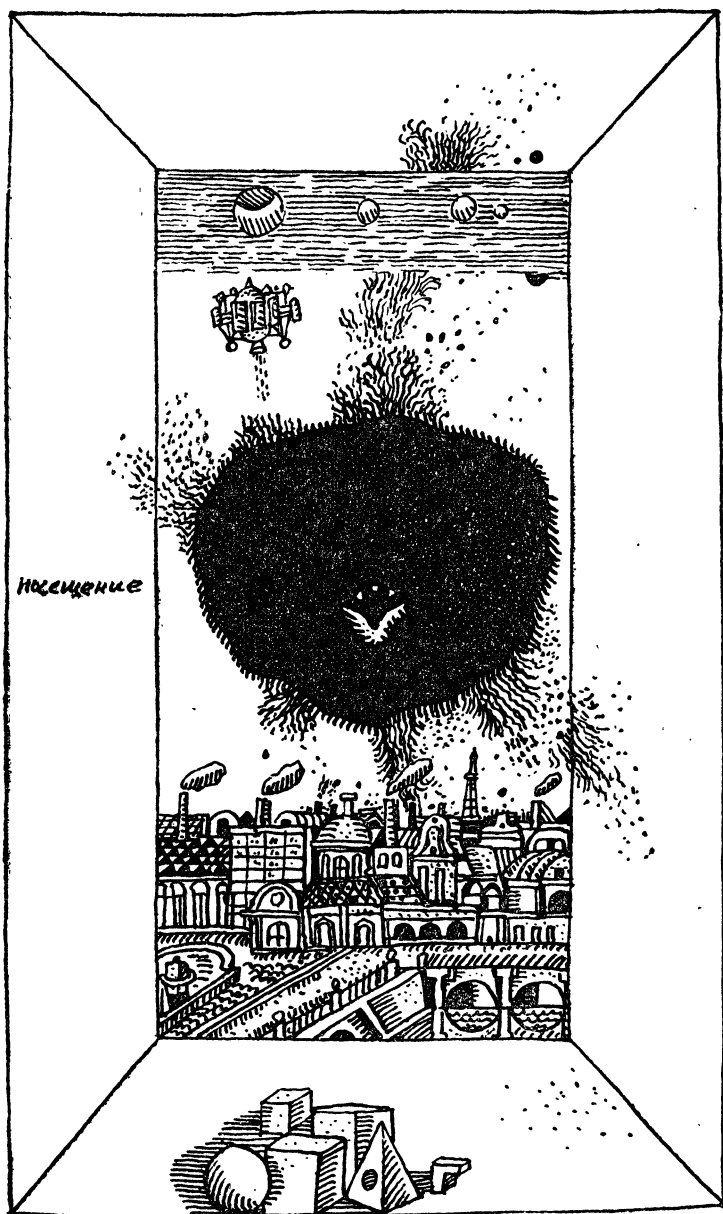
Научно-
фантастические
повести



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1980

БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ





НОЧЬ НА

**АРКАДИЙ
СТРУГАЦКИЙ,
БОРИС
СТРУГАЦКИЙ**

**НЕНАЗНАЧЕННЫЕ
ВСТРЕЧИ**



84 P7
C87

Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н.

С 87 Неназначенные встречи: Научно-фантастические повести. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 352 с., ил.
1 р. 50 к. 100 000 экз.

В настоящий сборник входят три научно-фантастические повести, которые объединены одной темой — контакты с внеземными цивилизациями. «Извне» и «Малыш» уже выходили в книжных изданиях. «Пикник на обочине» издается впервые.

**ББК 84P7
P2**

С 70302—242 238—80. 4702010200
078(02)—80

ИЗВНЕ

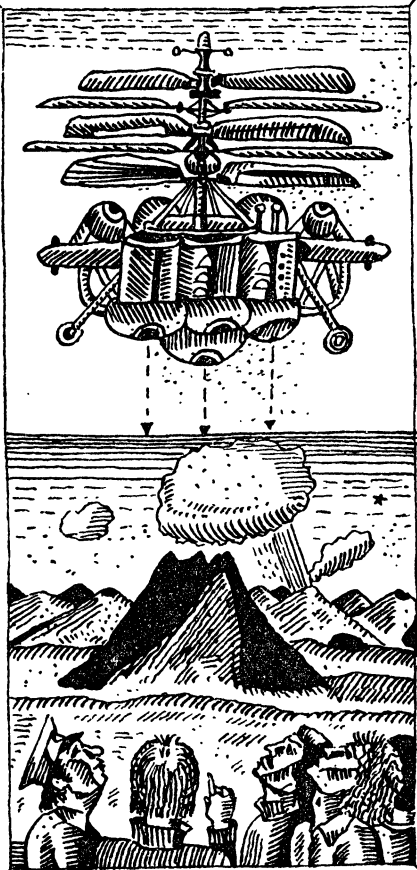
ПОВЕСТЬ В ТРЕХ РАССКАЗАХ



14 августа в горах
расовура меня
буриса янобича
Азобского, похитил



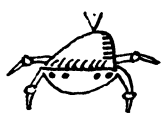
Черная вертенеж



...поимая разину
тему людеи и
животных...



готовил
суда, в
камере приключе



ЧЕЛОВЕК В СЕТЧАТОЙ МАЙКЕ

Рассказ офицера штаба Н-ской части майора Кузнецова

Вот как это было. Мы еще летом собирались совершить восхождение на Адаирскую сопку. Многие наши офицеры и солдаты и даже некоторые из офицерских жен и штабных машинисток с прошлого года щеголяли эмалевыми сине-белыми значками альпинистов первой ступени, и эти значки, украшавшие кители, гимнастерки и блузки наших товарищей, не давали спокойно спать Виктору Строкулеву. Лично я за значком не гнался, но заглянуть в кратер потухшего вулкана мне очень хотелось. Коля Гинзбург, глубоко равнодушный и к значкам и к кратерам, питал слабость ко всякого рода «пикникам на свежем воздухе», как он выражался. А майор Перышкин... Майор Перышкин был помощником начальника штаба по физической подготовке, и этим все сказано.

Итак, мы собирались штурмовать Адаирскую сопку еще летом. Но в июне Строкулев вывихнул ногу в танцевальном зале деревенского клуба, в июле меня отправили в командировку, в августе жена Перышкина поехала на юг и поручила майору детей. Только в начале сентября мы смогли наконец собраться все вместе.

Было решено отправиться в субботу, сразу после за-

нятий. Нам предстояло до темноты добраться к подножию сопки, заночевать там, а с рассветом начать восхождение. Виктор Строкулев выклянчил у начальника штаба «газик» и умолил отпустить с нами и шофера — сержанта Мишу Васечкина, сверхсрочника, красивого молодого парня; майор Перышкин взял вместительный баул, набитый всевозможной снедью домашнего приготовления, и на всякий случай карабин; я и Коля закупили несколько банок консервов, две буханки хлеба, коньяк. В шесть вечера «газик» подкатил к крыльцу штаба. Мы расселись и, провожаемые пожеланиями всех благ, тронулись в путь.

От нашего городка до подножия сопки по прямой около тридцати километров. Но то, что еще можно называть дорогой, кончается на шестом километре, в небольшой деревушке. Дальше нам предстояло петлять по плоскогорью, поросшему березами и осинами, продирается через заросли крапивы и лопуха высотой в человеческий рост, переправляться через мелкие, но широкие ручьи-речушки, текущие по каменистым руслам. Эти удовольствия тянулись примерно два десятка километров, после чего начиналось широкое «лавовое поле» — равнина, покрытая крупным ржавым щебнем выветрившейся лавы. Лавовое поле использовалось соседней авиационной частью как учебный полигон для тактических занятий. Осторожный Коля Гинзбург накануне дважды звонил летчикам, чтобы наверняка удостовериться в том, что в ночь с субботы на воскресенье и в воскресенье вечером они практиковаться не будут, — предосторожность, по-моему, совсем не лишняя. Легкомысленный Строкулев не преминул, однако, слегка пройтись по поводу малодушной «перестраховочки». Тогда Коля без лишних слов расстегнул китель, поднял на груди сорочку и показал под ребрами с правой стороны длинный белый шрам.

— «Мессер», — с выражением сказал он. — И я не желаю получить еще одну такую же — от своего... Тем более в угоду некоторым невоенным военным...

На этом разговор окончился. Витька страшно не любил, когда ему напоминали о том, что в войне он по молодости не участвовал. Он был зверски самолюбив. Впрочем, через четверть часа Коля спросил у надувшегося Витьки папиросу, и мир был восстановлен.

Значит, лавовое поле не грозило нам никакими неожиданностями. Оно плавно поднималось к сопке и

заканчивалось крутыми, обрывистыми скалами. Дальше машина уже пройти не могла. Там, под этими скалами, мы рассчитывали разбить наш ночной лагерь.

Итак, мы тронулись в путь. Погода была чудесная. Вообще осень в наших местах, «на краю земли», — самое лучшее время года. В сентябре и октябре почти не бывает ни туманов, ни дождей. Воздух прозрачный, тонкий, мягкий. Пахнет увядающей зеленью. Небоднем бездонно синее, ночью черное, бархатное, усыпанное яркими немигающими звездами. Мы не торопясь ташились по развороченной еще летними дождями дороге. Впереди над щетиной леса призрачным сизым конусом возвышалась Адаирская сопка. У вершины конус был косо срезан. Если приглядеться, можно заметить, что склоны сопки отливают рыжеватым оттенком, кое-где поблескивают пятна снега. Над вершиной неподвижно стынет плотное белое облачко паров.

Через полчаса мы въехали в деревню, и тут Виктор Строкулев попросил остановиться. Он сказал, что хочет забежать на минутку к одной знакомой девушке. Мы великодушно не возражали. В радиусе восемнадцати километров от нашего городка я не знаю ни одного населенного пункта, где бы у Строкулева не было «одной знакомой девушки».

Не прошло и пяти минут, как он выскочил из домика с довольным видом и с объемистым свертком под мышкой.

— Поехали, — сказал он, усаживаясь рядом с шофером и перебрасывая сверток Коле Гинзбургу на колени.

Машина снова тронулась. Витька высунулся и грациозно помахал рукой. Я заметил, что занавеска в маленьком квадратном окне слегка отдернулась. Мне даже показалось, что я увидел блестящие черные глаза.

— Что это он приволок? — равнодушно осведомился майор Перышкин.

— Посмотрим, — сказал Коля и развернул сверток.

В свертке оказалось целое сокровище — десяток мятых соленых огурцов и большой кусок свиного сала. Строкулев обернулся к нам, облокотившись на спинку сиденья.

— Если Строкулев что-нибудь делает... — небрежно начал он, но тут машина подпрыгнула, Витька ударился макушкой о раму крыши, лязгнул зубами и моментально замолк.

Началась самая трудная часть пути. К счастью, на плоскогорье сохранились тропы, оставленные нашими альпинистами летом. В лесу, в чаще берез и осин, искверканных свирепыми зимними ветрами, были проделаны просеки, и нам почти не пришлось пользоваться топором. Временами «газик» с жалобным ревом увязал в путанице полусгнивших ветвей, переплетенных прочными прутьями молодых побегов и густой порослью высокой травы. Тогда мы вылезали, заходили сзади и с криком «Пошла, пошла!» выталкивали машину на ровное место. Через четверть часа все повторялось снова.

Уже темнело, когда мы, взмокшие и грязные, выбрались наконец на лавовое поле. «Газик», трясясь и подпрыгивая, покатился по хрустящему щебню. В небе загорались звезды. Коля дремал, навалившись на мое плечо. Огни фар прыгали по грудам щебня, поросшим местами редкой сухой травой. Стали попадаться неглубокие воронки от бомб — следы учебы летчиков, и мишени — причудливые сооружения из досок, фанеры и ржавого железного лома.

Над плоскими холмами справа разгорелось оранжевое зарево, выкатилась и повисла в сразу посветлевшем небе большая желтая луна. Звезды потускнели, стало светло. Миша прибавил ход.

— Через часок можно будет остановиться, — сказал майор Перышкин. — Возьми чуть правее, Миша... Вот так.

Он сунул в рот сигарету, чиркнул спичкой и сразу же обнаружил, что Строкулев, воспользовавшись темнотой в машине, запустил пальцы в сверток, лежавший на коленях у сладко спящего Гинзбурга. Порок был наказан немедленно: майор звонко щелкнул Витьку в лоб, и тот, жалобно ойкнув, убрался на свое сиденье.

— А я слышу, кто-то здесь бумагой шуршит, — спокойно сказал Перышкин, обращаясь ко мне. — А это, оказывается, вот кто...

— Я хотел только проверить, не вывалились ли огурцы, — обиженно заявил Строкулев.

— Ну и как? Не вывалились?

Строкулев промолчал, а затем вдруг принялся рассказывать какую-то длинную историю, начав ее словами: «В нашем училище был один...» Он еще не дошел до сути, и мы даже не успели сообразить, имеет ли эта история какую-либо связь с попыткой похитить огурцы, когда лучи фар уперлись в огромные валуны, и «газик» затормозил.

— Приехали, — объявил Перышкин.

Мы выбрались из машины в призрачный свет луны. Стояла необыкновенная, неестественная тишина. Склоны сопки полого уходили в небо, вершины не было видно — ее заслоняли почти отвесные стены застывшей лавы, четко рисовавшиеся на фоне бледных звездных россыпей.

— Ужинать и спать, — приказал майор Перышкин.

Были раскрыты заветный баул и сверток «одной знакомой девушки». На разостланной плащ-палатке постелили газеты. Коля очень ловко раскупорил бутылку и содержимое «расплескал» по кружкам.

Поев, мы уложили остатки провиантских запасов в баул и рюкзаки, завернулись в шинели и улеглись рядком на плащ-палатках, стараясь потеснее прижаться друг к другу, потому что ночь была весьма прохладная. Строкулев, оказавшийся с краю, долго вздыхал и ворочался. Позже, уже сквозь сон, я почувствовал, как он ввинчивается между мной и Николаем, но проснуться и отругать его я так и не смог.

Майор разбудил нас в шесть часов. Утро было такое же, как вчерашний вечер. Солнце только что взошло. В глубоком, чистом небе на западе, над зубчатыми вершинами Калаканского хребта, едва проступающими в туманной дымке, бледным, белесым пятном висела луна. Неподалеку от нас журчал ручей. Мы умылись и наполнили фляги, а когда вернулись, то увидели, что Строкулев по-прежнему валяется на плащ-палатках, натянув на себя все наши шинели. Тогда Коля аккуратно плеснул из своей фляги немного ледниковой воды за шиворот блаженно всхрапывающего лентяя. И тихое безмятежное утро огласилось...

Словом, через полчаса мы в ватниках, навьюченные рюкзаками, с лыжными палками в руках стояли, готовые к подъему, а майор Перышкин давал шоферу Мише последние указания:

— От машины ни шагу! Спать захочешь — спи на сиденье. А лучше всего сиди и читай. Карабин не трогай. Ясно?

— Так точно, товарищ майор, ясно! — отвечал Миша.

И наше восхождение началось.

Сначала подъем был сравнительно отлогим. Мы шли гуськом по краю глубокого оврага — должно быть, трещины в многометровой толще лавы, — на дне которого

густо росла исполинская крапива и протекал, весело журча, ручей снеговой воды. Первые несколько километров мы чувствовали себя сильными, бодрыми, уверенными и даже разговаривали.

Прошло два часа, и мы перестали разговаривать. Подъем стал значительно круче. Впереди перед нашими глазами чуть ли не в зенит упирался красно-бурый склон конуса Адаирской сопки. Никогда я не думал, что альпинизм окажется таким трудным делом. Нет, мы не карабкались по ледяным скалам, не тянули друг друга на веревках, ежесекундно рискуя сорваться с километровой высоты. Нет. Но щебень — и мелкий, как песок, и крупный, как булыжник, — осыпался под ногами. Через каждые два шага мы сползали на полтора шага назад. Громадные потрескавшиеся глыбы лавы, тронутые осыпью, начинали угрожающе раскачиваться и сползать. Одна из таких глыб, величиной с хороший семейный комод, более округлая, чем другие, вдруг сорвалась с места, покатилась мимо бросившегося в сторону Гинзбурга и понеслась, высоко подсакивая, куда-то вниз, увлекая за собой целые тучи камней поменьше. Подул ледяной ветер, запахло — сначала слабо, затем все сильнее и сильнее — тухлыми яйцами.

— Вулканические пары, черт бы их взял! — чихая, пояснил майор Перышкин и тут же успокоил нас: — Ничего, здесь еще терпимо, а вот что наверху будет!..

Около двенадцати Перышкин объявил большой привал. Мы выбрались на обширное снеговое поле и расселись на камнях, выступающих из-под обледеневшей снежной корки. Я взглянул вверх. Глыбы застывшей лавы, окружавшие кратер, казались такими же далекими, как и снизу, от машины. Зато внизу открывалось великолепное зрелище. Воздух был чист и прозрачен, мы видели не только все лавовое поле, плоскогорье и пестрое пятнышко нашего городка, но и ряды сопки, темные дымы над бухтой Павлопетровска и за ними серо-стальной, мутно отсвечивающий на солнце океан.

Мы все очень устали, даже майор Перышкин. Все, кроме Строкулева. Во время подъема он был впереди, останавливался, поджидая нас, и однажды даже суконно-жестяным голосом запел дурацкую песенку. Песенный репертуар Строкулева был известен всей бригаде, и душа радовалась при мысли, что Адаирская сопка представляет собой такое дикое и пустынное место.

На привале мы молчали, грызли сухари и выпили немного воды. Строкулев ползал вокруг и щелкал фотоаппаратом. Перышкин громко сосал кубик рафинада. Коля критически рассматривал подошвы своих сапог, время от времени меряя взглядом расстояние до вершины сопки...

Было уже около трех часов дня, когда мы наконец добрались до цели. Строкулев, свесившись с обломка лавы, вытянул нас наверх одного за другим, и, тяжело отдуваясь, мы сгрудились на краю кратера. Под ветром мотались клочья не то дыма, не то тумана, отвратительно пахло какими-то испарениями.

Поднялся туман. Он стремительно несся снизу. Время от времени сквозь его разрывы открывалась изумительная панорама гор, зеленых долин и океана. Но мы так вымотались, что это нас уже не интересовало. И, только отдохнув немного, мы заставили себя подползти к обрыву и заглянуть в кратер.

Именно таким представлял я себе вход в ад. Под нами зияла пропасть глубиной в несколько десятков, а может быть, в сотню метров. Стены пропасти и ее плоское дно были серо-желтого цвета и казались такими безнадежно сухими, такими далекими от всякого намека на жизнь, что мне немедленно захотелось пить. Честное слово, здесь физически ощущалось полное отсутствие хотя бы молекулы воды. Из невидимых щелей и трещин в стенах и в дне поднимались струи вонючих сернистых паров. Они минутами заполняли кратер и заволакивали его противоположный край.

Строкулев в последний раз нацелился аппаратом, щелкнул затвором и сказал, с надеждой глядя на майора Перышкина:

— Хорошо бы туда спуститься...

Перышкин только хмыкнул в ответ и полез в карман за сигаретами. Коля задумчиво сплюнул. Мы с интересом следили за падением плевка, пока он не скрылся из виду. Восхождение было окончено. Теперь оставалось выполнить кое-какие формальности.

Майор Перышкин снял рюкзак и извлек из него две тяжелые черные банки — дымовые шашки.

— Строкулев, — строго сказал он, — возьми одну шашку и отойди вон туда, за выступ. Там подожги.

Строкулев козырнул, взял банку и скрылся за стеной застывшей лавы, нависшей над кратером.

— Коля, — продолжал майор, — напиши что-ни-

будь о нас на листке бумаги, вложи листок в консервную коробку и сложи над ней пирамиду из обломков покрупнее. Ну хотя бы здесь, где стоишь.

Пока майор поджигал шашку, мы с Гинзбургом сочинили такой текст: «Второго сентября 19... года на вершину Адаирской сопки поднялись в порядке сдачи нормы на звание альпиниста первой ступени майор Кузнецов, капитан Гинзбург и старший лейтенант Строкулев. Руководил группой майор Перышкин». Затем мы открыли банку «лососа в собственном соку», содержимое съели, банку насухо вытерли, вложили в нее записку и соорудили пирамидку.

— Готово, — сказал Коля. Он подумал и добавил: — Вот теперь мы альпинисты. Подумать только!

— Это что, — пренебрежительно заметил майор Перышкин, — вот у нас на Алакане было однажды...

Он стал рассказывать, что было однажды у них на Алакане.

Мы слушали рассеянno, развалившись под скалами и наслаждаясь приятным гудением в ногах. Все рассказы Перышкина о том, что было на Алакане, походили друг на друга как две капли воды. Гвоздем каждого была фраза: «Я поднимаю карабин, и — бах! — точка. Полный порядок! Вот это была охота!» Мы с Гинзбургом звали Перышкина Тартарен из Алакана — он не обижался.

Давно уже из подоженной шашки плотными клубами валил густой, тяжелый бело-розовый дым, а Строкулев не возвращался. Выслушав очередное «бах! — точка», я предложил посмотреть, чем занят сейчас этот мальчишка.

Мы обогнули лавовую стену и увидели, что Строкулев прыгает вокруг банки, дуя в растопыренные ладони и ругаясь. Оказывается, он истратил полкоробка спичек, пытаясь зажечь хотя бы одну. Спички на ветру гасли. Тогда он взял и чиркнул все сразу. Спички загорелись очень охотно, но при этом обожгли ему ладони. Перышкин назвал Строкулева слабаком, сел над банкой, прикрыв ее полами ватника, и через минуту струя белого дыма взметнулась вверх, изогнулась на ветру и поплыла в сторону, утолщаясь и густея на глазах.

— Вот как надо, — удовлетворенно сказал майор.

Наш сигнал — два столба дыма — должны были наблюдать в бинокли из городка.

— А теперь спуск! — скомандовал Перышкин.

Он показал нам, как это делается. Нужно было всего-навсего сесть верхом на палку и смело прыгнуть вниз.

Так мы и сделали. Кучи камней, больших и маленьких, сыпались нам вслед, пролетали вперед, стучали — иногда довольно чувствительно — в ноги и спину. Да, спускаться было одно удовольствие. Правда, Коля, споткнувшись, перевернулся и стал на голову, а затем метров пятьдесят скользил на спине и еще метров сто на животе после неудачной попытки догнать свою палку. Но, в общем, все обошлось благополучно. И если на подъем по конусу нам потребовалось около пяти часов, то спуск продолжался не более получаса, и в половине пятого мы уже шагали вдоль того самого обрыва, с которого начинали подъем.

Я описываю восхождение на Адаирскую сопку так подробно по двум причинам. Во-первых, чтобы показать, что странные события вечера того же дня произошли без всяких предзнаменований. Мы ничего ровным счетом не подозревали заранее. Во-вторых, я хочу подчеркнуть ясность своего сознания и показать, что помню все, даже самые мелкие, подробности нашего маленького путешествия. А теперь я приступаю к главному — к рассказу о том, что случилось в тумане.

Солнце уже клонилось к горизонту, когда мы добрались до «газика». Миша Васечкин, завидев нас издали, приготовил ужин, и, когда мы подошли к машине, «стол» был накрыт: хлеб нарезан, консервы вскрыты. Это было как нельзя более кстати, ибо мы проголодались и вместе с тем очень торопились домой — хорошенько отдохнуть и выспаться перед новой неделей напряженной работы.

Мы с примерной жадностью набросились на еду и, только утолив первый голод, заметили, что сержант чем-то озабочен и то и дело поглядывает на небо.

— Ты что это? — осведомился Перышкин.

Миша ответил хмуро:

— Здесь, товарищ майор, самолет недавно пролетал. Мы сразу перестали жевать.

— Где? — спросил Коля.

— Я его не видел, товарищ капитан, но, кажется, где-то неподалеку, над лавовым полем. Слышал, как он гудит. Низко-низко...

Майор Перышкин чертыхнулся.

— Надо нажимать, — сказал Коля и встал.

Мы собирались торопливо и молча, и, только когда «газик» заворчал и, развернувшись, понесся в обратный путь, майор официальным тоном спросил Николая:

— Капитан, вам летчики точно сказали, что сегодня не работают?

— Точно, — ответил Коля.

— Если после темноты мы еще будем на полигоне, а у них ночные стрельбы... по локатору...

— Лучшей цели не придумаешь, — согласился я.

«Газик», подпрыгивая всеми колесами, крутился меж старых воронок и полуразбитых мишеней, когда притихший Строкулев вдруг сказал:

— Туман!

Впереди со стороны плоскогорья на лавовое поле надвигалась белесая, розоватая от лучей заходящего солнца стена тумана.

— Только этого не хватало! — с досадой проворчал майор Перышкин.

Слой тумана вначале был не очень высок, и иногда мы отчетливо видели над ним черную массу далекого леса на плоскогорье и темно-синее небо. Дальневосточные туманы по прозрачности и по плотности мало чем уступают молочному киселю. Мы неслись по бурому шлаку, и туман полз нам навстречу. Миша круто повернул баранку, объезжая широкую воронку, вокруг которой валялись обугленные щепки и клочья железа, затем сбавил ход, и мы медленно въехали в молочную стену. Мгновенно пропало все: синее небо, красное закатное солнце, лавовое поле справа и плоские холмы слева. Остались серые мокрые сумерки и капли сырости, оседающие на смотровое стекло, да несколько метров блестящей от влаги каменистой почвы. Теперь спешить было нельзя. Миша включил фары, и в желтых столбах света стали видны медлительные струи тумана, расплывавшиеся в стороны по мере нашего продвижения вперед. Машину подбрасывало, она то кренилась набок, то карабкалась на холмики, то осторожно сползала с невысоких откосов.

— Вот так история! — начал майор Перышкин. — Совсем как у нас на Алакане...

И он принялся рассказывать очередную историю про Алакан. Не знаю, успокаивал ли он этим рассказом самого себя или честно пытался отвлечь нас от тоскливых мыслей и тревожных предчувствий, во всяком случае,

ни то, ни другое ему не удалось. Он то и дело замолкал, тянул «и вот, значит, это самое...», ежеминутно высовывался из машины. А мы, по крайней мере я и Строкулев, его совсем не слушали. Коля Гинзбург оставался внешне спокоен и даже вставлял в паузы вежливые «Ну, и что дальше?» или «А что он?». Так прошло около часа. Ни туману, ни лавовому полю, ни рассказу про Алакан не было конца. Миша сбросил телогрейку, на напряженно двигавшихся лопатках его выступили пятна пота. Стало почти темно.

— Ну, я, конечно, вижу, — сипло повествовал майор. — Вижу это я... да-а... вижу, значит, что стрелять он не того... значит, не умеет... значит, только... хвастает только...

Он вдруг замолчал и прислушался. Коля, клевавший носом, тоже поднял голову.

— Слышишь?

Я пожал плечами. Майор торопливо сказал Мише: — Глуши мотор!

Двигатель кашлянул несколько раз и замолк. И тогда стал слышен звук, от которого мой желудок стремительно поднялся к горлу. Это был зловещий рев бомбардировщика, переходящего в пике. Он нарастал и усиливался с каждой секундой, и даже Строкулев и сержант, слышавшие этот рев, вероятно, только в кино, ощутились шагах в десяти от машины еще прежде, чем успели сообразить, что происходит.

— Ложись! — рявкнул майор.

Мы бросились на землю, всем телом прижимаясь к колючему мокрому щебню. Строкулев вцепился в мою руку, и совсем рядом я увидел его широко раскрытые глаза, в которых светились дьявольское любопытство и детский страх. Помню, что на переносице его блестели капельки испарины.

Рев нарастал, заполнял весь мир, раздирал уши. Затем где-то невдалеке туман мгновенно озарился яркой белой вспышкой. Мы съежились, ожидая громового удара, свиста осколков, града острых, как бритва, обломков камня. Но ничего подобного не случилось.

Вместо этого наступила тишина, такая же зловещая и нестерпимая, как и внезапно оборвавшийся рев. И в тишине сквозь бешеный звон крови в ушах мы услышали какую-то возню, жалобный вскрик, короткий, захлебывающийся говор, и что-то тяжело упало на щебень. Вновь взревели невидимые моторы, пахнуло горячим

ветром, и рев стал удаляться. Он удалялся быстро и уже через несколько секунд превратился в едва слышное жужжание, а потом и совсем затих. И тогда из-за плотной стены тумана до нас донесся сдавленный, протяжный стон.

Все произошло необычайно быстро, и мы, по сути дела, ничего, кроме вспышки, не видели. Нарастающий рев пикирующего самолета, короткая вспышка в тумане, секунды непонятной мертвой тишины, звуки борьбы, тяжелое падение, затем снова рев мотора, и снова тишина. И протяжный стон. Гинзбург уверял после, что в момент вспышки заметил невысоко над землей что-то темное и продолговатое. Я не заметил, хотя лежал в двух шагах от Коли. Не заметили ничего и остальные.

Мы поднялись на ноги, машинально отряхиваясь и растерянно поглядывая то на небо, то друг на друга. Кругом было тихо.

— Что это может быть? — спросил Строкулев.

Никто не отозвался. Потом Николай сказал:

— Это не самолет. И уж, во всяком случае, не реактивный.

Майор Перышкин поднял руку:

— Послушайте! Никто ничего не слышит?

Мы замолчали, прислушиваясь. В тумане снова совершенно явственно раздался стон.

— Вот что, — решительно сказал майор Перышкин. — Там кто-то есть. Надо его найти. Мало ли что может быть... Погодите.

Он сбегал к машине и вернулся с карабином. Щелкнув затвором, взял карабин под мышку.

— Группа, слушай мою команду! — сказал он. — Сержант Васечкин!

— Я!

— Остаетесь на месте. Майор Кузнецов, капитан Гинзбург, старший лейтенант Строкулев, вправо в цепь... марш!

Мы растянулись цепочкой на расстояние в три-четыре метра друг от друга и двинулись на поиски. Через минуту Строкулев крикнул:

— Нашел! Карманный фонарик нашел... Едва горит!

— Вперед! — приказал майор.

Я прошел еще несколько шагов и чуть не наступил на человека. Он лежал ничком, широко раскинув ноги и уткнувшись лохматой нечесаной головой в сгиб правой руки, грязной и тощей. Левая рука была вытянута впе-

ред, ее исцарапанные пальцы зарылись в щебень. Никогда еще я не видел в наших краях человека, одетого так странно. На нем были фланелевые лыжные брюки, стоптанные тапочки на босу ногу и сетчатая майка-безрукавка. И это осенью, на Дальнем Востоке, в двадцати километрах от ближайшего населенного пункта!

Мы стояли над ним изумленные и смущенные, затем майор передал Коле карабин и, опустившись на корточки, осторожно потрогал незнакомца за голое плечо. Тот медленно поднял голову. Мы увидели невероятно худое лицо, покрытое густой черной щетиной, сухие, потрескавшиеся губы, мутные серые глаза — вернее, один глаз, потому что другой оставался плотно закрытым.

— Пить... — хрипло прошептал незнакомец. — Только глоток воды... и сразу назад...

Он снова уронил голову на руку.

Мы перетащили его к «газику» — он не казался тяжелым, но явно пытался, хотя и слабо, сопротивляться. В бутылке оставалось немного коньяку. Гинзбург налил в кружку воды, долил коньяком и поднес кружку к губам незнакомца. Видели бы вы, как он пил! Он опустошил все наши фляги и, вероятно, пил бы еще, но воды у нас больше не было. Пока мы возились с незнакомцем, Миша ходил вокруг машины и с опаской поглядывал на небо. Кажется, он был очень доволен, когда мы наконец втиснули нашу находку на заднее сиденье, кое-как втиснулись сами и майор приказал:

— Трогай!

— Мне надо назад, — пробормотал незнакомец. — Пустите меня назад, ведь я так ничего и не узнал...

— О чем? — спросил я.

Но он не ответил и уронил голову на грудь.

Стемнело, стало холодно. Мы набросили на незнакомца наши шинели и плащ-палатки, но он все трясся в ознобе и время от времени то громко и пронзительно, то едва слышно выкрикивал непонятные слова. Видно, у него начался жар, от него несло теплом, как от русской печки.

Никогда не забуду этой поездки. Кругом кромешная тьма, лучи фар с трудом раздвигают туман. Машина движется медленно и воем тоскливо и угрожающе. На переднем сиденье вцепившийся в баранку шофер и Гинзбург со Строкулевым, сгорбленные, зябко ежатся от сырости и холода. На заднем сиденье Перышкин и я, и между нами трясущийся в ознобе незнакомец, заку-

таннный в шинели и шуршащие плащ-палатки. Он бормочет и вскрикивает, иногда пытается высвободить руки, но мы с майором крепко держим его. Я наклоняюсь к нему, стараясь разобраться, что он говорит. А говорит он странные вещи:

— Не надо... Вы видите, я стою на двух ногах; как и ваши... Не надо со мной так... Не трогайте меня! Я не хочу уходить, я еще не знаю самого главного... Я не могу вернуться, пока не узнаю... Мне нужен только глоток воды. И я останусь... хоть навсегда, хоть на тысячи лет... как тот, в тоннеле... Не выбрасывайте меня!

Я слушаю затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Кто он? Сумасшедший? Преступник? Диверсант? Как он попал на лавовое поле? Видимо, он просил не выбрасывать его. Но его выбросили. Кто? Откуда? А он шепчет страстно и убедительно:

— Хорошо... Мне не нужно воды. Я готов даже... Что угодно... по капле... Скормите меня вашим койотам... дракону, все равно, только отведите сначала к хозяевам... Человек всегда договорится с человеком...

Вскоре мы спустились в ложбину. Лавовое поле кончилось, и «газик» стал карабкаться на плоскогорье. Нам удалось сразу же найти просеку. И все же, если бы не незнакомец, мы, вероятно, заночевали бы в лесу. Миша сказал, что ни за что не ручается. Но Перышкин был непреклонен:

— Мы возьмем больного человека. Кто он такой, мы не знаем. А если он умрет за ночь? А если он может сообщить что-нибудь важное? Не разговаривать! Вперед!

И мы двигались вперед, продираясь через путаницу гнилых веток, с бою овладевая каждым метром дороги. Теперь, вытаскивая машину из ям, мы молчали. Никто не кричал больше: «Пошла! Пошла!» Кажется, так я уставал только на фронте во время осенних наступлений.

Но всему на свете бывает конец. Около часа ночи «газик» вкатился в деревню и, пофыркивая, остановился у домика «одной знакомой девушки». Майор решил оставить незнакомца здесь со мной и Строкулевым и привезти из бригады врача.

— Мы не имеем права рисковать. Вдруг он умрет как раз на пути в городок?

Майор был прав. Строкулев соскочил с машины и постучал в квадратное окно. Прошла минута, другая.

В окне вспыхнул свет. Слегка охрипший со сна голос спросил:

— Кто там?

Строкулев что-то ответил. Дверь открылась, пропустила его и снова закрылась, но вскоре он выбежал и крикнул:

— Заносите!

Мы с трудом извлекли незнакомца из «газика». Тумана в деревне не было, луна стояла высоко, и его запрокинутое лицо казалось бледным, как у мертвеца.

В горнице было светло, чисто и сухо. «Одна знакомая девушка» оказалась маленькой полной женщиной лет двадцати пяти. Она смущенно куталась в халатик. Строкулев стелил на полу у печки постель. Он вытянул из-под матраца на широкой кровати тюфяк, из комода — простыни и одеяла. Хозяйка молча кивнула нам. Затем она наклонилась над незнакомцем, вгляделась в его лицо, и неожиданно сказала, показав на кровать:

— Кладите сюда. Я уж на тюфяке переночую.

— Надо бы его раздеть, — нерешительно сказал майор Перышкин.

— Мы разденем, — сказал я. — Поезжайте, Константин Петрович.

Майор, Гинзбург и Миша попрощались и вышли, а мы со Строкулевым принялись раздевать незнакомца. Хозяйка возилась у печки — кипятила молоко.

Когда мы стягивали с него лыжные штаны, что-то вдруг со стуком упало на пол. Строкулев нагнулся.

— Погоди-ка, — пробормотал он. — Вот так штука! Смотри!

Это была маленькая металлическая статуэтка — странный скорченный человечек в необычной позе. Он стоял на коленях, сильно наклонившись вперед, упираясь тонкими руками в пьедестал. Меня поразило его лицо. С оскаленным кривоватым ртом, с тупым коротким носом, оно странно и дико глядело на нас выпуклыми белыми, видимо покрытыми эмалью, глазами. Лицо это было выполнено удивительно реалистично — измученное, тоскливое, с упавшей на лоб жалкой прядью прямых волос. На голой спине человечка громадными буграми выдавались угловатые лопатки, колени были острые, а кисти кончались тремя скрюченными когтистыми пальцами.

— Божок какой-то, — вполголоса сказал Строкулев. — Тяжелый. Золото, как ты думаешь?

Я поставил статуэтку на стол.

— Непохоже. Возможно, платина...

Мы уложили незнакомца, закутали его в одеяло, попробовали напоить горячим молоком — он не разжал губ. Тогда мы напились сами, придвинули табуретки и сели рядом. Хозяйка, не говоря ни слова, не раздеваясь, легла на тюфячок. Так мы сидели часа два или два с половиной, клевали носом и время от времени выходили на цыпочках в сени покурить. Незнакомец лежал неподвижно с закрытыми глазами и тяжело и часто дышал. Только один раз он вдруг крикнул:

— Не бойтесь! Это вертолет!

Я кое о чем подумал тогда, но Строкулеву не сказал. В самом деле, где это видано, чтобы вертолеты пикировали как заправские бомбардировщики?

Хозяйка ворочалась на своем тюфячке и тоже не спала. Божок стоял на столе, отливая странной зеленью, обратив к нам свое измученное белоглазое лицо.

Под утро, когда небо в окнах стало светлеть, на дворе послышалось фырканье мотора. В дверь постучали, вошел майор Перышкин, знакомый врач подполковник Колесников и особоуполномоченный капитан Васильев, маленький, сухой, с быстрыми глазами. Мы встали. Подполковник и капитан Васильев молча поздоровались с нами, сели у кровати и оглянулись на Перышкина. Тот поманил нас.

— Едем. Наше дело сделано.

Вот и все. Человек в сетчатой майке вместе с удивительным божком исчез из нашей жизни так же внезапно, как и появился. Днем, когда мы еще спали (начальник штаба разрешил нам отдохнуть до обеда), вездеход с незнакомцем, врачом и особоуполномоченным проехал через городок и свернул на шоссе, ведущее в Павлодемянск. Мы пытались осторожно навести справки у командования, но никто не мог сообщить нам ничего определенного. Виктор Строкулев так надоел начальнику штаба своими расспросами, что тот пригрозил немедленно назначить его в комиссию по снятию остатков на продовольственном складе. Витька терпеть не мог снимать остатки и расспросы прекратил. Так и остались мы, свидетели необыкновенного случая у подножия Адаирской сопки, со своим неутоленным любопытством, неясным ощущением чего-то таинственного и подавляющего воображение, с богатейшими возможностями для всякого рода фантастических догадок.

Тайна, тайна... Сколько предположений было высказано вечерами за преферансом, за книгами и схемами, за шахматами и чаем! Вот мы сидим у Гинзбурга. Коля и майор Перышкин разыгрывают труднейший дебют, я покуриваю и читаю потрепанную книжку, уютно устроившись перед огнем в печке. Строкулев задумчиво перебирает гитарные струны, развалившись на кровати. Тихо. За окном воеет декабрьская вьюга. И вдруг Коля поднимает голову и говорит:

— Слушайте, а может быть, он с другой планеты?

Мы обдумываем это предположение, затем Строкулев вздыхает и снова трогает струны, а майор ворчит:

— Чепуха! Ходи, твой ход...

Но не хочется верить, что мы так никогда и не узнаем о том, что произошло в вечернем тумане...

2

ПРИШЕЛЬЦЫ

Рассказ участника
археологической группы «Апиды» К. Н. Сергеева

Недавно в одном из научно-популярных журналов появился пространный очерк о необычайных событиях, имевших место в июле — августе прошлого года в окрестностях Сталинабада. К сожалению, авторы очерка, по-видимому, пользовались информацией из вторых и третьих рук, причем рук недобросовестных, и поневоле представили суть и обстоятельства дела совершенно неправильно. Рассуждения о «телемеханических диверсантах» и «кремнийорганических чудовищах», равно как и противоречивые свидетельства «очевидцев» о пылающих горах и пожранных целиком коровах и грузовиках, не выдерживают никакой критики. Факты были гораздо проще и в то же время много сложнее этих выдумок.

Когда стало ясно, что официальный отчет Сталинабадской комиссии появится в печати очень не скоро, профессор Никитин предложил опубликовать правду о Пришельцах мне, одному из немногих настоящих очевидцев. «Изложите то, что видели собственными глазами, — сказал он. — Изложите свои впечатления. Так, как излагали для комиссии. Можете пользоваться и нашими материалами. Хотя лучше будет, если ограничитесь своими впечатлениями. И еще не забудьте дневник Лозовского. Это ваше право».

Приступая к рассказу, я предупреждаю, что буду всеми силами придерживаться указаний профессора — стараться передавать только свои впечатления — и стану излагать события, как они происходили с нашей точки зрения, с точки зрения археологической группы, занятой раскопками так называемого «замка Апида» в пятидесяти километрах к юго-востоку от Пенджикента.

Группа состояла из шести человек. В ней были три археолога: начальник группы, он же «пан шеф» Борис Янович Лозовский, мой старинный друг таджик Джамиль Каримов и я. Кроме нас, в группе было двое рабочих, местных жителей, и шофер Коля.

«Замок Апида» представляет собой холм метров в тридцать вышины, стоящий в узкой долине, стиснутой горами. По долине протекает неширокая река, очень чистая и холодная, забитая круглыми гладкими камнями. Вдоль реки проходит дорога на Пенджикентский оазис.

На вершукке холма мы копали жилища древних таджиков. У подножия был разбит лагерь: две черные палатки и малиновый флаг с изображением согдийской монеты (круг с квадратной дырой посередине). Таджикский замок III века нашей эры не имел ничего общего с зубчатыми стенами и подъемными мостами феодальных замков Европы. В раскопанном виде это две-три ровные площадки, окаймленные по квадрату двухвершковой оградой. Фактически от «замка» остается только пол. Здесь можно найти горелое дерево, обломки глиняных сосудов и вполне современных скорпионов, а если повезет — старую, позеленевшую монету.

В распоряжении группы была машина — старенький ГАЗ-51, на котором в целях археологической разведки мы совершали далекие рейсы по ужасным горным дорогам. Накануне того дня, когда появились Пришельцы, Лозовский на этой машине уехал в Пенджикент за продуктами, и мы ждали его возвращения утром 14 августа. Машина не вернулась, начав своим исчезновением цепь удивительных и непонятных происшествий.

Я сидел в палатке и курил, дожидаясь, пока промоются черепки, уложенные в таз и погруженные в реку. Солнце висело, казалось, прямо в зените, хотя было уже три часа пополудни. Джамиль работал на вершукке холма — там крутилась под ветром лёссовая пыль и виднелись белые войлочные шляпы рабочих. Шипел

примус, варилась гречневая каша. Было душно, знойно и пыльно. Я курил и придумывал причины, по которым Лозовский мог задерживаться в Пенджикенте и опоздать вот уже на шесть часов. У нас кончался керосин, осталось всего две банки консервов и полпачки чая. Было бы очень неприятно, если бы Лозовский не приехал сегодня. Придумав очередную причину (Лозовский решил позвонить в Москву), я встал, потянулся и впервые увидел Пришельца.

Он неподвижно стоял перед входом в палатку, матово-черный, ростом с большую собаку, похожий на громадного паука. У него было круглое, плоское, как часы-«молния», тело и суставчатые ноги. Более подробно описать его я не могу. Я был слишком ошеломлен и озадачен. Через секунду он качнулся и двинулся прямо на меня. Я остолбенело глядел, как он медленно переступает ногами, оставляя в пыли дырчатые следы, — уродливый силуэт на фоне освещенной солнцем желтой осыпающейся глины.

Учтите, я и понятия не имел, что это Пришелец. Для меня это было какое-то неизвестное животное, и оно приближалось ко мне, странно выворачивая ноги, немое и безглазое. Я попятился. В то же мгновение раздался негромкий щелчок, и внезапно вспыхнул ослепительный свет, такой яркий, что я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, то сквозь красные расплывающиеся пятна увидел его на шаг ближе, уже в тени палатки. «Господи!..» — пробормотал я. Он стоял над нашим продовольственным ящиком и, кажется, копался в нем двумя передними ногами. Блеснула на солнце и сразу куда-то исчезла консервная банка. Затем «паук» боком отодвинулся в сторону и скрылся из виду. Сейчас же смолкло гудение примуса, послышался металлический звон.

Не знаю, что бы сделал на моем месте здравомыслящий человек. Я не мог рассуждать здраво. Помню, я заорал во все горло, то ли желая напугать «паука», то ли чтобы подбодрить себя, выскочил из палатки, отбежал на несколько шагов и остановился задыхаясь. Ничего не изменилось. Вокруг дремали горы, залитые солнцем, река шумела расплавленным серебром, и на верхушке холма торчали белые войлочные шляпы. И тут я снова увидел Пришельца. Он быстро неся по склону, огибая холм, легко и бесшумно, словно скользя по воздуху. Ног его почти не было заметно, но я отчетливо видел стран-

ную резкую тень, бегущую рядом с ним по жесткой серой траве. Потом он исчез.

Меня укусил слепень, я хлопнул его мокрым полотенцем, которое, оказывается, держал в руке. С вершины холма донеслись крики — Джамил с рабочими спустился вниз и давал мне знак снимать с примуса кашу и ставить чайник. Они ничего не подозревали и были поражены, когда я встретил их странной фразой: «Паук унес примус и консервы...» Джамил потом говорил, что это было страшно. Я сидел у палатки и стряхивал папиросный пепел в кастрюлю с кашей. Глаза у меня были белые, я то и дело испуганно оглядывался по сторонам. Видя, что мой старинный друг принимает меня за сумасшедшего, я принялся торопливо и сбивчиво излагать ему суть события, чем окончательно укрепил его в этом мнении. Рабочие из всего происходящего сделали единственный вывод: чая нет и не будет. Разочарованные, они молча поели остывшей каши и уехали в своей палатке играть в биштокутар*. Джамил тоже поел, мы закурили, и он выслушал меня в более спокойной обстановке. Подумав, он объявил, что все это мне почудилось после несильного солнечного удара. Я немедленно возразил: во-первых, на солнце я выходил только в шляпе, а во-вторых, куда девались примус и банка консервов? Джамил сказал, что я мог в беспамятстве побросать все исчезнувшие предметы в реку. Я обиделся, но мы все-таки встали и, зайдя по колени в прозрачную воду, принялись шарить руками по дну. Я нашел Джамилыны часы, пропавшие неделю назад, после чего мы вернулись, и Джамил снова стал думать. А не почувствовал ли я странного запаха, спросил вдруг он. Нет, ответил я, запаха, кажется, не было. А не заметил ли я у паука крыльев? Нет, крыльев у паука я не заметил. А помню ли я, какое сегодня число и день недели? Я разозлился и сказал, что число сегодня, по всей вероятности, четырнадцатое, а день недели я не помню, но это ничего не значит, так как сам Джамил, несомненно, не помнит ни того, ни другого. Джамил признался, что он действительно помнит только год и месяц и что мы сидим черт знает в какой глуши, где нет ни календарей, ни газет.

Затем мы осмотрели местность. Следов, если не считать полузатоптанных ямок у входа в палатку, нам об-

* Биштокутар — таджикская карточная игра.

наружить не удалось. Зато выяснилось, что «паук» утащил, кроме примуса и консервов, мой дневник, коробку карандашей и пакет с самыми ценными археологическими находками.

— Вот скотина! — произнес Джамил растерянно.

Наступил вечер. По долине пополз слоистый белый туман, над хребтом загорелось созвездие Скорпиона, похоже на трехпалую лапу, пахло холодным ночным ветром. Рабочие скоро заснули, а мы лежали на раскладушках и обдумывали события, наполняя палатку облаками вонючего дыма дешевых сигарет. После долгого молчания Джамил робко осведомился, не разыгрываю ли я его, а затем торопливо сказал, что, по его мнению, между появлением «паука» и опозданием Лозовского может быть какая-то связь. Я и сам думал об этом, но не ответил. Тогда он еще раз перечислил пропавшие предметы и высказал чудовищное предположение, что «паук» был искусно переодетым вором. Я задремал.

Меня разбудил странный звук, похожий на гул мощных авиационных моторов. Некоторое время я лежал прислушиваясь. Почему-то мне стало не по себе. Может быть, потому, что за месяц работы здесь я не видел еще ни одного самолета. Я встал и выглянул из палатки. Была глубокая ночь, часы показывали половину второго. Небо было усеяно острыми ледяными звездами, от горных вершин остались только мрачные, глубокие тени. Потом на склоне горы напротив появилось яркое пятно света, поползло вниз, погасло и снова возникло, но уже гораздо правее. Гул усилился.

— Что это? — встревоженно спросил Джамил, протискиваясь наружу.

Гудело где-то совсем близко, и вдруг ослепительный бело-голубой свет озарил вершину нашего холма. Холм казался сверкающей ледяной вершиной. Это продолжалось несколько секунд. Затем свет погас, и гудение смолкло. Черная тьма и тишина упали, как молния, на наш лагерь. Из палатки рабочих донеслись испуганные голоса. Невидимый Джамил закричал что-то по-таджикски, послышался шум торопливых шагов по крупной гальке. Снова раздался могучий рев, поднялся над долиной и, быстро затихая, погас где-то вдали. Мне показалось, что я увидел темное продолговатое тело, скользящее между звездами в направлении на юго-восток.

Подошел Джамил с рабочими. Мы уселись в кружок

и долго сидели молча, курили и напряженно прислушивались к каждому звуку. Честно говоря, я боялся всего — «пауков», непроглядной темноты безлунной ночи, таинственных шорохов, которые мерещились сквозь шум реки. Думаю, впрочем, что остальные испытывали то же самое. Джамил шепотом сказал, что мы, несомненно, находимся в самом центре каких-то событий. Я не возражал. Наконец все мы озябли и разошлись по палаткам.

— Ну как там насчет солнечного удара и переодетых воров? — осведомился я.

Джамил промолчал и только через несколько минут спросил:

— Что, если они придут снова?

— Не знаю, — ответил я.

Но они не пришли.

На другой день мы поднялись на раскоп и обнаружили, что не осталось ни одного черепка из найденных накануне: вся керамика исчезла. Ровные площадки пола в раскопанных помещениях оказались покрытыми дырчатыми следами. Холм выброшенной земли осел и расплющился, словно по нему прошел асфальтовый каток. Стена была разрушена в двух местах. Джамил кусал губы и значительно поглядывал на меня. Рабочие переговаривались вполголоса, жались поближе к нам. Им было страшно, да и нам тоже.

Машина с Лозовским все еще не пришла. На завтрак мы жевали слегка заплесневелый хлеб и пили холодную воду. Когда с хлебом было покончено, рабочие, выразив пожелание, чтобы «такой дела к черту пошла», взяли кетмени и полезли наверх, а я, посоветовавшись с Джамилом, надвинул поглубже шляпу и решительно двинулся по дороге в Пенджикент, рассчитывая поймать попутную машину.

Первые несколько километров я прошел без происшествий и два раза даже присаживался передохнуть и покурить. Стены ущелья сдвигались и расходились, пылил ветер по извилистой дороге, шумела река. Несколько раз я видел стада коз, пасущихся коров, но людей не было. До ближайшего населенного пункта оставалось еще километров десять, когда в воздухе появился Черный Вертолет. Он шел низко вдоль дороги, с глухим гулом пронесся над моей головой и исчез за поворотом ущелья, оставив за собой струю горячего ветра. Он не был зеленым, как наши военные вертолеты,

или серебристым, как транспортно-пассажирские. Он казался матово-черным и тускло отсвечивал на солнце, как ствол ружья. Цвет его, непривычная форма и мощное глухое гудение — все это сразу напомнило мне о событиях минувшей ночи, о «пауках», и мне снова стало страшно.

Я ускорил шаги, потом побежал. За поворотом я увидел машину ГАЗ-69, возле нее стояли трое и смотрели в уже пустое небо. Я испугался, что они сейчас уедут, закричал и побежал изо всех сил. Они обернулись, потом один из них лег на землю и полез под машину. Остальные двое, широкоплечие бородатые парни, видимо геологи, продолжали смотреть на меня.

— Возьмете до Пенджикента? — крикнул я.

Они продолжали молча и сосредоточенно разглядывать меня, и я подумал, что они не расслышали вопроса.

— Здравствуйте, — сказал я, подходя. — Салам алейкум...

Тот, что был повыше, молча отвернулся и залез в машину. Низенький отозвался очень хмуро: «Привет», — и снова уставился в небо. Я тоже взглянул вверх. Там ничего не было, кроме большого неподвижного коршуна.

— Вы не в Пенджикент? — спросил я, кашлянув.

— А ты кто такой? — спросил низенький.

Высокий встал, перегнулся через сиденье, и я увидел на его широком поясе пистолет в кобуре.

— Я археолог. Мы копаем «замок Апиды».

— Что копаете? — переспросил низенький значительно вежливее.

-- «Замок Апиды».

-- Это где?

Я объяснил.

— Зачем вам в Пенджикент?

Я рассказал про Лозовского и про положение в лагере. Про «паука» и про ночную тревогу умолчал.

-- Я знаю Лозовского, — сказал вдруг высокий. Он сидел, перекинув ноги через борт, и раскуривал трубку. — Я знаю Лозовского. Борис Янович?

Я кивнул.

— Хороший человек. Мы бы вас взяли, конечно, товарищ, но сами видите — загораем...

— Георгий Палыч, — раздался из-под машины укоризненный голос, — дык ведь поворотный вал...

— Трепло ты, Петренко, — сказал высокий лениво. — Выгоню я тебя. Выгоню и денег не заплачу...

— Георгий Палыч...

— Вот он, вот он опять!.. — сказал низенький.

Черный Вертолет вынырнул из-за склона и стремительно понесся вдоль дороги прямо на нас.

— Черт знает, что это за машина! — проворчал низенький.

Вертолет взмыл к небу и повис высоко над нашими головами. Мне это очень не понравилось, и я уже раскрыл рот, чтобы заявить об этом, как вдруг высокий произнес сдавленным голосом:

— Он спускается! — и полез из машины.

Вертолет падал вниз, в брюхе его открылась злоежащая круглая дыра, и он спускался все ниже и ниже, прямо на нас.

— Петренко, вылазь к чертовой матери! — заорал высокий и бросился в сторону, схватив меня за рукав.

Я побежал, низенький геолог тоже. Он что-то кричал, широко разевая рот, но рев моторов вдруг покрыл все другие звуки. Я очутился в дорожном кювете, с глазами, забитыми пылью, и успел увидеть только, что Петренко на четвереньках бежит к нам, а Черный Вертолет опустился на дорогу. Смерч, поднятый могучими винтами, сорвал с меня шляпу и окутал все вокруг желтым облаком пыли. Потом вспыхнул все тот же ослепительный белый свет, затмивший блеск солнца, и я вскрикнул от боли в глазах. Когда улеглась пыль, мы увидели пустую дорогу. Машина ГАЗ-69 исчезла. Черное тело вертолета уходило ввысь вдоль ущелья...

...Больше я не видел ни Пришельцев, ни их воздушных кораблей. Джамил и рабочие видели один вертолет в тот же самый день и еще два — 16 августа. Они проши на небольшой высоте и тоже вдоль дороги.

Дальнейшие мои приключения связаны с Пришельцами только косвенно. Вместе с геологами я кое-как добрался до Пенджикента на попутных машинах. Высокий геолог всю дорогу глядел на небо, а низенький ругался и повторял, что если это «шуточки парней из авиаклуба», то он на них управу найдет. Шофер Петренко был совершенно сбит с толку. Он несколько раз порывался объяснить что-то про поворотный вал, но его никто не слушал.

В Пенджикенте мне сказали, что Лозовский выехал еще утром 14-го, а шофер нашей группы Коля вернулся в тот же день вечером без Лозовского и его держат в милиции, потому что он, по-видимому, угробил машину и Лозовского, но не хочет говорить, где и как, и в оправдание несет несусветную чушь о воздушном нападении.

Я помчался в милицию. Коля сидел у дежурного на деревянной скамье и тяжело переживал людскую несправедливость. По его словам, километрах в сорока от Пенджикента «пан шеф» отправился осмотреть какое-то тепе * в стороне от дороги. Через двадцать минут прилетел вертолет и утащил машину. Коля бежал за ним без малого километр, не догнал и пошел искать Лозовского. Но Лозовский тоже пропал неизвестно куда. Тогда Коля вернулся в Пенджикент и честь по чести доложил обо всем, а теперь пожалте... «Будет врать-то!» — сердито сказал дежурный, но в эту минуту в милицию ввалились два моих геолога и Петренко. Они принесли заявление о пропаже машины и сухо осведомились, на чье имя нужно подать жалобу на воздушное хулиганство. Через полчаса Колю выпустили.

Замечу, между прочим, что Колины злоключения на этом не кончились. Пенджикентская прокуратура завела «Дело об исчезновении и предполагаемом убийстве гр-на Лозовского», по которому Коля был привлечен в качестве подозреваемого, а Джамил, рабочие и я как свидетели. Это «дело» прекратили только после приезда комиссии во главе с профессором Никитиным. Рассказывать об этом я не хочу и не стану, потому что я пишу о Пришельцах, а тогда каждый день приносил о них новые данные. Но самые интересные данные оставил наш начальник, он же «пан шеф» Борис Янович Лозовский.

Мы долго терялись в догадках, силясь понять, откуда взялись и что собой представляют Пришельцы. Мнения были самые противоречивые, и все стало ясно только после того, как в середине сентября были обнаружены посадочная площадка Пришельцев и дневник Бориса Яновича. Ее нашли пограничники, проследив по показаниям очевидцев несколько трасс Черных Вертолетов. Площадка лежала в котловине, сжатой горами, в пятнадцати километрах к западу от «замка Апиды», и представляла собой гладкую укатанную поверхность, зава-

* Тепе — холм, образовавшийся на месте древнего поселения.

ленную по краям оплавленными глыбами камня. Ее диаметр составлял около двухсот метров, почва во многих местах казалась обгоревшей, растительность — трава, колючки, два тутовых деревца — обуглилась. На площадке нашли один из похищенных автомобилей (ГАЗ-69), смазанный, помытый, но без горючего, несколько предметов из неизвестного материала и неизвестного назначения (переданы на исследование) и — самое главное — дневник археологической группы «Апиды» с замечательными собственноручными записями Бориса Яновича Лозовского.

Дневник лежал в машине на заднем сиденье и не пострадал ни от сырости, ни от солнца, только покрылся слоем пыли. Общая тетрадь в коричневой картонной обложке на две трети была заполнена описаниями раскопок «замка Апиды» и отчетами о разведке в его окрестностях, но в конце ее, на двенадцати страницах, изложена короткая повесть, стоящая, по моему глубокому убеждению, любого романа и многих научных и философских трудов.

Лозовский писал карандашом, всегда (судя по почерку) торопливо и часто довольно бессвязно. Кое-что из написанного непонятно, но многое проливает свет на некоторые неясные детали событий, и все необычайно интересно, особенно те выводы, которые сделал Лозовский относительно Пришельцев. Тетрадь была передана мне как временно исполняющему обязанности начальника группы «Апиды» следователем Пенджикентской прокуратуры сразу же после того, как «Дело об исчезновении» и так далее было прекращено «за отсутствием состава преступления». Ниже я полностью привожу эти записи, комментируя их в некоторых не совсем понятных местах.

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА Б. Я. ЛОЗОВСКОГО

14 августа

(Изображено нечто вроде шляпки мухомора — сильно приплюснутый конус. Рядом для сравнения нарисованы автомобиль и человек. Подпись: «Космический корабль?») На конусе несколько точек, на них указывают стрелки и написано: «Входы». У вершины конуса надпись: «Сюда грузят». Сбоку: «Высота 14 метров, диаметр у основания 40 метров».)

Вертолет принес еще одну машину — ГАЗ-69, номер ЖД-19-19. Пришельцы (это слово впервые употребил именно Лозовский) лазили по ней, разбирали мотор, потом погрузили на корабль. Люки узкие, но машина как-то прощла. Наша машина пока стоит внизу. Я выгрузил все продукты, и они их не трогают. На меня внимания совсем не обращают, даже обидно. Кажется, мог бы уйти, но пока не хочу... (Следует очень скверный рисунок, изображающий, по-видимому, одного из Пришельцев.)

Рисовать не умею. Черное дискообразное тело диаметром около метра. Восемь, у некоторых десять лап. Лапы длинные и тонкие, похожи на паучьи, с тремя суставами. В суставах выгибаются в любом направлении. Ни глаз, ни ушей не заметно, но, несомненно, видят и слышат они прекрасно. Передвигаться могут невероятно быстро, словно черные молнии. Бегают по почти отвесному обрыву, как мухи. Замечательно, что у них нет деления тела на переднюю и заднюю части. Я наблюдал, как один из них на бегу, не останавливаясь и не поворачиваясь, помчался вдруг вбок и затем назад. Когда пробегают близко от меня, я чувствую легкий свежий запах, похожий на запах озона. Стрекохут, как цикады. Живое разумное... (фраза не окончена).

Вертолет принес корову. Толстая, пегая и очень глупая буренка. Едва оказалась на земле, как принялась щипать обгорелые колючки. Вокруг нее собрались шесть Пришельцев, стрекотали, время от времени вспыхивали. Поразительная сила — один ухватил корову за ноги и легко перевернул на спину. Корову погрузили. Бедная буренка! Запасаются продовольствием?

Пробовал завести разговор, подошел к ним вплотную. Не обращают внимания.

Вертолет принес стог сена и погрузил на корабль...

Не менее девяти Пришельцев и три вертолета...

Все-таки следят. Отошел за камни. Один Пришелец пошел за мной, стрекотал, затем отстал...

Несомненно, это космический корабль. Я сидел в тени обрыва, и вдруг Пришельцы побежали от корабля в разные стороны. Тогда корабль вдруг поднялся на несколько метров в воздух и снова опустился. Легко, как пушинка. Ни шума, ни огня, никаких признаков работы двигателей. Только камни хрустнули...

У одного, оказывается, есть глаза — пять блестящих пуговок на краю тела. Они разноцветные: слева напра-

во — голубовато-зеленый, синий, фиолетовый и два черных. Впрочем, может быть, это и не глаза, потому что большей частью они направлены не туда, куда движется их хозяин. В сумерках глаза светятся...

15 августа

Ночью почти не спал. Прилетали и улетали вертолеты, бегали и стрекотали Пришельцы. И все это в полной темноте. Только иногда яркие вспышки...

Четвертая машина, опять ГАЗ-69 ЖФ-73-98. И опять без шофера. Почему? Выбирают момент, когда шофер отходит?..

Пришелец ловил ящериц — очень ловко. Бегал на трех лапах, остальными хватал сразу по две, по три штуки...

Да, я мог бы уйти, если бы захотел. Только что вернулся с кромки обрыва. Оттуда рукой подать до Пенджикентского тракта, не более трех часов хода. Но я не уйду. Надо посмотреть, чем все кончится...

Погрузили целую отару овец — штук десять — и огромное количество сена. Уже успели узнать, чем питаются овцы. Умные твари! Очевидно, хотят довести коров и овец живьем или запасаются продовольствием. И все-таки непонятно, почему они так явно и упорно игнорируют людей. Или люди для них менее интересны, чем коровы? Нашу машину тоже погрузили...

...тоже понимают? Что, если мне полететь с ними? Попытаться договориться или тайком проникнуть в корабль. Не позволяют?..

...Два винта, иногда четыре. Число лопастей сосчитать не удалось. Длина кузова метров восемь. Все из матового черного материала, без заметных швов. Помому, не металл. Что-нибудь вроде пластмассы. Как попасть внутрь, не понимаю. Никаких люков не видно... (Это, вероятно, описание вертолетов.)

По-видимому, я единственный человек, оказавшийся в таких обстоятельствах. Очень страшно. Но как же иначе? Надо, надо лететь, просто необходимо...

Опять на верхушке корабля появились «ежи». (Непонятно. О «ежах» Лозовский больше нигде не упоминает.) Покрутились, вспыхнули и исчезли. Сильный запах озона...

Прилетел вертолет, в бортах вмятины величиной с кулак. Сел, сложился (?), и сейчас же в стороне над

горами, прошли два наших реактивных истребителя. Что произошло?

Пришельцы продолжают бегать как ни в чем не бывало. Если было столкновение... (Не окончено.)

...теоретически... (Неразборчивая фраза.) Должен объяснить. Они, видимо, не понимают. Или считают ниже своего достоинства..

Поразительно! До сих пор не могу прийти в себя от изумления. Это машины??? Только что в двух шагах от меня двое Пришельцев разбирали третьего! Глазам не поверил. Необычайно сложное устройство, не знаю даже, как и описать. Жаль, что я не инженер. Впрочем, скорее всего это не помогло бы. Сняли спинной панцирь, под ним звездообразный... (Не окончено.) Под брюхом резервуар, довольно вместительный, но, как они туда складывают различные предметы, непонятно. Машины!..

Собрали, оставили только четыре лапы, зато приделали что-то вроде громадной клешни. Как только сборка была окончена, «новорожденный» вскочил и убежал в корабль...

Большая часть тела занята звездообразным предметом из белого материала, похожего на пемзу или на губку...

Кто же хозяева этих машин? Может быть, Пришельцами управляют изнутри корабля?..

Разумные машины? Чепуха! Кибернетика или телеуправление? Чудеса какие-то. И кто может помешать хозяевам выйти наружу?..

Понимают разницу между людьми и животными. Поэтому людей не берут. Гуманно. Меня, вероятно, подобрали по ошибке... Жена не простит...

...никогда, никогда не увижу — это страшно. Но я человек!..

Очень мало шансов остаться в живых. Голод, холод, космическое излучение, миллион других случайностей. Корабль явно не приспособлен для перевозки «зайцев». В общем, один шанс на сто. Но я не имею права упустить этот шанс. Связаться необходимо!

Ночь, двенадцать часов. Пишу при фонарике. Когда зажег, один из Пришельцев подбежал, вспыхнул и убежал. Весь вечер Пришельцы строили какое-то сооружение, похожее на башню. Сначала из трех люков вытянулись широкие трапы. Думал, наконец-то выйдут те, кто управляет этими машинами. Но по трапам спустили

множество деталей и металлических (?) полос. Шестеро Пришельцев принялись за работу. Того, с клешней, среди них не было. Я долго следил за ними. Все движения абсолютно точны и уверенны. Башню построили за четыре часа. Как согласованно они работают! Сейчас ничего не видно — темно, но я слышу, как Пришельцы бегают по площадке. Они свободно обходятся без света, работа не прекращается ни на минуту. Вертолеты все время в полете...

Предположим я... (Не окончено.)

16 августа, 16 часов

...Тому, кто найдет эту тетрадь. Прошу переслать ее по адресу: Ленинград, Государственный Эрмитаж, отд. Средняя Азия.

14 августа в девять часов утра меня, Бориса Яновича Лозовского, похитил Черный Вертолет и доставил сюда, в лагерь Пришельцев. До сегодняшнего дня я по мере возможности вел запись своих наблюдений... (несколько строк неразборчиво) и четыре автомашины. Основные выводы: 1) это Пришельцы извне, гости с Марса, Венеры или какой-либо другой планеты; 2) Пришельцы представляют собой необычайно сложные и тонкие механизмы, и их космический корабль управляется автоматически.

Пришельцы рассмотрели меня, раздели и, по-моему, сфотографировали. Вреда они мне не причинили и в дальнейшем особого внимания на меня не обращали. Мне была предоставлена полная свобода...

Корабль готовится, по всей видимости, к отлету, так как утром на моих глазах были разобраны все три Черных Вертолета и пять Пришельцев. Мои продукты погружены. На площадке остались только несколько деталей от башни и один ГАЗ-69. Два Пришельца еще копошатся под кораблем и два бродят где-то неподалеку. Я иногда вижу их на склоне горы...

Я, Борис Янович Лозовский, решил проникнуть в корабль Пришельцев и лететь с ними. Я все продумал. Продуктов мне хватит, по крайней мере, на месяц, что будет потом, не знаю, но я должен лететь. Я рассчитываю, проникнув в корабль, найти коров и овец и остаться с ними. Во-первых, веселей, во-вторых, запас мяса на черный день. Не знаю, как насчет воды. Впрочем, у меня есть нож, и при нужде я воспользуюсь кровью... (Зачеркнуто.) Если останусь жив — а в этом я почти не

сомневаюсь, — то приложу все усилия к тому, чтобы связаться с Землей и вернуться обратно с Хозяевами Пришельцев. Думаю, мне удастся договориться с ними.

Лозовской Марии Ивановне. Дорогая, любимая Машенька! Я очень надеюсь, что эти строки дойдут до тебя, когда все уже будет хорошо. Но, если случится худшее, не осуждай меня. Я не мог поступить иначе. Помни только, что я всегда любил тебя, и прости. Поцелуй нашего Гришку. Когда он вырастет, расскажешь ему обо мне. Ведь я вовсе не такой уж плохой человек, чтобы моему сыну нельзя было гордиться своим отцом. Как ты думаешь? Вот все. Только что один из Пришельцев, бегавших по обрыву, вернулся в корабль. Иду. Прощай. Целую, твой всегда Борис...

Пока я писал, Пришельцы втянули два трапа. Остался один. Надо... (Целый неразборчивый абзац; такое впечатление, словно Лозовский писал не глядя.) Пора идти. Но хорошо я буду, если меня не пустят! Я должен прорваться! Вот еще один спустился со скалы и полез внутрь. Двое еще сидят под кораблем. Ну, Лозовский, марш! Страшновато. Впрочем, ерунда. Это машины, а я ведь человек...

На этом месте записи обрываются. Больше Лозовский к машине не возвращался. Не возвращался потому, что корабль взлетел. Скептики говорят о несчастье, но на то они и скептики. Я с самого начала был искренне и глубоко уверен, что наш славный «пан шеф» жив и видит то, что нам не дано видеть даже во сне.

Он вернется, и я завидую ему. Я всегда буду завидовать ему, даже если он не вернется. Это самый смелый человек, которого я знаю.

Да, далеко не всякий оказался бы способен на такой поступок. Я спрашивал об этом многих. Некоторые честно говорили: «Нет. Страшно». Большинство говорит: «Не знаю. Все, видите ли, зависит от конкретных обстоятельств». Я бы не решился. Я видел «паука», и даже теперь, когда я знаю, что это всего лишь машина, он не вызывает во мне доверия. И эти зловещие Черные Вертолеты... Представьте себя в недрах чужого космического корабля, окруженным мертвыми механизмами, представьте себя летящим в ледяной пустоте — без надежд, без уверенности, — летящим дни, месяцы, может быть, годы, представьте все это, и вы поймете, что я имею в виду.

Вот, собственно, и все. Несколько слов о дальнейших событиях. В середине сентября из Москвы прибыла комиссия профессора Никитина, и всех нас — меня, Джамила, шофера Колю, рабочих — заставили исписать уйму бумаги и дать ответы на тысячи вопросов.

Мы занимались этим около недели, затем вернулись в Ленинград.

Возможно, скептики правы, и мы никогда не узнаем о природе наших гостей извне, об устройстве их звездолета, об удивительных механизмах, которые они послали к нам на Землю, а главное — о причине их неожиданного визита, но, что бы ни утверждали скептики, я думаю, Пришельцы вернутся. Борис Янович Лозовский будет первым переводчиком. Ему придется в совершенстве изучить язык далеких соседей: только он сможет объяснить им, каким образом на Земле весьма совершенные автомобили высокой проходимости очутились рядом с черепками глиняных кувшинов шестнадцативековой давности.

3

НА БОРТУ «ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА»

Рассказ бывшего начальника
археологической группы «Апиды» Б. Я. Лозовского

Почему я пошел на это? Сложный вопрос. Сейчас мне трудно разобраться в своих тогдашних мыслях и переживаниях. Кажется, я просто чувствовал, что должен лететь, не могу не лететь, вот и все. Словно я был единственным звеном, которое связывало наше земное человечество с Хозяевами Пришельцев. Хозяева легкомысленно доверились своим безмозглым машинам, и я был обязан исправить их оплошность. Что-то вроде этого. И разумеется, огромное любопытство.

Я отчетливо сознавал, что у меня всего один шанс на тысячу, может быть, и на миллион. Что скорее всего я навсегда потеряю жену, сынишку, друзей, любимую работу, потеряю свою Землю. Особенно тяжело мне было при мысли о жене. Но ощущение грандиозности задачи... Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Этот маленький единственный шанс заполнил мое воображение, он открывал невиданные, ослепительные перспективы. И я никогда не простил бы себе, если бы ограничился тем, что с разинутым ртом проводил гла-

зами взлетающий звездолет другого мира. Это было бы предательством. Предательством по отношению к Земле, к науке, ко всему, во что я верил, для чего жил, к чему шел всю жизнь. Думаю, каждый на моем месте чувствовал бы то же самое. И все же — как трудно было решиться!

Как вы уже знаете, последнюю запись я сделал утром 16 августа. Было ясно, что Пришельцы не собираются грузить последнюю машину, вероятно, потому, что один такой «газик» уже был погружен. Я положил дневник на заднее сиденье, бросил карандаш и огляделся. На площадке было пусто, только под громадным тускло-серым конусом звездолета еще копошились двое Пришельцев. Вокруг поднимались красноватые и желтые скалы, над головой сияло яркое голубое небо, такое яркое и голубое, какого я не видел никогда в жизни. Но надо было собираться. Неподалеку из расщелины вытекал родничок чистой холодной воды, я наполнил флягу и сунул ее за пазуху. В моем распоряжении была эта фляга, две банки рыбных консервов и карманный фонарик с запасной батареейкой. Немного... Но я рассчитывал сразу же отыскать в звездолете помещение, отведенное для овец и коров, и отсидеться там. Поскольку корма для скота Пришельцы взяли не очень много, я предполагал быть на другой планете не позже чем через неделю. Как я ошибся! Но об этом после.

Когда я подошел к трапу, Пришельцы, возившиеся с чем-то под днищем корабля, замерли и уставились на меня. По крайней мере, так мне показалось. Это их обычная манера — прекращать работу, когда к ним приблизишься, и замирать в самых нелепых позах. Зрелище, мягко выражаясь, не совсем обычное, я так и не сумел привыкнуть к нему. Я тоже остановился и тоже уставился. Я решил, что они угадали мое намерение и оно им не понравилось. Стыдно признаться, но я испытал тогда некоторое облегчение. Слишком горячим и ласковым было утреннее солнце, и слишком чужими — невероятно чужими — выглядели эти черные твари с изломанными ногами. И изрытая, обугленная земля. И широкий упругий трап — настоящая дорога в иной мир...

Однако Пришельцы, наглядевшись, по-видимому, всласть, снова вернулись к своим занятиям, предоставив меня самому себе. Путь был снова открыт, отступление с честью было отрезано.

Помню, я пытался убедить себя, что очень важно вернуться и разыскать свою куртку, которую я сбросил полчаса назад, когда солнце начало припекать. Я стоял, поставив одну ногу на трап, и озирался по сторонам; ища ее глазами. И чем тщательный я обшаривал взглядом каждую рытвину на площадке, тем яснее мне становилось, что куртка — это необходимейший предмет туалета и что знакомиться с Хозяевами Пришельцев без куртки, в грязных фланелевых шароварах и сетчатой майке цвета весеннего снега будет просто неприлично. Черт знает чем может быть занята голова человека в такой момент! Я стоял, бессмысленно глазел по сторонам и размышлял. Кругом царила тишина, только тихонько позвякивали и стрекотали Пришельцы. Потом перед моим лицом с басовитым жужжанием пролетел слепень, я очнулся и стал карабкаться по трапу, быстро-быстро перебирая ногами.

Трап был крутым и сильно пружинил, так что через несколько шагов я почувствовал непреодолимое стремление встать на четвереньки, но почему-то постыдился сделать это. Может быть, потому, что вид у меня — я отлично сознавал это — был и без того нелепый до крайности: обвисшие штаны, оттопырившаяся майка (я засунул консервы и прочий свой скудный скарб за пазуху) и застывшая улыбка на не бритой трое суток физиономии. Впрочем, наблюдать мое восхождение было некому, кроме Пришельцев, а им, несомненно, было наплевать. Согнувшись в три погибели, приседая на трясущихся от напряжения ногах, я преодолел наконец последние метры трапа и, гремя своим снаряжением, ввалился в люк.

Я оказался в довольно узком коридоре, наклонно уходившем в темноту, в глубь корабля. Рассеянный дневной свет проникал в люк и слабо озарял серые шероховатые на ощупь стены. Пол, на который я уселся, был холодным и, как мне показалось, слабо вибрировал. Было сумеречно, очень тихо и прохладно.

Я поправил под майкой свою ношу, подтянул ремень на брюках, вытянул шею и выглянул наружу. Ничего не изменилось на площадке. Одиноким «газик», залитый солнечным светом, был похож издали на детскую игрушку. Я подумал, что люк находится гораздо выше, чем это представлялось снизу.

Вдруг я увидел одного из Пришельцев. Неторопливо переступая, он подошел к трапу, остановился, словно

прицеливаясь, и вдруг стремительно побежал вверх, прямо на меня. Я прижался к стене коридора, подобрав ноги. От мысли, что он сейчас пройдет совсем рядом, может быть, коснется меня, мне стало не по себе. Но ничего не случилось. Свет в люке на мгновение померк, меня обдало теплом и странным свежим запахом, похожим на запах озона, и он промчался мимо, даже не задержавшись. Я услышал, как он удалялся в темноте, тихонько стрекоча и дробно постукивая лапами. Тогда я двинулся за ним, твердя себе, что оборачиваться не следует. Я очень боялся, что не выдержу и сбегу. Бегство было бы нестерпимым позором, это я знал твердо, и это меня сдерживало. Сначала я шел согнувшись, но потом решил, что это глупо, и выпрямился, но плечи и затылок уперлись в невидимый потолок, такой же холодный и шероховатый, как стены и пол. Тут я впервые рискнул оглянуться. Далеко позади и почему-то вверху голубел кусочек неба, и мне показалось, что я лежу на дне глубокого колодца. Я достал фонарик, чтобы посмотреть, что делается впереди. Результат обследования меня поразил. Коридор кончился. Прямо передо мной была стена, серая, шершавая, теплая на ощупь и совершенно глухая.

Я испытал нечто вроде разочарования, заметно разбавленного приятным чувством выполненного долга. Мне ужасно захотелось пожать плечами, повернуться и неторопливо двинуться обратно к выходу с выражением благородной горечи на лице, как делает солидный человек, огромным усилием воли заставивший себя зайти с больным зубом в поликлинику и узнавший, что зубной врач сегодня не принимает. Но мне было непонятно, куда девался Пришелец, пробежавший здесь минуту назад. Я еще раз осветил стену и сразу же обнаружил в нижней ее части большое круглое отверстие. Я мог поклясться, что за секунду до этого его не было, но теперь оно было, и я на четвереньках пролез в него, подсвечивая себе фонариком.

Если в коридоре было холодно и темно, как в погребке, то здесь было темно, как в могиле, но гораздо теплее. Я встал на ноги и вдруг почувствовал, что могу выпрямиться во весь рост. Потолок исчез. Свет фонарика тонул во тьме над головой и вырывал из мрака справа и слева какие-то странные нагромождения. Впереди была пустота. Я сделал несколько шагов и принялся осматриваться. Сначала я ничего не мог понять — мне

показалось, что вокруг возвышаются огромные штабели автомобильных покрышек. Похоже было, что я нахожусь в каком-то складе. Я медленно пошел по узкому проходу между штабелями, все время озираясь по сторонам. Только через несколько минут я решился пустить в ход пальцы и ощупал ближайший штабель. Это были Пришельцы! Собственно, не сами паукообразные машины, а только их плоские округлые тела. Они лежали друг на друге, совершенно неподвижные, мало чем напоминающие те стремительные черные механизмы, которые так поражали меня своей подвижностью и энергией. Ног я не видел, должно быть, они были отвинчены или втянуты. Это действительно был обширный тихий и темный склад. Штабели тянулись вверх, по крайней мере, на три-четыре метра. Сверху из темноты неподвижными гроздьями свисали странные острые стержни.

Пока я стоял, озираясь, шаря лучом фонарика, позади послышалось металлическое постукивание. Я повернулся и увидел Пришельца, вероятно, последнего из оставшихся, который двигался ко мне вдоль прохода. В нескольких шагах от меня он остановился, замер в луче света, затем ловко вскарабкался наверх прямо по стене штабеля и исчез из виду. С минуту что-то шуршало и пощелкивало у меня над головой, потом наступила полная тишина, и я совершенно инстинктивно ощутил, что во всем этом, вероятно, огромном помещении, кроме меня, нет ни одного живого существа.

Странно подумать, но именно тогда я впервые почувствовал себя по-настоящему одиноким. Я побежал — буквально побежал — обратно и скоро уперся в стену. Я лихорадочно шарил по ней лучом, стараясь отыскать лаз, через который проник сюда, но его не было. На этот раз действительно не было. Я крикнул. Мой голос задрожал в теплом воздухе и погас во тьме. И в то же мгновение пол подо мной качнулся и пошел вверх. Тело налилось нестерпимой тяжестью, я зашатался и сел, а потом лег прямо на жесткий горячий пол.

Все было кончено. Свершилось. Корабль поднимался и уносил меня в неведомое. Насколько я знаю, я был первым человеком, оторвавшимся от Земли и уходящим за пределы атмосферы. Помню, я подумал об этом и испытал странное чувство облегчения оттого, что дальнейшая моя судьба уже не зависит от моей воли. Скоро, однако, мысли мои стали путаться. Мой вес увеличился

раза в два (нормально я вешу, кстати, около девяноста кило), и я чувствовал себя очень неважно: мне было жарко и тяжело.

Так продолжалось не менее четверти часа. Я лежал, распластавшись, словно раздавленная лягушка, уткнувшись лицом в ладони, и считал. До ста, до тысячи, сбивался и начинал считать снова. Края консервных банок за пазухой больно впивались в тело, но у меня не было сил сдвинуть их в сторону и устроиться поудобнее.

И вдруг меня подбросило в воздух. Мне показалось, что я падаю, с невероятной скоростью несусь куда-то во мрак, в пустоту. Видимо, корабль, стал двигаться без ускорения и наступила невесомость. Когда я понял это, мне стало легко и хорошо, я даже, кажется, рассмеялся про себя. Ведь я был настоящим межпланетным «зайцем»-путешественником, совсем как в романах, с невесомостью и всем прочим! Но чувство радости быстро прошло! Я висел над полом на высоте двух метров. Вокруг возвышались молчаливые штабели разобранных машин, черные и бесформенные, колыхалась горячая тьма, а совсем рядом, на расстоянии чуть-чуть большем, чем длина протянутой руки, висел мой фонарик. И я никак не мог дотянуться до него, хотя дергался и извивался так, что мне позавидовал бы любой гимнаст. Фонарик светил мне прямо в лицо, ослепляя, доводя до бешенства. Но я ничего не мог сделать. К тому же у меня началось что-то вроде морской болезни. Вероятно, невесомость противопоказана моему организму так же, как и удвоенная тяжесть.

Меня тошнило, кружилась голова, и в конце концов я принялся браниться и бранился до тех пор, пока не обнаружил, что сижу на полу и фонарик лежит в двух шагах от меня. «Прибыли!» — подумал я. Фонарик горел по-прежнему ярко, значит, с момента старта прошло не больше часа. Даже при моих скудных познаниях из астрономии я не мог предположить, что это займет так мало времени.

Но удивляться и раздумывать было некогда. Тьма вокруг меня пришла в движение. Что-то трещало и стрекотало над моей головой, и, подхватив фонарик, я увидел в его свете фантастическую картину самосборки Пришельцев. Черные машины на глазах обрастали изломанными стержнями лап и стремглав бросались вниз, лязгая металлом о металл. Они одна за другой пронеслись мимо меня, наполняя воздух озоном и горячим

ветром, и исчезали во мраке. Впрочем, их было не так уж много — не больше десятка. Остальные остались лежать в молчаливых, неподвижных штабелях. Снова наступила тишина, откуда-то потянуло резким, неприятным запахом. Тут меня осенила мысль, что атмосфера на чужой планете может оказаться непригодной для дыхания. Но делать было нечего, следовало подумать о предстоящей встрече с Разумом Иного Мира. И если межпланетник из меня явно не получился, то я льстил себя надеждой, что в качестве парламентаря Земли лицом в грязь не ударю.

Я встал, подтянул брюки, стараясь придать себе по возможности респектабельный вид и стал ждать появления Хозяев Пришельцев. В том, что они появятся, я не сомневался. Я был настроен бодро и почти торжественно. Ведь я представлял земное человечество, а это не шутка!.. Но проходили минуты, никто не появлялся. Меня по-прежнему окружали мертвая тишина и душный мрак, в нос бил резкий, неприятный запах. Тогда, несколько раздосадованный, я решил отыскать дверь и выйти наружу.

Я шел и шел, светя фонариком то вперед, то себе под ноги, но стены все не было. И вдруг я заметил, что нахожусь уже не на складе Пришельцев, а в широком сводчатом тоннеле. Это меня поразило: я совсем не заметил, когда окончились ряды штабелей. Видимо, я шел не в ту сторону, хотя мне казалось, что Пришельцы пробежали именно сюда и выходной люк должен быть где-то здесь. Возвращаться не имело смысла. «Рано или поздно, — думал я, — Хозяева Пришельцев все равно попадутся мне навстречу». Кроме того, по моим расчетам, я был уже где-то у противоположного борта корабля. Но, только пройдя по тоннелю еще несколько десятков шагов, я наконец обнаружил люк и выбрался наружу, на шершавую покатую броню.

Я ожидал увидеть небо с незнакомыми созвездиями, огромный пустырь ракетодрома, живых людей, встречающих свой звездолет-автомат. Ничего подобного не оказалось. Впереди была непроглядная тьма, под ногами — теплая шершавая поверхность. Больше ничего не было. Я стал соображать, сопоставлять факты — если всю эту несурязицу называть фактами — и в конце концов пришел к заключению, что нахожусь скорее всего в гигантском ангаре для межзвездных кораблей. Правда, такое заключение почти ничего не объясняло, но ведь я

не мог знать нравы и обычаи обитателей неведомой планеты. И раз Магомет, по-видимому, не собирается идти к горе, то лучше всего будет, если гора сдвинется с места и побредет искать Магомета.

Я сдвинулся с места и, помогая себе свободной правой рукой (в левой я сжимал фонарик), стал сползать вниз. Как это ни странно, но я больше не испытывал ни страха, ни волнения, ни прежнего острого любопытства — только нетерпеливое и сердитое желание поскорее встретиться с кем-нибудь живым. Удивительное существо — человек! Я словно забыл обо всех испытаниях, о своем фантастическом положении и вел себя совершенно так же, как запоздавший гость, который запутался среди чужих пальто в неосвещенной прихожей. Помнится, я даже брюзжал вполголоса, называя него-степенных хозяев звездолета невежами.

Тут ноги мои соскользнули в пустоту, и я упал. Я хорошо помнил, что бока корабля отлоги, сорваться с них невозможно. Тем не менее я упал, причем упал с изрядной высоты, больно стукнулся пятками и, гремя консервными банками, повалился на бок, инстинктивно подняв руку с драгоценным фонариком. Луч света скользнул по гладкой сетке, метнулся вверх и озарил плоское шершавое днище звездолета.

«Что ж, могло быть и хуже», — бодро подумал я, поднимаясь. И вдруг я увидел свет. Он был слабым, едва заметным, но сердце мое запрыгало от радости. Я погасил фонарик и глядел во все глаза, боясь потерять из виду это тусклое зеленоватое пятнышко. Затем осторожно, но быстро пошел на него, время от времени зажигая фонарик, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму. К счастью, пол в «ангаре» был ровный и шероховатый, как и в звездолете, и я ни разу не споткнулся и не оступился. Вскоре оказалось, что я иду вдоль высокой, слегка наклонной стены, в которой через каждые десять-пятнадцать метров открывались круглые и квадратные люки. Я заглянул было в один из них, но оттуда торчали лапы Пришельца, и я счел за благо не задерживаться и двинуться дальше с невозможной поспешностью. И вот световое пятно сделалось ярче и внезапно оказалось под ногами. Свет лился из высокого узкого прохода, прорезающего стену. Я втиснулся в него и остановился в изумлении.

Прямо передо мной был просторный тоннель, освещенный довольно ярко, но необычно. В первую мину-

ту мне показалось, что вдоль стены непрерывными рядами тянутся разноцветные витрины магазинов, как на Невском вечером, желтые, голубоватые, зеленые, красные... Глубина тоннеля тонула в туманной фосфорической дымке, стены были прозрачны, словно стекло. Впрочем, вряд ли это было стекло. Скорее какой-нибудь неизвестный металл или пластмасса. За стенами располагались разделенные прозрачными же перегородками камеры размером примерно пятнадцать метров каждая, а в этих камерах...

Это был музей. Точнее, это был исполинский невообразимый зверинец. От первой же камеры я шарханул, как младенец от буки. Там, наполовину погруженная в зеленовато-розовую слизь, восседала кошмарная тварь, похожая на помесь жабы и черепахи величиной с корову. Тяжелая плоская голова ее была повернута ко мне, пасть распахнута, под нижней челюстью судорожно трясся мокрый кожистый мешок. Она была так омерзительна, что меня затшнило. Правда, потом я привык и смотрел на нее без отвращения, только с любопытством.

В камере напротив находилось нечто вообще не поддающееся описанию. Оно заполняло всю камеру — огромное, черное, колышущееся. Пульсирующий студень, покрытый мясистыми шевелящимися отростками, плавающий в густой, плотной атмосфере, которая то вспыхивала неровным сиреневым светом, то гасла, как испорченная неоновая лампа.

И в каждой из камер в этом удивительном тоннеле-зверинце копошилось, ползало, жевало, пульсировало, металось, тарасилось какое-нибудь существо. Там были слоноподобные бронированные тараканы, красные, непомерной длины тысяченожки, глазастые полурыбы-полуптицы ростом с автомобиль, и что-то невероятно расцвеченное, зубастое и крылатое, и что-то вообще неразборчивых форм, погруженное в зеленое полупрозрачное желе, разлитое по полу. В некоторых камерах было темно. Там время от времени вспыхивали разноцветные огоньки, что-то шевелилось. Не знаю, кто там сидел, в этих клетках. Вообразить все это очень трудно, а описать и рассказать еще труднее, невозможно. Зато вы можете сравнительно легко вообразить себе Бориса Яновича Лозовского, сотрудника Государственного Эрмитажа, археолога, семейного человека, как он, пораженный, озираясь, бредет по тоннелю, и блики не-

обыкновенных расцветок падают на его сутулую фигуру в фланелевых штанах и оттопыренной майке, на волосатую физиономию с вытаращенными бегающими глазками...

Тоннель, казалось, был бесконечным. Я насчитал пятьдесят камер, потом перестал считать. Тоннель будто тянулся по спирали, время от времени в стенах справа и слева открывались узкие проходы, заглянув в которые я видел все те же сплошные ряды то разноцветных, то темных витрин. Иногда пробегал Пришелец, делал передо мной стойку, нелепо задрав лапы, вспыхивал белым светом и удирал прочь, стрекоча и постукивая.

Я вдруг почувствовал смертельную усталость. Ноги мои заплетались, голова разламывалась от боли. Я давно уже хотел пить, но, поскольку овец и коров найти не удалось, решил не прикасаться к своим скудным запасам как можно дольше. Теперь жажда стала нестерпимой. Несомненно, сказывались и жара, и дурной запах, к которому я, правда, как-то привык, и волнения последних нескольких часов.

С момента старта не могло пройти более полусуток, но устал я так, словно не спал, по крайней мере, несколько ночей подряд. И когда я забрел в «незаселенный» участок тоннеля — это была целая галерея пустых камер, не закрытых прозрачной перегородкой, чистых, сухих и совершенно темных, — то решил остановиться. Для очистки совести я покричал. Мне все еще казалось, что Хозяева меня могут услышать. Но никто не откликнулся, только где-то в тоннеле дробно простучал лапами Пришелец.

Я с наслаждением растянулся на полу и выгрузил из-за пазухи свои сокровища. Выгрузил, полюбовался ими при свете фонарика и... похолодел. Я забыл нож в кармане куртки! Это была настоящая катастрофа. Я никогда не представлял себе, до чего жалок голодный человек, имеющий консервы и не имеющий консервного ножа. Сначала я попытался вскрыть банку пряжкой ремня. Потерпев неудачу, стал бить банкой об пол и об угол перегородки. Банка потеряла первоначальную форму, покрылась трещинами, которые мне, правда, удалось расширить пряжкой так, чтобы можно было выдавливать содержимое тоненькими листочками.

Я задумчиво сосал эти листочки и неожиданно за-

метил, что проблема консервного ножа занимает меня как-то больше, чем Хозяева и тайны «зверинца». Я вздыхал, выпил несколько глотков из фляжки и уснул.

На следующий день — или на следующую ночь, или вечером того же дня, не знаю, — я снова принялся искать Хозяев. Кроме того, я надеялся попасть в помещение, где Пришельцы держали захваченные автомобили. Ведь там могло оказаться и продовольствие, которое я вез в лагерь из Пенджикента. И вода в радиаторе. Ни автомобилей, ни продовольствия мне найти не удалось, зато в одном из тоннелей «зверинца» я, к своей радости, обнаружил коров и овец. Напротив камеры с огромной муравьеподобной тварью, за толстой прозрачной стеной возлежали пегие коровки, в соседней клетке толпились овцы. Эта находка доставила мне живейшую радость, причем радость совершенно бескорыстную, потому что добраться до этих «землян» было бы совершенно невозможно. Все они чувствовали себя неплохо, хотя овцам было, пожалуй, тесновато. Впрочем, вскоре я сообразил, в чем дело. В клетках рядом я увидел: в одной огромного тигра, в другой желтых, беспрестаннодвигающихся животных, очень похожих на собак. По-видимому, это были койоты, степные волки. В камерах этих хищников на полу были разбросаны свежие на вид кости и куски шкур, несомненно овечьих. Отсюда я сделал три довольно очевидных вывода. Во-первых, что овец Пришельцы захватили в таком большом числе в качестве временной пищи для хищников; во-вторых, что корабль Пришельцев побывал не только в Таджикистане, где, как известно, не водятся ни койоты, ни тигры. Наконец, в-третьих, что в «зверинце» представлен животный мир нескольких, может даже быть многих, планет, и, возможно, планет не только нашей солнечной системы.

Я решил действовать планомерно и стал обходить тоннели, коридоры и проходы по правилу правой руки. Этот метод очень хорош для лабиринтов на Земле, но он оказался никуда не годным для небесного лабиринта. Небесный лабиринт был подвижным! На месте уже знакомых проходов я обнаруживал глухие стены. Люки возникали и исчезали, словно по волшебству. Я видел, как большой ряд камер вдруг мягко и беззвучно отъехал в сторону и открыл проход, через который минутой позже выскочил Пришелец.

Вскоре я сделал удивительное открытие. Я прини-

мал этот мир, в котором, подобно древнему философу, бродил с огоньком в поисках Человека, за помещение на другой планете, за ангар для звездолетов, за музей и в конце концов понял, что это не так.

Этот мир оказался неустойчивым. Я ощущал его движение в пространстве. Иногда вес моего тела внезапно резко увеличивался, пол уходил из-под ног, меня несло в сторону и бросало на стену. Иногда наступала невесомость. Неловко шагнув, я взмывал в воздух и болтался в таком положении, изнывая от тошноты, до тех пор, пока невесомость не исчезала. В такие минуты в камерах «зверинца» можно было наблюдать смешные и жуткие картины.

Представьте себе корову, обыкновенную буренку, висящую в воздухе растопыренными ногами вверх. Поразительное зрелище! Впрочем, коровы и овцы вели себя в такой ситуации довольно спокойно, но тигр!.. Он извивался и корчился в воздухе, пытаясь дотянуться когтистой лапой до чего-нибудь твердого... А повисшая между полом и потолком исполинская жаба, похожая скорее на нездоровый сон, чем на объективную реальность! Но, в общем, невесомость, по-видимому, не оказывала на животных особого влияния. Как только тяжесть становилась нормальной, все входило в обычную норму.

Некоторых гадов невесомость приводила в бешенство. Мне довелось наблюдать бунт огромной змееподобной твари. Она сворачивалась тугим клубком и, распрямляясь, с силой била покрытым роговой оболочкой хвостом в стену соседней камеры. Грохот ударов я услышал из другого конца коридора. Это было до жути красиво: в голубом мерцающем тумане разворачивался и свивался гигантский дракон. От ударов подпрыгивал пол под ногами. На моих глазах стена расседалась, покрываясь длинными, извилистыми трещинами. Я увидел, как в соседнюю камеру, где сидели два больших черных существа, похожих на грибы с глазами, пополз голубой дым и «грибы» начали корчиться, судорожно и беспомощно скакать по камере. Затем в камере бунтовщика вдруг погасло голубое сияние, и в наступившей полутьме стали медленно опускаться, тяжело колыхаясь, клубы белесого пара. Тяжелые удары сразу стихли. Бунт окончился. Потом мне довелось увидеть этого змея еще раз. Его поместили в другую камеру, где он и сидел вполне тихо и прилично. А «грибов» с

глазами я больше так и не видел. Их камера опустела, свет в ней погас. Заглядывая туда, я видел быстро перемещающиеся тени. По-моему, это были Пришельцы. Думаю, они чинили стену.

Но я отвлекся. Короче говоря, я довольно скоро заподозрил, что нахожусь на огромном межпланетном корабле, несущемся в пространстве. Особенно ясно мне это стало, когда однажды меня швырнуло вдоль коридора с «витринами» и я пролетел метров двадцать, размахивая руками и тщетно пытаюсь обрести равновесие, пока не споткнулся о какой-то предмет и не покатился по шершавому полу. Это событие напоминало мне аналогичный случай в ленинградском автобусе, где я совершенно так же летел вдоль прохода между креслами, срывая с сидящих шляпы. Аналогия была полная. Между прочим, предмет, о который я споткнулся, оказался Пришельцем, прильнувшим к полу. Ему удалось удержаться, хотя я до сих пор не понимаю, каким образом.

Проводив глазами Пришельца, бодро ускокавшего вдоль коридора, и потеряв свои садины, я уселся в позу Будды и стал думать. Все получалось как-то неутешительно.

Если бы это был ангар для звездолетов, как я думал вначале, или музей-«зверинец», как я думал потом, мне в конце концов удалось бы выбраться отсюда под небо чужой планеты. Но нет, это был космический корабль в движении, корабль, все время меняющий режим полета, с необъяснимой для меня подвижной планировкой внутреннего пространства. За бортом его могла быть только пустота.

Оставалось еще два вопроса, есть ли на корабле мыслящие существа и сколь долго этот межзвездный скиталец (я имею в виду корабль) собирается витать в пространстве? Естественно, оба эти вопроса повисли без ответа.

У меня оставалось еще с четверть фляги воды и последняя банка консервов. Эту банку, кстати, еще предстояло открыть, а вода уже начала портиться. Во всяком случае, пахло от нее болотом и головастиками. Я сидел, скрестив ноги, посреди тоннеля, и справа от меня в полутемной камере фантастическими огнями мерцало какое-то чудище, а слева корова с глупыми глазами задумчиво лизала прозрачную стену своей клетки.

Было очень тихо. Дальний конец коридора тонул во мраке, и на полу неподвижно лежали разноцветные яркие блики. Я впервые заметил, что потолок коридора тоже прозрачен: в одном месте его пересекала светящаяся полоса, и я успел заметить растопыренную тень Пришельца, скользящую поперек этой светлой полосы. Я попытался представить себе это грандиознейшее создание Разума — звездолет, управляемый механическим мозгом, заполненный сложнейшими механизмами, протянувшийся на сотни метров от меня вверх и вниз, вправо и влево. «Неужели здесь нет ни одного живого носителя мысли? — подумал я. — Не может быть. Тысячи тонн прозрачного металла, сотни паукообразных машин — и ни одного Человека?» Это можно было вообразить, но в это было очень трудно поверить. Каких-нибудь десять дней назад я мог себе представить такой огромный космический корабль, но ни за что не поверил бы в него. Теперь я видел бесконечные прозрачные коридоры и трогал рукой шершавый, чуть теплый пол, доверял своей руке, но не мог представить себе, что, кроме меня, здесь, может быть, нет ни одного человека.

От этих мыслей меня отвлекла корова, которая перестала вдруг облизывать стену, отошла в глубь камеры и принялась лакать из прозрачной лохани. Я с особой остротой почувствовал свое пересохшее горло и голод. И тут меня осенило. Я вскочил и побежал по коридору, ругаясь во весь голос. Я обзывал себя болваном и кретином. Мне нужно было подумать об этом раньше, гораздо раньше. Мне нужен был Пришелец. Любой. Но как можно скорее: у меня не хватало терпения ждать.

Я быстро нашел Пришельца. «Паук» стоял в полутемном зале у стены и копался передними ногами в черном нешироком отверстии. На меня он не обратил никакого внимания. Он имел вид очень занятой и неприветливый, но я все-таки позвал его и, когда это не помогло, шлепнул по спине и обжег руку. Пришелец поднял две ноги и принял свою обычную позу, не переставая в то же время копать в черной дыре, где время от времени вспыхивали и гасли длинные голубые искры. Совершенно нельзя было понять, где у него передние, а где задние ноги, и, немного поколебавшись, я решил. Я сунул руку за пазуху, вытащил консервную банку и поставил на пол. Я сказал:

— Вот. Хватай, дружище, и тащи на склад.

Я надеялся, что Пришелец утащит банку и присоединит ее к прочим земным предметам, а уж я буду за ним бежать хоть по всему кораблю, но найду этот склад, и тогда все станет проще и легче. Но Пришелец некоторое время стоял неподвижно, потом взял банку, повертел ее в лапах и снова поставил на пол. Я был разочарован.

— Ну что же ты? — сказал я.

Пришелец безмолвствовал.

— В чем дело? — спросил я.

Пришелец звонко щелкнул, захлопнул какую-то дверцу и, так сказать, не оборачиваясь, удалился. Тогда я взял банку и немедленно убедился, что она вскрыта. Собственно, она была перерезана поперек, и верхняя половина отделилась от нижней, а нижняя осталась на полу. Упоительный аромат лососины наполнил воздух, и я не выдержал. Я взял половину банки и опорожнил ее. Потом я хлебнул протухшей воды из фляжки и почувствовал себя самым довольным человеком во вселенной. Можно было снова приниматься за поиски.

Для начала я двинулся вдоль стены, потому что, в конце концов, мне было все равно, куда идти, и скоро наткнулся на Пришельца, по-моему, на того же самого. Во всяком случае, этот тоже копался в стене, озабоченный голубыми искрами. Я подошел к нему и сказал: «Спасибо». Я сказал это совершенно серьезно, хотя мне больше понравилось бы, если бы Пришелец помог мне найти склад. Потом я сел рядом с ним на корточки и стал наблюдать. Пришелец щелкал, вспыхивал, и я пытался понять, что он делает, но так и не понял. Пришелец кончил работу, и мы посмотрели друг на друга. То есть я посмотрел на него. Куда смотрел он, понять было трудно. И тогда я стал с ним говорить. Я говорил с ним так, как скукающий человек беседует с собакой. Сначала я болтал просто: экий ты, братец, умница, и какой же ты у нас послушный, и как же тебя зовут... и так далее. Он не уходил, и тогда я по какому-то вдохновению принялся ему рассказывать о Земле, о людях, о себе и об археологии. Я говорил долго, и он все стоял и слушал, неподвижный, как изваяние, и вдруг я заметил, что рядом стоят, собравшись вокруг меня, еще штук пять Пришельцев.

И тогда я понял. Они слушали и вели запись. И я встал. Я собрался с мыслями и заговорил. Это была не

первая моя лекция, но такой лекции я еще не читал никогда. Впервые за несколько дней я чувствовал, что делаю действительно полезное. Еще бы — ведь через Пришельцев я обращался к неведомым Хозяевам всех этих машин. Я рассказывал о Земле и о человечестве, о войнах и революциях, об искусстве и об археологии, о великих стройках и великих планах. Я попытался было рассказать о достижениях наших точных наук, но боюсь, что в этой части моя лекция имела несколько расплывчатый характер. И я не смог заставить себя рассказать об атомных и водородных бомбах и ядовитых газах. Почему-то мне стало стыдно... Обо всем остальном я рассказывал подробно и с увлечением. Я думаю, что, если Хозяева расшифруют эту запись — а в этом сомневаться не приходится, — они будут довольны. По крайней мере, они будут знать, что их машины столкнулись с братьями по Разуму.

Когда я кончил и сказал: «Вот и все», Пришельцы еще постояли немного, потом разом вспыхнули и, пока я протирал глаза, исчезли все до единого.

Некоторое время я ходил по коридорам под впечатлением этого события. Я был очень горд собой и перестал смотреть на Пришельцев с опаской. Для меня они теперь были чем-то вроде почтовых ящиков, которым я доверил свое послание другому человечеству. Это не значит, конечно, что я перестал восхищаться этими замечательными механизмами. Но я просто вдруг как-то всем существом своим осознал, что это всего лишь механизмы. Очень хитроумные, но неизбежно ограниченные, как и все механизмы.

Но, разумеется, выполнение моей миссии не облегчило моего положения. Я исходил, как мне казалось, весь этаж и не нашел ничего нового. Я даже не нашел способа подняться куда-нибудь выше. Зато я доел консервы и очень скоро начал голодать по-настоящему.

Я шатался у камер земных животных, подолгу простаивал перед ними, жадно глядя, как койоты раздирают куски чего-то бело-розового и лакают воду. Да, на корабле была пища и была вода. В загоне осталось всего три овцы, их, вероятно, решили сохранить, и теперь хищники питались какой-то другой пищей, может быть синтетической. Пища и вода были на корабле, это я твердо знал.

Однажды я попал в широкий и низкий коридор, в щель, по которой ходить можно было, только согнув-

шись. Я заполз в нее довольно далеко, и вдруг впереди послышалось знакомое стрекотание и металлический лязг. Навстречу мне бежали двое Пришельцев. Обычно они ходили поодиночке, но меня поразило не это. Они тащили на себе какой-то предмет, длинный и белесый, похожий на обтесанное бревно. И от этого бревна пахло... — не знаю, как описать этот запах, да я уже и не помню его, — пахло пищей. Пришельцы несли пищу. И когда белый пахучий предмет поравнялся со мной, я прыгнул на него. Я рвал его к себе, мям, навалился на него всей тяжестью. Пришельцы продолжали нестись вперед, не обращая на меня внимания, и проволокли меня метров десять. Затем я упал. В руках у меня остался большой кусок мягкого ароматного вещества, похожего на брынзу. Пришельцы убежали своей дорогой, а я тут же, не сходя с места, устроил себе пиршество. Кажется, было очень вкусно.

Впоследствии я совершал такие грабежи еще несколько раз. Пришельцы этого, кажется, не заметили. Два раза я наедался до отвала. На третий раз мне досталась такая гадость... Она явно не предназначалась для «землян». Пахло нашатырным спиртом и еще чем-то вроде нефти. Так или иначе, особых мук голода я не испытывал. Зато жажда...

Я как зеницу ока хранил последние глотки воды. Но наступил час, когда я не выдержал и выпил все досуха. Я швырнул флягу в темноту. Она, я думаю, и сейчас еще лежит там. По моему подсчету, это случилось примерно на десятый или одиннадцатый день. У меня остался только фонарик с последней, наполовину использованной батареей и ком синтетической пищи, похищенной у Пришельцев.

Очень скоро мне стало совсем плохо. Я умирал от жажды. Кроме того, синтетическая пища была не очень доброкачественная. Во всяком случае, та, что воняла нефтью, мне не понравилась. Одним словом, случился так, что у меня подкосились колени, закружилась голова, и я повалился на пол прямо посреди коридора.

И тут произошла странная вещь. Меня с самого начала занимала мысль, почему Пришельцы, похитившие меня на вершине тепе, перестали обращать на меня внимание, как только рассмотрели получше. Вертолет утащил меня, когда я на четвереньках взбирался по крутому склону. Я тогда не успел ничего понять: внезапный рев моторов, толчок в спину, жесткие клещи, стис-

нувшие мои бока, и тьма. Я успел только взречься дурным голосом и ощутить запах озона, и потом снова свет, я уже на посадочной площадке Пришельцев.

Но здесь, на огромном безжизненном корабле, я кое в чем разобрался. По-видимому, Пришельцы были натасканы, если можно так выразиться, только на неразумных существ, на все, что ползает, карабкается, бегает на четырех конечностях. Иначе я не берусь объяснить тот факт, что Пришельцы, совершенно не замечавшие меня, пока я был способен держаться прямо, проявили такую поразительную активность, стоило мне опуститься от слабости на карачки. Сквозь шум в ушах я расслышал их топот и стрекотание, в луче фонарика я увидел, что они собрались небольшой группкой и вдруг бросились на меня. Они схватили меня за бока и куда-то потащили. Они обжигали, как раскаленная печка, к тому же от запаха озона мне стало лучше, я рванулся и попытался подняться. Это мне удалось, и, как только я выпрямился, встал на обе ноги и заговорил с ними (не помню, что именно я сказал, кажется: «Да что вы, ребята!»), они меня сразу отпустили и стали кружком, оживленно стрекоча. Вот тут я начал кое-что понимать. Пока я держался на ногах, я для них был Хозяин. Хомо Сапиенс Эректус, существо, им не подогчетное, Властелин Всего Сущего. Но, опустившись на четвереньки, я моментально превращался в животное, которое надо хватать, заточать в клетку, изучать... и... кормить и поить. Это последнее соображение заставило меня сильно призадуматься.

Но я не пошел на это. Мне страшно хотелось пить, я был голоден, я ослабел, но на это не пошел. Сидеть по соседству с коровами, жиреть и жевать жвачку?.. При всей соблазнительности этой мысли она внушала мне отвращение и ужас. В тот момент я особенно сильно, как никогда сильно, почувствовал себя Человеком. Я выпрямился, выпятил грудь и рявкнул на Пришельцев. Я крикнул им, чтобы они убрались. И они убрались. Поглазели, пострекотали и убрались.

Жажда, нервное утомление, мерзкий запах, смертельная усталость делали свое дело. Кажется, у меня начался бред. Я вдруг вообразил, что нахожусь на борту исполинского межпланетного «Летучего голландца», что Пришельцы — это механические призраки своих давно умерших Хозяев, некогда проклятых за какое-то чудовищное преступление, что где-то в недрах этого ко-

рабля скрывается дух их капитана, марсианского ван Стратена или ван дер Декена, обреченного за непостижимые грехи свои на вечные скитания в космических безднах. Это было в последние дни моего пребывания на корабле. И именно в эти последние дни я сделал самые замечательные открытия.

В своих бесплодных поисках Человека и воды я забрел в одну из пустующих камер. Помню, это было в совершенно незаселенном тоннеле. Там было темно и жарко. Луч фонарика скользнул по стене, и меня словно током ударило. Мне показалось, что я сошел с ума окончательно. На стене я увидел грубое изображение большой птицы с распростертыми крыльями и короткую надпись. Надпись состояла всего из семи знаков, написанных строчкой, криво и небрежно. Птица была намалевана какой-то густой засохшей краской, она резко выделялась на серой стене. Буквы были выцарапаны чем-то острым. Представляете мои ощущения? Я стремглав бросился вон. Я бежал по коридорам. Я с новой силой и надеждой принялся за поиски себе подобного. Не знаю почему, но я был уверен, что найду его, хотя надпись и рисунок могли быть сделаны тысячи лет назад. Очень скоро я ослабел и свалился без памяти, а когда очнулся, то уже не мог найти ту камеру. Меня тянуло туда, но... Впрочем, меня ждало еще одно открытие, более значительное и более странное.

Не помню, как я забрался в низкий длинный тоннель, который привел меня к колодцу, к настоящей бездонной пропасти. Я лежал на краю и с тупым любопытством вглядывался в черную глубину, из которой поднимались волны горячего смрада. Мне казалось, что внизу двигаются огоньки, вспыхивают яркие белые искры. Я устроился поудобнее, раздвинув локти и положив подбородок на кулаки, и вдруг локоть мой погрузился во что-то мягкое. Я с трудом поднялся и посветил. Рядом лежал труп. Точнее, мумия — иссохшее черное тело человека. Оно лежало на самом краю колодца, сжавшись в комок, подтянув колени к голове. Маленький, высохший, обугленный...

Я долго смотрел на него, стараясь сообразить, бред это или действительность. Потом решился и дотронулся дрожащей от слабости рукой до руки мертвеца. Она распалась в пыль, и под кучкой черного праха блеснул металл: это был странный амулет — маленькая тяжелая платиновая статуэтка, трехпалый человек. Я взял его,

аккуратно очистил от пепла и сунул за пазуху. Он мало интересовал меня в тот момент. Я сидел и смотрел на черную мумию и видел свой собственный конец. Я понимал, что надеяться мне больше не на что. Я мысленно видел этого маленького человечка, когда он еще был жив, полон сил и настоящего человеческого любопытства, когда он, так же как и я, попытался проникнуть в тайну чужого звездолета. Наверное, это случилось очень давно. Когда? Кто он? Какие образы вставали перед его глазами? Кто не дождался его возвращения?..

О последних днях или часах моего пребывания на звездолете у меня сохранились только очень смутные воспоминания. Вероятно, уже тогда я был болен. И возможно, то, что я сейчас расскажу, просто мерещилось мне.

Кажется, я сидел в огромном зале, полном каких-то сложных блестящих машин. Станные ощущения владели мною. Я слышал голоса и громкую, аритмичную музыку. И я чувствовал, что кто-то глядит мне в глаза. Не знаю, как объяснить это: я чувствовал взгляд, но я не видел глаз. Не знаю, почему я их не видел: может быть, они были за бесчисленные миллионы километров от меня, а может быть, их и вообще не было... Но взгляд был, внимательный, пристальный, удивленный. Не помню, сколько это продолжалось. Появились Пришельцы и осторожно подняли меня. Я повиновался. Я был ужасно слаб и едва держался на ногах. Меня понесли куда-то. Потом была тьма, невесомость, рев моторов и свежий, знакомый, бесконечно родной ветер Земли на лице.

В этот момент я ненадолго пришел в себя и понял, совершенно инстинктивно понял, что происходит. Я понял, что меня возвращали на Землю. Пришельцы по приказанию Хозяев возвращали на Землю двуногое разумное существо, проникшее к ним без спросу, не взвесившее своих сил и возможностей. И я решил, что все — мои планы, намерения, — все, что мне удалось, шло к черту. Я стал отбиваться. Ого, как я отбивался. Я кричал, я умолял вернуть меня на корабль, показать меня Хозяевам... Последнее, что я запомнил, — это рев моторов вертолета, ослепительная вспышка и ощущение сырости и холода.

Дальнейшее известно. Меня подобрали военные, случившиеся неподалеку, отправили в госпиталь. Это я узнал уже позже, когда очнулся и окончательно опра-

вился. Я был без сознания почти полгода. У меня нашли сильное истощение организма, двустороннее воспаление легких, мозговую горячку и еще что-то. Врачи не могли определить эту болезнь. Подозреваю, что я подхватил ее на корабле. Но я выздоровел. Выздоровел и вспомнил, когда мне кое о чем рассказали. Вот и все.

Мои приключения не пропали зря. Говорят, я очень помог Сталинабадской комиссии. Кроме того, я убедился, что меня любит жена, ценят друзья и не понимают машины. Думаю, это знание пригодится мне в дальнейшем... если мне посчастливится снова попасть в конус к Пришельцам. Между прочим, теперь я не расстаюсь с консервным ножом. Чертовски полезная вещь! Им, помимо всего прочего, весьма удобно разрезать книги.

Но какая жалость, что это были только машины!

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ СТАЛИНАБАДСКОЙ КОМИССИИ

...Не приходится сомневаться, что Пришельцы были посланы на Землю с чисто исследовательскими целями. Черные Вертолеты и паукообразные машины либо не были вооружены, либо не пускали оружия в ход. Вообще следует подчеркнуть, что Пришельцы вели себя по отношению к людям чрезвычайно осмотрительно. Случаев ранений или увечий не было. Лозовского высадили на Землю очень осторожно. Реальный ущерб, причиненный Пришельцами, невелик, и неразумно было бы рассматривать похищение нескольких автомобилей, коров и овец как враждебные действия...

Пришельцы наблюдались на Земле три дня: 14, 15 и 16 августа 19... года, причем «пауков» видели немногие. Черные Вертолеты появлялись над всеми крупными населенными пунктами в радиусе ста пятидесяти — двухсот километров от посадочной площадки. Один из них был перехвачен нашими самолетами недалеко от афганской границы. На предложение следовать к аэродрому он, конечно, не ответил, и летчики были вынуждены обстрелять его. Они своими глазами видели вспышки бронебойных снарядов на его черном корпусе. Через несколько секунд вертолет вдруг с невероят-

ной быстротой нырнул в сторону и камнем упал в какое-то ущелье, затянутое густыми облаками. Летчики были убеждены, что он разбился, но из записок Лозовского известно, что ему удалось благополучно вернуться к звездолету. Это был единственный случай вооруженного столкновения с Пришельцами, причем огонь открыли люди...

В ночь с 14-го на 15-е на территории Средней Азии и Северного Афганистана на несколько часов перестала действовать радиосвязь. Несомненно, что это следствие ночной деятельности Пришельцев, описанной Лозовским...

По-видимому, паукообразные машины представляют собой так называемые УЛМНП — Универсальные Логические Машины с Неограниченной Программой, то есть кибернетические механизмы, способные в любой ситуации совершать действия, наиболее логичные и целесообразные с точки зрения их основной программы. Гипотеза о возможности создания таких машин была недавно выдвинута Институтом теории информации АН СССР. Многое остается неясным. Непонятно, каким источником энергии они пользуются, какова их принципиальная схема. Непонятно, каким образом удалось сочетать такую сложность и такую мощность с малыми габаритами. О таких совершенных механизмах мы можем пока только мечтать...

Следует отвергнуть мнение, что Хозяева Пришельцев строили паукообразные машины по своему образу и подобию. Исходя из самых общих соображений, а также из того, что эти машины реагируют на человека, следует считать, что Хозяева не очень отличаются от людей...

Обращается внимание на описание Пришельца с «глазами». Каково бы ни было назначение этих приспособлений, два черных «глаза» должны быть окрашены в оттенки ультрафиолетового цвета, кажущиеся человеку черными. Вероятно, Хозяева различают только пять цветов, из которых мы, люди, видим только три...

Приходится признать, что создатели звездолета и паукообразных машин сильно обогнали нас в области техники и теории кибернетики...

Рассказ Лозовского приводит нас к представлению об исполинской космической лаборатории, запущенной в межзвездное пространство неведомо кем и неведомо

когда. Эта лаборатория необитаема, она снаряжена весьма сложными кибернетическими устройствами с чрезвычайно сложной и подробно разработанной программой. Лаборатория передвигается от звезды к звезде, фиксирует ее физические характеристики и в том случае, если звезда имеет планетную систему, проводит исследование каждой планеты, забрасывая на ее поверхность автоматические разведчики — конусы с паукообразными машинами для сбора материала — проб атмосферы и почвы, образцов флоры, фауны, минералов. Для этого лаборатория становится временным спутником планеты и обращается вокруг нее до тех пор, пока не получены все сведения, запланированные программой. Если планета населена разумными обитателями, захватываются и образцы орудий труда, техники и культуры, но ни в коем случае не берутся сами разумные обитатели. Как машины отличают разумное существо от других видов животных, непонятно. Возможно, некоторый свет на это проливает мнение Лозовского, однако такое мнение неубедительно...

Радиометрическое исследование посадочной площадки Пришельцев не обнаружило никаких признаков повышенной радиоактивности. По-видимому, двигатели звездолета-конуса основаны на другом принципе, нежели ядерный распад или ядерный синтез. В общем, многие признаки говорят о том, что Хозяева используют виды энергии, еще неизвестные земному человечеству...

Наличие силы тяжести в космической лаборатории заставляет предполагать либо собственное вращение лаборатории, либо умение создавать искусственные гравитационные поля...

Тот факт, что звездолет был оснащен такими превосходными машинами, говорит о том, что Пришельцы прибыли издалека, скорее всего с другой планетной системы. На ближайших планетах мы, наверное, смогли бы обнаружить следы цивилизации, способной создать подобные механизмы. Вероятно, Пришельцы были посланы с одной из ближайших звезд, хотя не исключено, что гигантская лаборатория странствует в Космосе тысячелетия или даже десятки тысяч лет и запущена из весьма отдаленного уголка Вселенной. В пользу последнего предположения свидетельствует изобилие и разнообразие образцов флоры и фауны...

Пока неизвестно, с какого времени космическая лаборатория является спутником Земли и остается ли она

спутником Земли в настоящее время. Не исключено, что именно ее обнаружили несколько лет назад астрономы Афинской обсерватории в созвездии Ориона. Почти наверняка его наблюдала Тер-Марукян, молодая сотрудница Симеизской обсерватории. Он представлялся очень слабым объектом девятой звездной величины, был виден всего одну ночь и получил пророческое название — «Черный спутник». Тер-Марукян решила, что это обломок американской ракеты-носителя, взорвавшейся в мае в верхних слоях стратосферы. Данные наблюдений позволили определить, что орбита его сильно вытянута, перигейное расстояние составляет около десяти тысяч, апогейное — миллион километров, период обращения — около сорока суток. Однако на следующую ночь обнаружить его на вычисленной орбите не удалось... Трудность наблюдения космической лаборатории заключается в том, что она, по-видимому, во-первых, время от времени производит передвижения собственным ходом, во-вторых, окрашена в серый или черный цвет. Вдобавок материал, из которого сделана ее оболочка (как и оболочка разведчика-конуса), несомненно, поглощает радиоволны, что очень затрудняет наблюдение со средствами радиоастрономии и радиолокации...

Не выяснено, почему в корабле существует атмосфера, состоящая в значительной степени из воздуха. Она спасла Лозовского, но механическим Пришельцам она, очевидно, не нужна. Может быть, возможность появления на борту разумного существа была предусмотрена программой кибернетического «мозга», который управляет лабораторией?..

Чье тело нашел Лозовский в лаборатории? Как, когда и откуда попал в лабораторию человек с амулетом? Когда и где взяты странные существа, населяющие «зверинец»? Для чего они нужны Пришельцам? Куда направит путь лаборатория, покинув Землю (если она еще обращается вокруг Земли)? Не является ли она остроумно устроенным разведчиком, космическим лотом, за которым следует визит Разума Другого Мира?..

Представляют интерес последние видения Лозовского, которые сам он считает бредом. Принимая во внимание исполинский уровень техники звездолета и паучообразных машин, комиссия не считает совершенно невероятным наличие у Хозяев Пришельцев средств коммуникации, принципы которых нам пока неизвестны. И возможно, именно благодаря этому Разумные Хо-

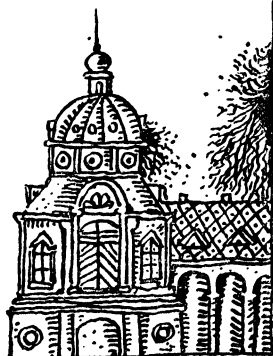
зяева Пришельцев открыли местопребывание Лозовского на корабле и вернули его на Землю...

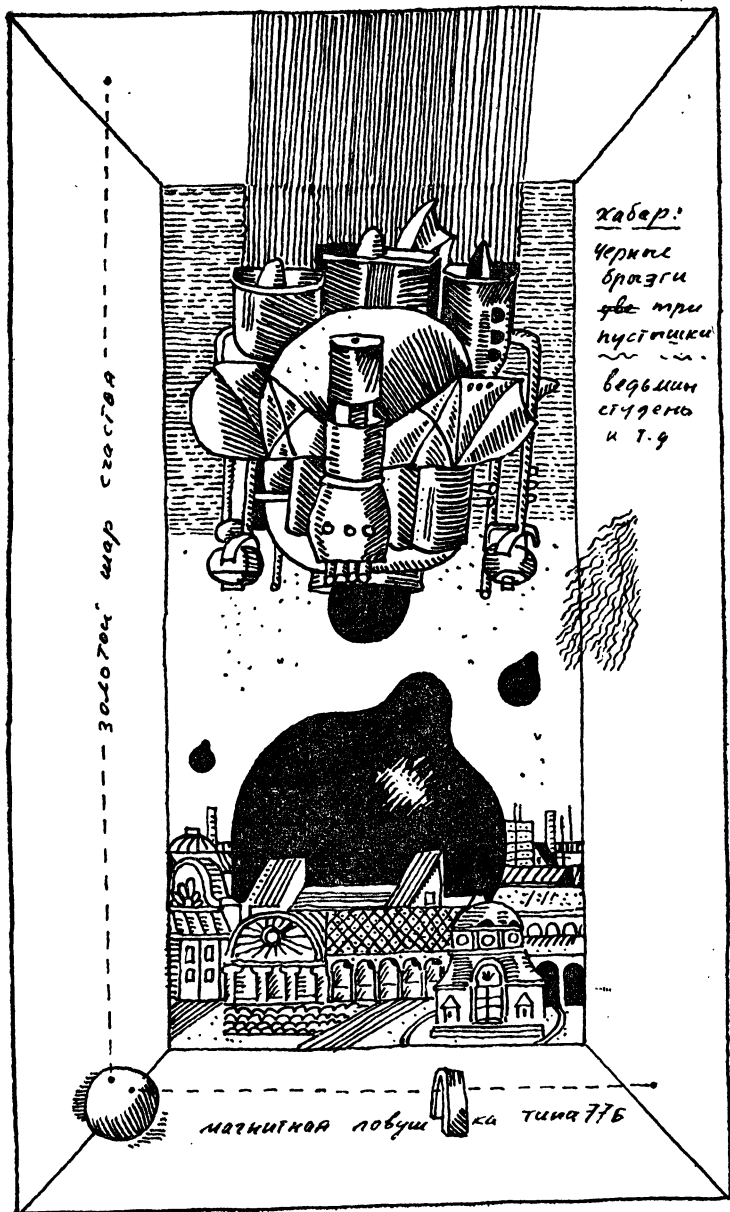
На основании вышеизложенного Сталинабадская комиссия настоятельно рекомендует всем астрономическим обсерваториям мира и прежде всего обсерваториям СССР немедленно организовать регулярные поиски неизвестного спутника Земли патрульными оптическими и радиоастрономическими средствами...

Героическая попытка Лозовского договориться с машинами в отсутствие их Хозяев была, конечно, заранее обречена на провал. Но он сделал громадное дело: он узнал и рассказал. Несомненно, это был большой подвиг, достойный советского ученого, представителя Человечества с большой буквы...

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

ТЫ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ
ДОБРО ИЗ ЗЛА,
ПОТОМУ ЧТО ЕГО
БОЛЬШЕ НЕ ИЗ ЧЕГО
ДЕЛАТЬ.
Р. П. УОРЕН





Золотой шар

кавер:
Черные
брызги
в три
ниспущенки
ведрами
стучень
и т.д.

магнитная ловушка и тина 77Б

ИЗ ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ МАРМОНТСКОГО
РАДИО ВЗЯЛ У ДОКТОРА
ВАЛЕНТИНА ПИЛЬМАНА ПО СЛУЧАЮ
ПРИСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕМУ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
ПО ФИЗИКЕ ЗА 19... ГОД

— ...Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана?

— Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие. И не совсем мое.

— Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана — понятие, известное всякому школьнику.

— Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его «Истории Посещения» — там все это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент, а назвали радиант почему-то моим именем.

— Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман...

— Послушайте, земляк. Радиант Пильмана — это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из револьвера. Дырки на глобусе лягут на некую плав-

ную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, заключается в простом факте: все шесть Зон Посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля — Денеб. Денеб — это альфа созвездия Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана.

— Благодарю вас, доктор. Дорогие мармонтцы! Наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана! Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу?

— Что именно их интересует? Имейте в виду, в Мармонте меня тогда не было...

— Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации...

— Честно говоря, прежде всего я подумал, что это «утка». Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Мармонте может случиться что-нибудь подобное. Гоби, Ньюфаундленд — это еще куда ни шло, но Мармонт!

— Однако в конце концов вам пришлось поверить.

— В конце концов да.

— И что же?

— Мне вдруг пришло в голову, что Мармонт и остальные пять Зон Посещения... впрочем, виноват, тогда было известно только четыре... что все они ложатся на очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты и послал их в «Нэчур».

— И вас несколько не взволновала судьба родного города?

— Видите ли, в то время я уже верил в Посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными королевскими танковыми частями.

— Вы были правы. Помнится, наш брат информатор тогда много напутал... Однако вернемся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о Посещении?

— Первым и последним.

— Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом международных исследований в Зонах Посещения...

— Да... Время от времени я листаю «Доклады».

— Вы имеете в виду «Доклады Международного института внеземных культур»?

— Да.

— И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?

— Сам факт Посещения.

— Простите?

— Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что институту внеземных культур уже никогда больше не доведется сделать более фундаментальное открытие.

— Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытия технологического порядка. Открытия, которые могли бы использовать наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что находки в Зонах Посещения способны изменить весь ход нашей истории.

— Н-ну, я не принадлежу к числу сторонников этой точки зрения. А что касается конкретных находок, то я неспециалист.

— Однако вы уже два года являетесь консультантом Комиссии ООН по проблемам Посещения...

— Да. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации Зон Посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в Зонах, распоряжался только Международный институт.

— А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь?

— Да.

— Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров?

— Я не знаю, что это такое.

— Так у нас в Мармонте называют отчаянных пар-

ней, которые на свой страх и риск проникают в Зону и тащат оттуда все, что им удастся найти.

— Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.

— Еще бы! Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, чем занимаетесь непосредственно вы, доктор Пильман...

— Происходит постоянная утечка материалов из Зон Посещения в руки безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки.

— Спасибо. А вас как ученого не тянет самому заняться инопланетными чудесами?

— Как вам сказать... Пожалуй.

— Значит, можно надеяться, что мармонтцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города.

— Не исключено.

*1. Рэдрик Шухарт, 23 лет, холост,
лаборант Мармонтского филиала Междуна-
родного института внеземных культур.*

Накануне стоим это мы с ним в хранилище, уже вечером, остается только спецовки сбросить и можно закатиться в «Боржч», принять в организм капельку другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю: свое отработал и уже держу наготове сигаретку. Курить хочется дико — два часа не курил, а он все возится со своим добром; один сейф загрузил, запер и опечатал, теперь другой загружает — берет с транспортера «пустышки», каждую со всех сторон осматривает (а она тяжелая, шесть с половиной кило, между прочим) и с кряхтеньем аккуратненько водворяет на полку.

Сколько времени он с этими «пустышками» бьется и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я бы уже давным-давно плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, «пустышка» действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Много я их на себе перетаскал, а все равно каждый раз как вижу, не могу, поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, толщиной миллиметров пять и расстояние между дисками миллиметров четырех, и, кроме этого расстояния, ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просу-

нута руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления, пустота и пустота — один воздух. И при всем при этом что-то между ними, конечно, есть, сила какая-то, как я понимаю, потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому еще не удавалось.

Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь наконец своим глазам. Это все равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и черты-хаешься от полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы все поняли, а если кто не понял, возьмите институтские «Доклады» — там в любом выпуске статьи про эти «пустышки» с фотографиями...

В общем, Кирилл бьется с этими «пустышками» уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается, да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь «пустышку» изничтожить, кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно, будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он пока не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто еще, потаскал бы я его по ночным кабакам и иным злачным местечкам, и стал бы он у меня через неделю как новенький — уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит, не стоит и предлагать, не та порода.

Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул.

— Слушай, — говорю, — Кирилл...

А он как раз стоит, держит на весу последнюю «пустышку» и с таким видом, словно так бы в нее и залез.

— Слушай, — говорю, — Кирилл. А если бы у тебя была полная «пустышка», а?

— Полная «пустышка»? — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил.

— Ну да, — говорю. — Эта твоя гидромагнитная ловушка, как ее... объект семьдесят семь-бэ. Только с жижей внутри, с синенькой.

Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там проблеск разума, как он сам обожает выражаться.

— Постой, — говорит он. — Полная? Вот такая же штука, только полная?

— Ну да.

— Где?

Вылечился Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом.

— Пойдем, — говорю, — покурим.

Он живо сунул «пустышку» в сейф, прихлопнул дверцу, запер на три с половиной оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую «пустышку» Эрнест дает четыреста монет наличными, а за полную я бы из него, голубчика, всю его поганую кровь выпил, но хотите — верьте, хотите — нет, а я об этом даже не подумал, потому что Кирилл ну просто ожил, снова стал как струна, аж звенит весь и по лестнице скачет через четыре ступеньки, закурить человеку не даст. В общем, все я ему рассказал, и какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня, и, ясное дело, сразу все про меня понял, да и чего здесь было не понять...

— Ай да ты! — говорит он, а сам улыбается. — Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В девять я закажу пропуска и «галошу», а в десять выедем. Давай?

— Давай, — говорю. — А кто третий?

— А зачем нам третий?

— Э нет, — говорю. — Это тебе не пикник с девчонками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона, — говорю. — Порядок должен быть.

Он слегка усмехнулся, пожал плечами.

— Как хочешь. Тебе виднее.

Еще бы не виднее! Конечно, это он свеликодушничал, для меня старался: третий лишний, сбегает вдвоем, и все будет шито-крыто, никто про тебя не дога-

дается. Да только я знаю, институтские вдвоем в Зону не ходят. У них такой порядок: двое делают, а третий смотрит и, когда его потом спросят, расскажет.

— Лично я бы взял Остина, — говорит Кирилл. — Но ты его, наверно, не захочешь. Или ничего?

— Нет, — говорю. — Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь.

Остин парень неплохой, смелость и трусость у него в нужной пропорции, но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу: вообразил человек о себе, будто Зону знает и понимает до конца, значит, скоро гробанется. И пожалуйста. Только без меня...

— Ну хорошо, — говорит Кирилл. — А Тендер?

Тендер — это его второй лаборант. Ничего мужик, спокойный.

— Староват, — говорю я. — И дети у него...

— Ничего. Он в Зоне уже бывал.

— Ладно, — говорю. — Пусть будет Тендер.

Он остался сидеть над картой, а я поскакал прямоком в «Боржч», потому что жрать хотелось и в глотке пересохло.

Являюсь я на следующий день утром, как всегда, к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот дылда сержант, которого я в прошлом году отметил, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуге.

— Здорово, — он мне говорит. — Тебя, — говорит, — Рыжий, по всему институту ищут...

Тут я его так вежливоенько прерываю.

— Я тебе не Рыжий, — говорю. — Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.

— Господи, Рыжий! — говорит он в изумлении. — Да тебя же все так зовут.

Я перед Зоной взвинченный да еще трезвый вдобавок — взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей.

— Рэдрик Шухарт, — говорит, — вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отдела безопасности капитану Херцугу.

— Вот то-то, — говорю я. — Это другое дело. Всегда бы так со мной разговаривал — цены бы тебе не было...

А сам думаю: «Это еще что за новости? Какого это

лешего понадобился я капитану Херцогу в служебное время?» Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решетки на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит себе писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик, новый какой-то, не знаю я его. У нас в институте этих сержантов больше, чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, им в Зону не надо, и на мировые проблемы им наплевать.

— Здравствуйте, — говорю я. — Вызывали?

Вилли смотрит на меня как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать.

— Рэдрик Шухарт? — говорит.

— Он самый, — отвечаю, а самому смешно — сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает.

— Сколько времени работаете в институте?

— Два года, третий.

— Состав семьи?

— Один я, — говорю. — Сирота.

Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает:

— Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.

Сержантик козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:

— Опять за старое взялся?

— За какое такое старое?

— Сам знаешь за какое. Опять на тебя материал пришел.

«Так...» — думаю.

— И откуда материал?

Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.

— Это тебя не касается, — говорит. — Я тебя по старой дружбе предупреждаю, брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают — шестью месяцами не отделаешься. А из института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?

— Понимаю, — говорю. — Это я понимаю.

Но он уже не смотрит на меня, сипит пустой трубкой и знай себе листает папку. Это, значит, вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.

— Спасибо, Шухарт, — говорит капитан Вилли

Херцог по прозвищу Боров. — Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны.

Ну я пошел в раздевалку, натянул спецовку, закурил, а сам все время думаю: «Откуда же это звон идет? Ежели из института, то ведь это все вранье, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если из полиции, опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник попался, этот, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит... Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает». Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать. Последний раз ночью я в Зону ходил неделю назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь как ты меня возьмешь, я скользкий.

Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то к гаражу мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у господ полицейских на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже неважно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к Зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц. Что вы, понимаете, привязались к честному лаборанту?

Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в Зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделikatнее сообщить Кириллу?

Я ему сказал прямо:

— В Зону не иду. Какие будут распоряжения?

Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:

— Что-нибудь случилось, Рэд?

Ну что я ему скажу?

— Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул мистеру Нунану. Играет как машина, ни одной осечки...

— Подожди, — говорит он. — Ты что, раздумал? Я тут даже закряхтел от натуги,

— Нельзя мне, — говорю ему сквозь зубы. — Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.

Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали, как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:

— Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.

— Брось, — говорю. — Разве о тебе речь?

— Я даже Тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет... .

Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.

— А что тебе Херцог сказал?

— Да ничего особенного, — говорю. — Настучал кто-то на меня, вот и всё.

Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось, вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я виноват... Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:

— Слушай, Рэд, а сколько она может стоять, полная «пустышка»?

Я сначала его не понял, подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает, да только где ее такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него деньги? А потом меня словно обожгло: что же это он, вообразил — я из-за зелененьких эту историю затеял? Ах ты, думаю, паршивец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже было на него зубы оскалил — и осекся. Потому что действительно: а за кого ему меня принимать? Сталкер — он сталкер и есть, ему бы только зелененьких побольше, он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получилось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену навешиваю.

У меня даже язык отнялся от таких мыслей, а он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах

его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил.

— К гаражу, — говорю, — еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой Тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли что надо и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, что заранее мы знали, за чем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел — здесь комментарисв не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?

Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим.

Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потер и бодрячком таким объявляет:

— Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Рэд, и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется. Не в первый раз...

Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость тут же, прямо-таки на глазах, испарилась. Слышу, бормочет:

— Сто двадцать метров... даже сто двадцать два... и что там еще в самом гараже... Нет, не возьму я Тендера. Как ты думаешь, Рэд... может, не стоит Тендера брать? Все-таки у него двое детей...

— Одного тебя не выпустят, — говорю я.

— Ничего, выпустят... — бормочет он. — Как так — не выпустят?.. Вот грузовики мне эти не нравятся — это да. Посмотри. Тринадцать лет под открытым небом стоят, а все как новенькие. В двадцати шагах бензовоз — ржавый, как решето, а они будто только что с конвейера... Ох, уж эта Зона!

Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стеклами Зона-матушка, вон она, рукой подать, вся как на ладони с десятого этажа.

Так вот посмотришь на нее — земля как земля. Солнце на нее как на всю остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, все вроде бы как тринадцать лет назад. Батя, покойник, посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил, разве что спросил бы: чего это завод не дымит, забастовка, что ли?.. Желтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают, рельсы, на рельсах паровозик с платформами. Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей

нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден: длинная серая кишка, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. Тринадцать лет стоят, и ничего им не делается. Упаси бог между двумя машинами сунуться, их надо стороной обходить... там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючкой не заросла... Сто двадцать два метра — это откуда же он считает? А, наверное, от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше не будет. Все-таки продвигаются очкарики. Смотри, до самого отвала дороги повесили, да как ловко повесили! Вон она, та канавка, где Слизняк гробанулся, всего в двух метрах от ихней дороги... А ведь говорил Мослатый Слизняку: «Держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет...» Как в воду глядел — нечего хоронить... С Зоной ведь так: с хабаром вернулся — чудо, живой вернулся — удача, патрульная пуля — везенье, а все остальное — судьба...

Тут я посмотрел на Кирилла и вижу: он за мной искося наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова все перерешил. Ну их, думаю, всех, ей-богу, что они мне, в конце концов, сделать могут? Он бы мог вообще ничего не говорить, но он сказал:

— Лаборант Шухарт, — говорит. — Из официальных — подчеркиваю: из официальных — источников я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премияльные гарантирую. — И сам улыбается, что твоя майская роза.

— Из каких же это официальных источников? — спрашиваю я и тоже улыбаюсь ему как дурак.

— Это конфиденциальные источники, — говорит он. — Но вам я могу сказать... — Тут он перестал улыбаться и насупился. — Скажем, от доктора Дугласа.

— А, — говорю, — от доктора Дугласа... От какого же это Дугласа?

— От Сэма Дугласа, — говорит он сухо. — Он погиб в прошлом году.

У меня мурашки по коже пошли. Так и так тебя! Кто же перед выходом говорит о таких вещах! Хоть кол им, очкарикам, на голове теши, ничего не соображают... Ткнул я окурок в пепельницу и говорю:

— Ладно. Где твой Тендер? Долго мы его еще ждать будем?

Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл

позвонил в ППС, заказал «летучую галошу», а я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путем — сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на крышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему бы брату сталкеру такую карту... а впрочем, черта от нее толку ночью-то, когда собственных рук не видно...

А тут и Тендер появился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну мы ему и поднесли подарочек — в Зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в Зону? — говорит. — Почему я?» Однако, услышав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова.

В общем, опустились мы в «будуар», Кирилл смотрел за пропусками, предъявили мы их сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы ее из красного в какой-нибудь подходящий цвет — любой сталкер за такой костюм пятьсот монет выложит, глазом не моргнет. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд ничего особенного, костюм вроде водолазного и шлем как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивщика или, скажем, у космача. Легкий, удобный, нигде не жмет, и от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля — это все земное, человеческое. В Зоне ничего этого нет, в Зоне не этого надо опасаться. В общем, что там говорить, и в спецкостюмах тоже мрут как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть, еще больше. От «жгучего пуха», например, эти костюмы на сто процентов спасают. Или от плевка «чертовой капусты»... Ладно. Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к выходу в Зону. Так здесь заведено, чтобы все видели: вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и святого духа, аминь. И точно — во все окна аж до пятнадцатого этажа выставались, только что платочками не машут и оркестра нет.

— Шире шаг, — говорю я Тендеру. — Брюхо подбери, слабосильная команда. Благодарное человечество тебя не забудет!

Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно, какие уж тут шутки... Но когда в Зону выходишь, то уж одно из двух: либо плачь, либо шутки, а я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего держится, только губами шевелит, вроде молится.

— Молишься? — спрашиваю. — Молись, — говорю, — молись! Дальше в Зону — ближе к небу...

— Что? — спрашивает он.

— Молись! — кричу. — Сталкеров в рай без очереди пропускают!

А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине: не бойся, мол, со мной не пропадешь, а если и пропадешь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.

Сдали мы пропуска последнему сержанту, на этот раз в порядке исключения это лейтенант оказался, я его знаю, у него папаша кладбищенскими оградами в Рексополе торгует, «летучая галоша» уже тут как тут, подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут: и «Скорая помощь», и пожарники, и наши бесстрашные спасатели — куча отъевшихся бездельников со своим вертолетом. Глаза б мои на них не глядели.

Поднялись мы на «галошу». Кирилл встал за управление и говорит мне:

— Ну, Рэд, командуй.

Я без всякой торопливости приспустил «молнию» на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в Зону иду, а без этого — нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут.

— Так, — говорю. — Вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить по чему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе господин Тендер, прикажу: на руки встань и иди, и в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнить, что тебе сказано. А не

выполнишь — дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Но уж я позабочусь, чтобы ты увидел.

— Ты, Рэд, главное, приказать не забудь, — сипит Тендер, а сам весь красный, уже потеет и губами шлепает. — Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок. Два раза ходил.

— Эти свои два раза в карман спрячь, — говорю. — А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты «галошу» водить умеешь?

— Умеет, — говорит Кирилл. — Хорошо водит.

— Хорошо так хорошо, — говорю. — Тогда с богом. Опустить забрала! Малый вперед по вешкам, высота три метра! У двадцать седьмой вешки остановка.

Кирилл поднял «галошу» на три метра и дал малый вперед, а я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю, бесстрашные спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам отдает, а над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший: «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я на него так глянул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу — прощаться.

Поплыли.

Справа у нас был институт, слева — Чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил! Асфальт весь потрескался, трещины проросли травой, но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка, и по этой колючке было видно, как четко Зона себя обозначает: черные заросли у самой мостовой словно косой срезало. Нет, пришельцы эти все-таки порядочные ребята были. Ведь даже «жгучий пух» на нашу сторону из Зоны — ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает...

Дома в Чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это «ведьмин студень» из подвалов дышит. А вообще, так вот посмотришь — квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего особенно

го нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель словесности по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник, вторая жена от него ушла перед самым Посещением, а у дочки бельмо на глазу было, так мы ее, помню, до слез задрознивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал — все шесть километров без передышки. Потом долго чумкой болел, кожа с него слезала, ногти. Почти все, кто в этом квартале жил, переболели, поэтому-то и квартал называется Чумным. А вот в тех трех кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и называются: Первый Слепой, Второй Слепой... Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: да не может этого быть, вспомните хорошенько. Нет, стоял на своем: сильнейший гром, от которого они и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слышал...

Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целехонек. Детская коляска в воротах — даже бельишко в ней вроде бы чистое... Антенны вот только подвели — обросли какими-то волосами наподобие мочалы. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат: интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочала — нигде такого больше нет, только в Чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались: опустили с вертолета якорь на стальном тросе, зацепили одну мочалку. Только он потянул — вдруг пш-ш-ш! Смотрим — от антенны дым, от якоря дым, а сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, он быстро сообразил, что к чему, трос выбросил и сам деру дал... Вон он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает и весь мочалой оброс...

Так потихоньку-полегоньку доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня: сворачивать? Я ему махнул: самый малый. Повернула наша «галоша» и пошла самым малым над последними шагами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе, вот уже и тень «галоши» на колючки упала... Все. Зо-

на. И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю: вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет? — и каждый раз забываю.

Ну ладно, ползем потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно — ему-то что, его не тронут. И тут мой Тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну как обычно новички болтают в Зоне: зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде насморка, от человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают! То начнет пейзажем восхищаться, а то и вообще к делу не относящееся — вот как Тендер сейчас: завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял...

— Замолчи, — говорю.

Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлепал — и опять: сколько шелку на подкладку пошло. А под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была, и чувствую я — ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло, пылевые чертики побежали, и вроде бы я что-то слышу.

— Молчи, убью! — говорю я Тендеру.

Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну, тогда извини.

— Стой, — говорю Кириллу.

Он немедленно тормозит. Реакция хорошая, молодец. Беру я Тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал: тр-р-р... тр-р-р... тр-р-р... Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты. Я рукой ему показываю — стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. Но ведь он тоже этот треск слышит, и, как у всех новичков, у него сразу позыв — действовать, делать что-нибудь.

— Задний ход? — шепчет.

Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым шлемом трясую — нишкни, мол. И тут я просто все забыл. По-над кучей старого мусора, над битым стек-

лом и тряпьем разным поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей, перевалило через бугор и пошло, пошло, пошло нам наперерез, рядом с самой вешкой, над дорогой задержалось, постояло с полсекунды — или это мне показалось только? — и утянулось в поле, за кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

Надо же, сообразили, где дорогу провесить: по выемке! Ну и я тоже хорош — куда это глаза мои глядели, когда я ихней картой восхищался?

— Давай малый вперед, — говорю я Кириллу.

— А что это было?

— Откуда я знаю?.. Было и нету, и слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял? Ты сейчас машина, рычаг мой...

Тут я спохватился, что меня, похоже, тоже словесный насморк одолевает начинает.

— Все, — говорю. — Ни слова больше.

Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг не слышно, только двигатель гудит спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара... над гаражом марево. Все вроде бы нормально, вешки одна за другой мимо проплывают. Тендер молчит. Кирилл молчит — шлифуются новички. Ничего, ребята, в Зоне тоже дышать можно, если умеючи... А вот и двадцать седьмая вешка — железный шест и красный круг на нем с номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и наша «галоша» остановилась.

Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас — полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, — пестрое там что-то виднеется, может, тряпье его. Паршивый был парень, упокой, господи, его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбридж за версту видит и под себя подгребает... А вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит, а умным людям показал, куда ступать нельзя... Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки. Если по прямой

к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь, стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промеду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева все должно быть чисто на сто шагов. А вот через левый бугорочек перевалить можно... Правда, не знаю я, что там, за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..

— Слушай, Рэд, — шепчет мне Кирилл. — Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз — вот мы и у гаража, а?

— Молчи, дурак, — говорю я. — Не мешай, молчи.

Вверх ему. А саданет тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберешь. Или «комариная плешь». где-нибудь здесь объявится — тут не то что костей, мокрого места не останется. Не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем... В общем, как до бугра идти — ясно, а там постойм посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:

— Мальчика с пальчика помнишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Смогри! — И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гаечка прошла нормально. — Видел?

— Ну? — говорит.

— Не «ну», а видел, я спрашиваю?

— Видел.

— Теперь самым малым води «галошу» к этой гаечке и в двух шагах, до нее не доходя, остановись. Понял?

— Понял. Гравиконцентраты ищешь?

— Что надо, то и ишу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.

Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.

— Давай, — говорю.

Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное сделалось: видно, понял. Они ведь все, очкарики, такие. Им главное — название придумать. Пока не придумал — смотреть на него жалко. Ну а как придумал — какой-нибудь гравиконцентрат, — тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче.

Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зеваает от нервности с таким собачьим прискулива-

нием — томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты... Бросил я четвертую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую, не так, и сразу хватъ Кирилла за руку.

— Стой, — говорю. — Ни с места...

А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз тоже вроде нормально было пошла, но на полпути ее словно кто-то вбок дернул, да так дернул, что она в глину ушла и из глаз исчезла.

— Видал? — говорю я шепотом.

— В кино только видел, — говорит, а сам весь вперед подался, того и гляди с «галоши» сверзится. — Брось еще одну, а?

Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я еще восемь гаек, пока «плешь» не обозначил. Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил в самую середину — пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а плитиудовая гиря. Ахнула — и только дырка в глине. Он даже крикнул от удовольствия.

— Ну ладно, — говорю. — Побаловались — и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с нее не спускай.

Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот... Я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да... Ну зависли мы над бугорочком, до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место чистейшее — каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? Кидай гайку — и с богом.

Не могу кинуть гайку.

Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь.

— Ты что? — говорит Кирилл. — Чего мы стоим?

— Подожди, — говорю. — Замолчи, ради бога.

Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплывем, травинка не шелохнется, полминуты, а там и асфальт. И тут вдруг потом меня как прошибет! Даже глаза залило, и уж знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево — пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь,

а прямо ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза.

— Ничего, — я ему говорю. — Кривой дорогой ближе. — И кинул последнюю гаечку на асфальт.

Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменяла, смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вещей.

Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно, черно и черно. Потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменялось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целенький стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг все как прежде — потому, наверное, что «ведьмина студня» в яме мало скопилось, не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого. Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково... Поднялся я, поглядел по сторонам. Грузовики на площадке стоят действительно как новенькие, с тех пор как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали, а бензовоз — тот совсем, бедняга, проржавел, скоро разваливаться начнет. Вон и крышка валяется, которая у них на карте...

Не понравилась мне эта крышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить, почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится... тень почему такая от крышки... Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное... С тенями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу

я еще жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр валяется. Надо мне было тогда же и уволочь, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая, полная ведь — поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да на карачках... Кто «пустышек» ни разу не таскал, пусть попробует, это все равно что пуд воды без ведер нести. Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас... Повернулся я к Тендеру и говорю:

— Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты останешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось. Хоть земля под тобой загорится. Если струсишь, на том свете найду.

Он серьезно мне покивал — не струшу, мол. Нос у него что твоя слива, здорово я ему врезал... Ну, стравил я тихонечко на землю аварийные блок-тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.

— Не торопись, — говорю ему. — Не спеши. Меньше пыли.

Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:

— Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.

И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью. Неделю назад лежал я вот на этом самом пороге. Темно, как в чернильнице, из ямы «ведьмин студень» языки высовывает, голубые, как спиртовое пламя, и ведь что обидно — ничего ведь не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас что! Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку — очень на паутину похоже. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать, у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.

Шагнул я это внутрь — и прямо к канистрам. При-

сел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:

— Ну берись, да не урони — тяжелая...

Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! — и не могу. Да и не успел бы, наверное, слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спиной — в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло, ничего не слышу — слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопається, но, конечно, погромче. Сажу я с закрытыми глазами, ни рук ни ног не чувствую, а Кирилл говорит.

— Ну что ты? — говорит. — Взяли?

— Взяли, — говорю.

Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идем. Тяжеленная, дура, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши». Тендер к нам уже лапы протянул.

— Ну, — говорит Кирилл, — раз, два...

— Нет, — говорю, — погоди. Поставим сначала.

Поставили.

— Повернись, — говорю, — спиной.

Он без единого слова повернулся. Смотрю я — ничего у него на спине нет. Я и так, я и этак — нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.

— Слушай, — говорю я Кириллу, а сам все на канистры смотрю. — Ты паутину видел?

— Какую паутину? Где?

— Ладно, — говорю. — Счастлив наш бог. — А сам про себя думаю: «Сие, впрочем, пока неизвестно». — Давай, — говорю, — берись.

Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили ее на попа, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на «галошу» сами и без лишних слов в обратный путь.

Благодарить этим ученым! Во-первых, днем работают.

А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «галоша» сама везет: есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плыдем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немного и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок.

Новички мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят всюду, страха у них почти не осталось, одно любопытство да радость, что все благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозит, что вот сейчас пообедает и сразу обратно в Зону — дорогу к гаражу провешивать, а Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плешь» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укоротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулось на радостях на обратном пути. «Молчите, — говорю, — и глядите-ка как следует по сторонам, а то будет с вами, как с Линдоном Коротышкой». Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном Коротышкой. Плыдем в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и эдак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутинка и блеснет.

Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошей» вместе в «вошебойку», или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то дрянью, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: «Валите, ребята, свободны». Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть — не протолкнешься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают приветственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить — ни одного смельчака не нашлось. Ладно, меня это все не касается. Меня теперь ничего не касается.

Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол — подберут, — а сам двинул в душевую. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп. Сажу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила поганка. Подлая. Живой. Новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по ще-

кам слезы — то ли от крепкого, то ли не знаю отчего. Высосал флягу досуха, сам мокрый, фляга сухая. Одно-го последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил сигарету, сижу. Чувствую — отходить начал. Премияльные в голову пришли. Это у нас в институте поставлено четко. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.

Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю, а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Меня аж передернуло. Да, господа мои, в Зоне времени нет. Пять часов... А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Смешно. Смех один. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь, когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь носом в землю и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мертвый... а на вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-автоматчики, жабы, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти — ты заразный, они тебя шлепнуть стремятся, и все козыри у них на руках — иди потом доказывай, что шлепнули тебя незаконно... И значит, снова мордой в землю — молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как Мослатый Исхак — сбился с дороги и на рассвете застрял между двумя канавами, ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мертвым притворялся. Слава богу, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел — не узнал, как не было человека...

Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячей мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу: барабанят в дверь, и Кирилл весело орет:

— Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!

Зелененькие — это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии, и конверт мне протягивает.

— Держи, — говорит, — от благодарного человечества.

— Кашлял я на твое человечество. Сколько здесь?

— В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах — два оклада!

Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.

— Ну как, доволен? — спрашивает Кирилл, а сам сияет, рот до ушей.

— Ничего, — говорю. — А ты?

Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседнюю кабину.

— Эй! — кричу я ему вслед. — Как там твой Тендер, отлеживается?

— Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный... Он им так компетентно излагает...

— Как, — говорю, — излагает?

— Компетентно.

— Ладно, — говорю, — сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр. — И тут меня словно током ударило. — Подожди, Кирилл, — говорю. — Ну-ка, выйди сюда.

— Да я уже голый, — говорит.

— Выйди, я не баба!

Ну он вышел. Взял его я за плечи, повернул спиной. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.

Отвесил я ему пинка, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится... К дьяволу все это! Напьюсь сегодня, как зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет. Ну ни с какой картой его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому...

— Кирилл! — кричу. — В «Боржч» сегодня придешь?

— Не в «Боржч», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить...

— Брось! Написано «Боржч». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать...

— Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили...

— А ты-то понимаешь?

— Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идея пройдет... Напишу статью и тебе ее персонально посвящу: Рэдрику

Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю.

— Тут-то меня и упекут на два года, — говорю я.

— Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть «банка Шухарта». Звучит?

Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе.

— Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа...

Он не ответил — вода сильно шумела.

Смотрю — в коридоре господин Тендер собственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа — тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара шоферов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, дает почти стопроцентную гарантию успеха и безопасности...» Тут он меня увидал и сразу несколько усох — улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Однако не успел. Слышу — топочут позади.

— Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!

— Комментариев не имею, — отвечаю я и перехожу на бег. Но черта с два от них оторвешься: один с микрофоном справа, другой с фотоаппаратом слева.

— Видели вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!

— Нет у меня комментариев! — говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. — Гараж как гараж...

— Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?

— Прекрасного, — говорю я, а сам нацеливаюсь точнехонько в сортир.

— Что вы думаете о целях Посещения?

— Обратитесь к ученым, — говорю. И раз за дверь.

Слышу — скребутся. Тогда я им через дверь говорю.

— Настоятельно рекомендую, — говорю, — расспросить господина Тендера, почему у него нос как свекла. Он по скромности замалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.

Как они вдарят по коридору! Как лошади, ей-богу. Я выждал минутку — тихо. Высунулся — никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю, он мне честь отдает. Герою дня, значит.

— Вольно, сержант, — говорю. — Я вами, сержант, доволен.

Он осклабился, как будто я ему бог весть как польстил.

— Ну ты, Рыжий, молодец, — говорит. — Горжусь, — говорит, — таким знакомством.

— Что, — говорю, — будет тебе в твоей Швеции, о чем девкам рассказывать?

— Спрашиваешь! — говорит.

Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без памяти, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело... Иду это я по улице и размышляю, в чем же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг.

Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, желтые, прожекторами и автоматами, жабы, ошетинились, ну и, конечно, голубые каски — всю улицу загородили, не протолкнешься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днем на них мне лучше не смотреть совсем: есть там две-три личности, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришел бы и не дрогнул...

Прохожу через эту толпу плечом вперед, совсем прошел уже, и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну, это меня не касается, иду дальше, волоку из пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:

— Какого дьявола цепляешься, мистер?

— Постой, сталкер, — говорит он. — Два вопроса.

Поднял я на него глаза — капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем ссохся, желтый стал какой-то.

— А, — говорю, — здравия желаю, капитан. Как ваша печень?

— Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, — говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. — Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?

И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной — лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где таких набирают? На племя их нам прислали, что ли? Днем я патрулей

вообще-то не боюсь, но вот обыскать жабы могут, а это мне в данный момент ни к чему.

— Да разве вы меня звали, капитан? — говорю. — Вы же какого Сталкера...

— А ты, значит, уже и не сталкер?

— Как по вашей милости отсидел — бросил, — говорю. — Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы...

— Что в предзоннике делал?

— Как что? Я там работаю. Два года уже.

И чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.

— Извини, — говорит, — Шухарт. Не ожидал. Значит, — говорит, — не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой па-рень...

И пошел и пошел. Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руки развожу и даже, помнится, ножкой застенчиво эдак панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали-послушали, замутило их, видно, гляжу — потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: учение, мол, свет, неучение — тьма кромешная, господь, мол, честный труд любит и ценит... в общем, несет он эту тошную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется — никакого терпезу нету. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал... Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблад оглянулся, крикнул с досадой и протягивает мне руку.

— Ну что ж, — говорит. — Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь — служба! Ну еще встретимся, — говорит.

«Не приведи, господь», — думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой — все, как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой — в «Боржч».

В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь: как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день — возьмет бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть, потрет-потрет, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть...

— Здорово, Эрни, — говорю. — Хватит тебе его мучить, дыру протрешь!

Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье. Эрнест сопит в очередной бокал — хорошо, спокойно... Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца прозрачного.

— Ну что, полегче стало? — бурчит. — Оттаял, сталкер?

— Ты знай себе три, — говорю. — Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.

— Это кто же такой? — спрашивает Эрни с недоверием.

— Да был такой бармен здесь, — отвечаю. — Еще до тебя.

— Ну и что?

— Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тер он, тер... Ты думаешь, кто нас посетил, а?

— Трепло ты, — говорит мне Эрни с одобрением.

Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой — жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек Эрни. Благодаритель.

Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идет там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни дает нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник перевозок наверняка у них на содержании... В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и зарабатывает — процентов пятнадцать-двадцать, не больше, а если попадется, десять лет каторги ему обеспечено...

Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слышал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:

— Разрешите?

— О чем речь? — говорю. — Прошу.

Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстукке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где, не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:

— «Бурбон», пожалуйста. — И сразу же ко мне: — Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?

— Да, — говорю. — А вы?

Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро переселения». Ну, конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уезжали. Кому-то очень надо, чтобы все мы из города уехали. Нас, понимаешь, в Мармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему:

— Нет, — говорю, — спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.

— А почему? — живо спрашивает он. — Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?

Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.

— А как же, — говорю, — сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок... — Тут я

достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. — Нет, — говорю, — Ни за что!

Он посмотрел, лизнул свой «бурбон» и задумчиво так говорит:

— Никак я вас, мармонтцев, не могу понять. Живете вы как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже... Я понимаю, старики. Им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы... Сколько вам лет? Года двадцать два — двадцать три, не больше. Вы поймите, наше Бюро — организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте. Молодым, таким, как вы, обеспечиваем возможность учиться... Нет, не понимаю!

— А что, — говорю я, — никто не хочет уезжать?

— Да нет, не то чтобы никто... Некоторые соглашались, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики... Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция...

И тут я ему выдал.

— Господин Алоиз Макно, — говорю. — Все правильно. Жизнь у нас тяжелая. Городишко наш — дыра. И всегда дырой был. Только сейчас, — говорю, — это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра...

На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрыть. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно...

Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне

сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул свой «бурбон» и говорит:

— Да, конечно... Вечные аккумуляторы, «синяя панацея»... Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?

— Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, — говорю я. — Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел?

— Ну почему же обязательно Европа?

— А, — говорю, — везде одно и то же, а в Антарктиде еще вдобавок холодно.

И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И Зона наша проклятая во сто раз милее мне в этот момент стала. И ведь пьян еще не был.

— А вы что скажете? — обращается востроносый к Эрнесту.

— У меня дело, — веско отвечает Эрни. — Я вам не сопляк какой-нибудь. Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал. Чего же я отсюда поеду?

Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка — «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после Зоны... Ну автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к «однорукому бандиту» старые счета сводить. Полетело время, как птичка... Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, чсрный, как офицерский сапог, курчавый, ручищи до коленей, а Дик маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится.

— А! — кричит Дик, увидев меня. — Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!

— Пр-равильно! — ревет Гуталин. — Во всем городе есть только два человека — Рэд и я! Все остальные — прокляты и дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но все-таки человек...

Я подхожу к ним со своим бокалом. Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:

— Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя, Рыжий! Поплачем о грехах человеческих. Горько восплачем!

— Восплачем, — говорю. — Глотнем слез греха.

— Ибо грядет день, — возвещает Гуталин. — Ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И тщетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаную прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, вам говорю: «Слепые! Опомнитесь, пока не поздно. Растопчите дьявольские бирюльки!» — Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. — А выпить мне здесь дадут? — спросил он уже другим голосом. — Или где это я? Знаешь, Рыжий, опять меня с работы поперли. «Агитатор, — говорят, — красный». Я им объясняю: опомнитесь, сами слепые в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете! Смеются. Ну я дал управляющему по харе и ушел. Посадят теперь. А за что?

Подошел Дик, поставил на стол бутылку.

— Сегодня я плачу! — крикнул я Эрнесту.

Дик на меня скосился.

— Все законно, — говорю. — Премию будем пропивать.

— В Зону ходили? — спрашивает Дик. — Что-нибудь вынесли?

— Полную «пустышку», — говорю я. — И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?

— «Пустышку»! — горестно гудит Гуталин. — За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие. А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха...

— Засохни, Гуталин, — говорю я ему строго. — Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!

Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис — сидит, плачет, течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая — обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего

нельзя, а что уж вынесли, вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволово, мол, дьяволу.

Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прет этот хабар обратно в Зону и там закапывает. Во ревет-то, господи!..

— А что это такое — полная «пустышка»? — спрашивает Дик. — Просто «пустышку» я знаю, а вот что такое полная? Первый раз слышу.

Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал.

— Да, — говорит, — это интересно. Это, — говорит, — что-то новенькое. А с кем ты ходил? С Кириллом? С этим советским?

— Да, — отвечаю. — С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.

— Намучился с ними, наверное...

— Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, — говорю. — Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.

— И каждую ночь? — спрашивает он с пьяным смешком.

— Ты это брось, — говорю. — Шутки шутками...

— Знаю, — говорит он. — Шутки шутками, а за такое по морде можно схлопотать. Считаю, что я тебе должен две плюхи...

— Кому две плюхи? — встрепенулся Гуталин. — Который здесь?

Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики заняты. Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что — кому пива, кому коктейлей, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось — все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул.

— А как же, — говорит. — Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной огородить — от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются...

— А когда они у сталкеров были? — говорю. А сам думаю: «Вот тебе и на, что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему — соблазна меньше. Буду ходить в Зону днем, как порядочный, деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее — «галоша», спецкостюм, то-се, и патрули опять же не беспокоят... Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные». И такая меня тоска взяла. Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе позволить, Гуте на любую тряпку копи, в бар не ходи, ходи в кино... И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.

Сижу я так, думаю, а Дик над ухом гудит:

— Вчера в гостинице, — говорит, — зашел я в бар принять ночной колпачок — сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека, дает понять, что он меня знает, знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги...

— Шпик, — говорю я. Не очень мне интересно было это, шпики я здесь навидался и разговоров насчет услуг слышался.

— Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, «зуда», «черные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.

— Так что же ему нужно? — спрашиваю я.

— «Ведьмин студень», как я понял, — говорит Дик и странно как-то на меня смотрит.

— Ах, «ведьмин студень» ему нужен! — говорю я. — А «смерть-лампа» ему случайно не нужна?

— Я его тоже так спросил.

— Ну?

— Представь себе — нужна.

— Да? — говорю я. — Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счет.

Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что такое, в самом деле, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.

— Подожди, — говорю. — Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в институте изучать...

— Правильно, — говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. — Исследование, представляющее потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?

Ничего я не понимал.

— Пришельцы, что ли? — говорю.

Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:

— Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!

— Давай, — говорю, но злюсь. Тоже мне — нашли себе простую душу, умники! — Эй, — говорю, — Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.

Нет, спит Гуталин. Положил свою черную ряшку на черный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.

— Ну ладно, — говорю. — Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полиции, а сам бы пошел и донес.

— Угу, — говорит Дик. — А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?

Я помотал головой.

— Все равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает, ты бы тут же и обгадился. Это, милочка, страшная штука, ее из Зоны выносить нельзя... Сам знаешь, сталкеры — люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет... Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться...

— Что ж, — говорит Дик. — Все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...

Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:

— Господин Нунан! Вас к телефону!

— Вот дьявол, — говорит Дик злобно. — Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, Рэд.

Встает и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой, и поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы

побрал эту Зону, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь, Зона, Зона, Зона... Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, Кирилл — хороший парень, никто его дураком не назовет, наоборот, умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой погани крутится вокруг Зоны. Вот теперь пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьявола дьяволу?

Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.

— Господин Шухарт? — спрашивает.

— Ну? — говорю.

— Меня зовут Креон, — говорит. — Я с Мальты.

— Ну, — говорю, — и как там у вас на Мальте?

— У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.

Так, думаю. Сволочь все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка, смугленький, чистенький, красавчик, не брился, поди, еще ни разу и девуку еще ни разу не целовал, а Эрнесту все равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трех с хабаром вернется — уже капуста...

— Ну и как поживает старина Эрнест? — спрашиваю я его, помолчав.

Он оглянулся на стойку и говорит:

— По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.

— А я бы нет, — говорю. — Выпить хочешь?

— Спасибо, я не пью.

— Ну закури, — говорю.

— Извините, но я и не курю тоже.

— Дружище, — говорю я ему. — Так зачем тебе тогда деньги?

Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит.

— Наверное, — говорит, — это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?

— Что правда, то правда, — говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. — Сейчас я пьян, — говорю. — Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся

живой и с деньгами. Это нечасто бывает, чтобы живой, и уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор...

Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю — что-то случилось.

— Ну, — спрашиваю, — опять твои баллоны вакуум не держат?

— Да, — говорит он. — Опять.

Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплеывает — тот еще рабочий.

— Давай, — говорит, — выпьем, Рэд. — И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. — Ты знаешь, — говорит он, — Кирилл Панов умер.

Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.

— Что ж, — говорю, — выпьем за упокой души...

Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.

— Кирилл?! — А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня как из другой комнаты:

— Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке...

— А чего тут не понимать? — говорю. — Зона...

— Ты сядь, — говорит мне Дик. — Сядь и выпей.

— Зона... — повторяю я и не могу остановиться: — Зона... Зона...

Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает.

— Малыш, — говорю я ему ласково. — Сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! — Сую я ему деньги и уже кричу: — Иди к Эрнесту и скажи ему, что он подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..

Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:

— Ты сегодня вроде при деньгах?

— Да, — говорю. — При деньгах...

— Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.

И тут я вижу — в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:

— Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский... Гордый, значит... Ну все остальное — судьба.

— Что это с тобой? — спрашивает друг Эрни. — Перебрал малость?

— Нет, — говорю. — Я, — говорю, — в полном порядке. Хоть сейчас в душ.

— Шел бы ты домой, — говорит друг Эрни. — Перебрал ты малость.

— Кирилл умер, — говорю я ему.

— Это который Кирилл? Плешивый, что ли?

— Сам ты плешивый, — говорю я ему. — Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Торгаш ты, — говорю. — Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие... Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь ногами, кого-то бью, потом опомнился — сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала шум, трещит что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу — Гуталин ревет диким ревом:

— Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, чертово семя?

Полицейская сирена завывает. Как она завывала, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет — одна ледяная злоба. «Так, — думаю, — я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер». Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал открыл и бросил ее тихоньку в плевательницу. А сам окошко распахнул — и на улицу. Очень мне, конечно,

хотелось посмотреть, как все это получится, но я эту «зуду» переносу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.

Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на всю катушку. Сначала завyli и залаяли собаки по всему кварталу — они первыми «зуду» чувт. Потом завопил кто-то в кабаке так, что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался — кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться... Страшная штука — «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне плевать... Все! Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого! Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.

Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Кирилл, как же это мы? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир... а теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Зачем я вообще ему про эту «пустышку» сказал? И как вспомнил я об этом — взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл — люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало: смотрю — Гута идет.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазают, а она идет, как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.

— Здравствуй, — говорю, — Гута. Куда это ты, — говорю, — направилась?

Она окинула меня взглядом, в момент все увидела: и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, — но ничего про это не сказала, а говорит только:

— Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.

— Знаю, — говорю. — Пойдем ко мне.

Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах, как у нее головка-то посажена, шейка какая. Потом она говорит:

— Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь.

У меня сердце сразу сжалось — что еще? Но я спокойно ей так говорю:

— Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо соображаю... Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?

Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому, и все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо прячутся. Я на этой улице всю жизнь живу. Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.

— Мать велит аборт делать, — говорит вдруг Гута. — А я не хочу.

Я еще несколько шагов прошел, прежде чем понял, а Гута продолжает:

— Не хочу я никаких аборт, я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.

Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше — одним человеком больше.

— Она мне толкует, — говорит Гута, — ребенок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить? Проходи-мец он, — говорит, — ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи — на порог не пушу...

— Гута, — говорю, — девочка моя! Да подожди ты... — А сам не могу — смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. — Ласточка моя, — говорю. — Чего же ты меня гонишь, в самом деле?

Я хохочу, как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет.

— Как же мы будем теперь, Рэд? — говорит она сквозь слезы. — Как же мы теперь будем?

*2. Рэдрик Шухарт, 28 лет,
женат, без определенных занятий*

Рэдрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам, и тогда он зажмурился и задерживал дыхание.

Прошло уже два часа, а на дороге все оставалось по-прежнему. Машина, мерно kloкоча двигателем, работающим вхолостую, стояла на месте и все шарила и шарила своими тремя прожекторами по запущенным могилам, покосившимся ржавым крестам и плитам, по неряшливо разросшимся кустам рябины, по гребню трехметровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись Зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Рэдрика доносились приглушенные голоса, иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро, недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Рэдрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же на кладбище был кто-то еще. Там снова прошуршала листва и вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упало что-то тяжелое и твердое. Рэдрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Рэдрик замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Рэдрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Рэдрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам.

В ограде был пролом, и у самого пролома, на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж.

Он по-прежнему лежал на спине, оттягивая обеими руками воротник свитера, и тихонько мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Рэдрик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей ладонью ощущая липкую от пота, горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно, но в слабых отсветах прожекторов Рэдрик видел широко раскрытые и словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, черную щетину, покрывающую его щеки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, а затем беспокойно задвигался, ощупывая рукой мешок с хабаром.

— Вернулся... — проговорил он. — Хороший парень... Рыжий... Не бросишь старика... подышать...

Рэдрик, запрокинув голову, сделал хороший глоток.

— Стоит жаба, — сказал он, — как приклеенная.

— Это... неспроста... — проговорил Барбридж. Говорил он отрывисто, на выдохе. — Настучал кто-то. Ждут.

— Может быть, — сказал Рэдрик. — Дать еще глоток?

— Нет. Хватит пока. Ты меня не бросай. Не бросишь — не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, Рыжий?

Рэдрик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе, на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там этот или сгинул.

— Слушай, Рыжий. Я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул. Фараон Банкер погиб. Как не было. Какой был сталкер. А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Каллоген. Пит Болячка. Все. Один я остался. Почему? Знаешь?

— Подлец ты всегда был, — сказал Рэдрик, не отрывая глаз от шоссе. — Стервятник.

— Подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон. Слизняк. А остался один я. Знаешь, почему?

— Знаю, — сказал Рэдрик, чтобы отвязаться.

— Врешь. Не знаешь. Про Золотой шар слышал?

— Слышал.

— Думаешь, сказка?

— Ты бы молчал лучше, — посоветовал Рэдрик. — Силы ведь теряешь.

— Ничего. Ты меня вынесешь. Мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь? Я тебя вот такого... маленького знал. Отца твоего.

Рэдрик молчал. Очень хотелось курить, он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладонь и стал нюхать. Не помогло.

— Ты меня должен вытащить, — проговорил Барбридж. — Это из-за тебя я погорел. Это ты Мальтийца не взял.

Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый вечер угощал, предлагал хороший залог, клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с Мальтийцем, загорбившись от него тяжелой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Рэдрику: соглашайся, мол, не прогадаем. Может быть, именно поэтому Рэдрик сказал тогда «нет».

— Из-за жадности своей ты погорел, — холодно сказал Рэдрик. — Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

Некоторое время Барбридж только кряхтел. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.

— Пусть весь хабар твой будет, — прокряхтел он, — только не бросай.

Рэдрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного, а патрульная машина все не уходила. Проекторы ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный «лендровер», и каждую минуту его могли обнаружить.

— Золотой шар, — сказал Барбридж. — Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели. Я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если б любое, меня б здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

Рэдрик посмотрел на него сверху вниз. В бегучих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мертвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Рэдриком.

— Вечную молодость я не получил, — бормотал он. — Денег ни черта. А вот здоровье — да. И дети у меня хороши. И жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И все равно жив. — Он облизал губы. — Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровья. И чтобы дети.

— Да заткнись ты, — сказал наконец Рэдрик. —

Что ты как баба? Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко — на панель ведь пойдет девка...

— Дина... — прохрипел Барбридж. — Деточка моя. Красавица. Они ж у меня балованные, Рыжий. Отказа не знали. Пропадут. Артур. Арчи мой. Ты же его знаешь, Рыжий. Где ты еще таких видел?

— Сказано тебе: смогу — вытащу.

— Нет, — упрямо сказал Барбридж. — Ты меня в любом случае вытащишь. Золотой шар. Хочешь, скажу где.

— Ну скажи.

Барбридж застонал и пошевелился.

— Ноги мои... — прокряхтел он. — Пощупай, как там.

Рэдрик протянул руки и, ощупывая, провел по его ноге ладонью от колена и ниже.

— Кости... — хрипел Барбридж. — Кости есть еще?

— Есть, есть, — соврал Рэдрик. — Не суетись.

На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка, ее можно было узлом завязать.

— Врешь ведь, — сказал Барбридж. — Зачем врешь? Что я, не знаю, не видал никогда?

— Колени целы, — сказал Рэдрик.

— Врешь ведь, наверное, — сказал Барбридж с тоской. — Ну ладно. Ты только меня вытащи. Я тебе все. Золотой шар. Карту нарисую. Все ловушки укажу. Все расскажу...

Он говорил и обещал еще что-то, но Рэдрик уже не слышал его. Он смотрел в сторону шоссе. Проекторы больше не метались по кустам, они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске, и в ярком голубом тумане Рэдрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на проекторы. Рэдрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм.

И вдруг проекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная маши-

на, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, по-
неслась к городу и исчезла за стеной. Рэдрик судорож-
но глотнул и распустил «молнию» на комбинезоне.

— Никак уехали... — лихорадочно бормотал Барб-
ридж. — Рыжий, давай... Давай по-быстрому! — Он за-
ерзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с
хабаром и попытался подняться. — Ну давай, чего
сидишь!

Рэдрик все смотрел в сторону шоссе. Теперь там бы-
ло темно, и ничего не было видно, но где-то там был
этот — вышагивал, словно заводная кукла, оступаясь,
падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике.

— Ладно, — сказал Рэдрик вслух. — Пойдем.

Он поднял Барбриджа. Старик как клещами обхва-
тил его левой рукой за шею, и Рэдрик, не в силах вы-
прямиться, на четвереньках поволок его через дыру в
ограде, хватаясь руками за мокрую траву.

— Давай, давай... — хрипел Барбридж. — Не бес-
покойся, хабар я держу, не выпусчу... Давай!

Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила,
ветки рябины хлестали по лицу, грузный старик был не-
имоверно тяжел, словно мертвец, да еще мешок с хаба-
ром, позвякивая и постукивая, все время цеплялся за
что-то, и еще страшно было наткнуться на этого, кото-
рый, может быть, все еще блуждал здесь в потемках.

Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем тем-
но, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по
ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили пти-
цы, а над черными домами далекой окраины, над ред-
кими желтыми фонарями ночной мрак уже засинел, и
потянуло оттуда знобким влажным ветерком. Рэдрик
положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как боль-
шой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро
нашел «лендровер», сбросил с капота и с кузова мас-
кирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая
фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой
держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.

— Быстро! — прохрипел он. — Быстро давай! Ко-
лени, целы еще у меня колени... Колени бы спасти!

Рэдрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения,
перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиде-
ние и застонал. Мешок он так и не выпустил. Рэдрик
подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцо-
ванный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой
и плащ.

Рэдрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов в общем не было. Выкатываясь на шоссе, «лендровер» примял высокую густую траву, но трава эта должна была через несколько часов подняться. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Рэдрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и закурил, хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.

— Что же ты? — плачущим голосом сказал из машины Барбридж. — Воду не вылил, снасти все сухие... Чего стоишь? Прячь хабар!

— Заткнись, — сказал Рэдрик. — Не мешай. — Он затянулся. — На южную окраину свернем, — сказал он.

— Как — на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник! Колени!

Рэдрик затянулся в последний раз и сунул окурочек в спичечный коробок.

— Не пыли, Стервятник, — сказал он. — Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной, да задержат.

— Ну и что?

— Посмотрят твои копыта — и конец.

— А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор!

— А если кто-нибудь пощупает?

— Пощупает... Я так заору, что вперед забудет, как шупать.

Но Рэдрик уже все решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая фонариком, открыл потайную крышку и сказал:

— Давай сюда хабар.

Бензобак под сиденьем был фальшивый. Рэдрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекачивается.

— Мне рисковать нельзя, — пробормотал он. — Не имею права.

Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверх тряпок и опустил сиденье. Барбридж кричал, постанывал, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать Золотой шар, а сам все вертел-

ся на сиденье, встревоженно вглядываясь в редеющую тьму. Рэдрик не обращал на него внимания. Он вспомнил налитый водой пластиковый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь все было в порядке: рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая Зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Рэдрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной, и, кроме того, он знал, что сейчас будет, поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо по середине шоссе — как и все они, он шел в город. Рэдрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

— Мать божия! — пробормотал сзади Барбридж. — Рыжий, ты видел?

— Да, — сказал Рэдрик.

— Господи... этого нам еще не хватало... — бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.

— Заткнись! — прикрикнул на него Рэдрик.

Поворот должен был быть где-то здесь. Рэдрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, протянувшуюся справа. Старая трансформаторная будка... столб с подпоркой... подгнивший мостик через кювет. Рэдрик повернул руль. Машину подбросило на колдобине.

— Ты куда? — дико заорал Барбридж.

Рэдрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колеса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Рэдрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые, покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал, он жаловался и грозился,

но очень негромко и неразборчиво, так что Рэдрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи... Потом он затих.

Проселок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городских тузов и заводской администрации. Зеленые веселые места, маленькие озера с чистыми песчаными берегами, прозрачные березовые рощи, пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские дымы сюда не доходили, так же, впрочем, как и городская канализация. Теперь все здесь было покинуто и заброшено, и за все время им попался всего один жилой дом — желто светилось задернутое занавеской окошко, висело на веревках промокшее от дождя белье, и огромный пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машиной в вихре грязи, летевшей из-под колес.

Рэдрик осторожно переехал еще через один старый, перекосившийся мостик и, когда впереди завиднелся поворот на Западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошел вперед, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Все вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошел до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда: маленький домик на колесах, три светящихся окошка, патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было. Некоторое время Рэдрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения, видимо, патрульные озябли и измотались за ночь и теперь грелись в домике — дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губы. «Жабы», — негромко сказал Рэдрик. Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальные отверстия, зажал в кулаке холодный металл и, все так же зябко ссутулясь, не вынимая рук из карманов, пошел обратно. «Лендровер», слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное, никто сюда, наверное, не заглядывал вот уже лет десять.

Когда Рэдрик подошел к машине, Барбридж поднялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно, — морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый... Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и вдруг Барбридж сказал невнятно:

— Карту дам... все ловушки, все... Сам найдешь, не пожалеешь.

Рэдрик слушал его, не двигаясь, потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал:

— Ладно. Твое дело — лежать в обмороке, понял? Стои и не давай прикасаться.

Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину.

И все обошлось. Никто не вышел из домика, когда «лендровер» в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатил мимо, а затем, все наращивая и наращивая скорость, помчался в город через западную окраину. Было шесть часов утра, улицы были пусты, асфальт мокрый и черный, автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещенными окнами, и Рэдрика обдало волной теплого, необыкновенно вкусного запаха.

— Жрать охота, — сказал Рэдрик и, разминая затекшие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль.

— Что? — испуганно спросил Барбридж.

— Жрать, — говорю, — охота... Тебя куда? Домой или прямо к Мяснику?

— К Мяснику, к Мяснику гони! — торопливо забормotal Барбридж, весь подавшись вперед, лихорадочно и горячо дыша Рэдрику в затылок. — Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще семьсот монет должен... Да гони ты, гони, что ты ползешь, как вошь по мокрому месту? — И вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, черными грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля.

Рэдрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расхोдившегося Стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в «Метрополе». Он вывернул на Шестнадцатую улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком.

Мясник открыл ему сам — видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены, под мутными глазами набрякли темные мешочки.

— А! — сказал он. — Рыжий? Што скажешь?

— Надевай зубы и пойдем, — сказал Рэдрик.

— Угу, — отозвался Мясник, приглашающе мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную.

— Кто? — спросил он оттуда.

— Барбридж, — ответил Рэдрик.

— Что?

— Ноги.

В ванной полилась вода, раздалось фыркание, плеск, что-то упало и покатилося по кафельному полу. Рэдрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил, озираясь. Да, холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом, светилом медицины не только города, но и штата, и со сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с Зоны: брал натурой, разным хабаром, который применял в своей медицине; брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах неизвестные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма; брал славой — славой первого на планете врача-специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой.

— Что именно с ногами? — спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече. Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы.

— Вляпался в «студень», — сказал Рэдрик.

Мясник свистнул.

— Значит, конец Барбриджу, — пробормотал он. — Жалко, знаменитый был сталкер.

— Ничего, — сказал Рэдрик, откидываясь в кресле. — Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по Зоне попрыгает.

— Ну хорошо, — сказал Мясник. Лицо у него сделалось совсем деловое. — Подожди, я сейчас оденусь.

Пока он одевался, пока звонил куда-то — вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, — Рэдрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на доньшке, и старался ни о чем не думать. Он просто ждал.

Потом они вместе вышли к машине. Рэдрик сел за руль, Мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то

жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, Мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Рэдрик снова закурил, а Барбридж вдруг сказал ясно и отдельно, словно совсем успокоившись:

— Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.

— Не убил ведь, — равнодушно сказал Рэдрик.

— Да, не убил... — Барбридж помолчал. — Это я тоже запомню.

— Запомни, запомни, — сказал Рэдрик. — Ты бы, конечно, меня убивать не стал... — Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подергивая пересохшими губами. — Ты бы меня просто бросил, — сказал Рэдрик. — Оставил бы меня в Зоне, и концы в воду. Как Очкарика.

— Очкарик сам помер, — угрюмо возразил Барбридж. — Я тут ни при чем. Приковало его.

— Сволочь ты, — равнодушно сказал Рэдрик, отворачиваясь. — Стервятник.

Из подъезда выскочили сонные встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Рэдрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объединенные «студнем», были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после Посещения, когда Зона еще не называлась Зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Рэдрику было тогда десять лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной — он обожал выпить за чужой счет, подражаться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену, шумно, всем напоказ... Так и забил до смерти.

Рэдрик развернул «лендровер» и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рвякая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой.

Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны сиверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже.

— Доброе утро, — сказал ему Рэдрик вежливо.

Управляющий, остановившись в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо.

— Это ваша работа? — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня.

— Вы о чем?

— Качели эти... Вы поставили?

— Я.

— Для чего?

Рэдрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился за спиной.

— Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?

— Дочка попросила, — сказал Рэдрик очень спокойно. Он откатил ворота.

— Я вас не про дочку спрашиваю! — Управляющий повысил голос. — О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?

Рэдрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную, с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном ниже:

— И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...

— Напрасно стараетесь, — сказал Рэдрик. — Все равно я отсюда не съеду.

Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:

— Но уж если мне придется все-таки съехать, гад, тогда молись.

Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую

Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплюснутая сигарета. Рэдрик отодрал ее, сигарета оказалась шведская. Рэдрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было три окурка.

На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома, а Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубашу он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей — терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилен.

— Ну ладно... — проговорила она наконец низким, хрипловатым голосом, отпустила его и включила в прихожей свет, а сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. — Сейчас я тебе кофе... — сказала она оттуда.

— Я тут рыбу приволок, — сказал он нарочито бодрым голосом. — Зажарь, да все сразу жарь, жрать охота — сил нет!

Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах, он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку.

— Иди мойся, — сказала она. — Пока помоешься, все будет готово.

— Как Мартышка? — спросил Рэдрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги.

— Да болтала весь вечер, — отозвалась Гута. — Еле-еле я ее уложила. Пристает все время: где папа, где папа? Вынь да положи ей папу...

Она ловко и бесшумно двигалась по кухне, крепкая, ладная, и уже закипала вода в кастрюле на плите, и летела чешуя из-под ножа, и скворчало масло на самой большой сковородке, и восхитительно запахло свежим кофе.

Рэдрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно спала, сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони — маленький сопящий зве-

рек. Рэдрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой, и в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять Мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить, да и грязен он был как черт, весь пропитан Зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал:

— Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду.

На столе лежала пачка вечерней корреспонденции: «Мармонтская газета», журнал «Атлет», журнал «Плейбой» — целая куча журналов подвалила — и толстенькие, в серой обложке «Доклады Международного института внеземных культур», выпуск 56. Рэдрик принял от Гуты кружку дымящегося кофе и потянул к себе «Доклады». Кривульки, значки какие-то, чертежи... на фотографиях — знакомые предметы в странных ракурсах. Еще одна посмертная статья Кирилла вышла: «Об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 776». Фамилия «Панов» обведена черной рамкой, внизу мелким шрифтом примечание: «Доктор Кирилл А. Панов, СССР, трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 19... года». Рэдрик отбросил журнал, обжигаясь, хлебнул кофе и спросил:

— Заходил кто-нибудь?

— Гуталин заходил, — сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. — Пьяный был в стельку, я его выпроводила.

— А Мартышка как же?

— Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь наладилась. Но я ей сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. А она мне так понимающе отвечает: «Опять засосал Гуталин!»

Рэдрик усмехнулся и сделал еще глоток. Потом спросил:

— Соседи как?

И снова Гута чуть помедлила, прежде чем ответить.

— Да как всегда, — сказала она наконец.

— Ладно, не рассказывай.

— А! — сказала она, с отвращением махнув рукой. — Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Чего это мы среди ночи пилим в ванной!..

— Понятно, — сказал Рэдрик сквозь зубы. — Слушай, может быть, уедем все-таки? Купим дом на окраи-

не, где никто не живет, дачу какую-нибудь заброшенную.

— А Мартышка?

— Господи, — сказал Рэдрик. — Ну неужели мы вдвоем с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?

Гута помотала головой.

— Она детишек любит. И они ее любят. Они же не виноваты, что...

— Да, — проговорил Рэдрик. — Они, конечно, не виноваты.

— Что там говорить, — сказала Гута. — Тебе звонил кто-то. Себя не назвал, я сказала, что ты на рыбалке.

Рэдрик поставил кружку и поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Пойду все-таки помоюсь. Куча дел еще у меня.

Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а каскет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипятком, душем, кряхтя, растирая тело варежкой из жесткой губки, пока кожа не стала багровой, потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. Урчала вода в трубах, Гута на кухне позвякивала посудой, запахло жареной рыбой, потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое белье.

— Давай побыстрее, — сказала она. — Рыба остынет.

Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Рэдрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню.

— Вот теперь и поесть можно, — сказал он, усаживаясь.

— Шмотки в бак положил? — спросила Гута.

— Угу, — проговорил он с набитым ртом. — Хороша рыбка!

— Водой залил?

— Не-а... Виноват, сэр, больше не повторится, сэр... Да брось ты, успеешь, посиди! — Он поймал ее за руку и попытался посадить к себе на колени, но она вывернулась и села за стол напротив.

— Пренебрегаешь, значит, мужем, — сказал Рэдрик, снова набивая полный рот. — Брезгуешь, значит.

— Да какой ты сейчас муж, — сказала Гута. — Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо.

— А вдруг? — сказал Рэдрик. — Бывают же на свете чудеса.

— Что-то я таких чудес от тебя еще не видела. Выпьешь, может быть?

Рэдрик нерешительно поиграл вилкой.

— Н-нет, пожалуй, — проговорил он. Взглянул на часы и поднялся. — Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм. По классу «А». Рубашечку там, галстук.

С наслаждением шлепая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошел в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две «пустышки». Коробка с «булавками». Девять «батареек». Три «браслета». И один какой-то обруч — тоже вроде «браслета», но из белого металла, полегче и диаметром побольше — миллиметров на тридцать. Шестнадцать штук «черных брызг» в полиэтиленовом пакете. Две великолепной сохранности «губки» с кулак величиной. Три «зуды». Банка «газированной глины»... В мешке еще оставался тяжелый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату, но Рэдрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе.

Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счеты. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за цифрой, выстраивая все в три столбика, а потом просуммировал первые два. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал «булавки» на бумагу. В электрическом свете «булавки» отливали синевой и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками — желтым, красным, зеленым. Он взял одну «булавку» и осторожно, чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но «булавка» молчала. Он отложил ее в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться, и «булавка» заговорила: слабые красноватые вспышки побежали по ней и вдруг сменились более редкими зелеными. Несколько секунд Рэдрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из «Докладов», должна была что-то означать, может

быть, что-то очень важное, очень значительное, а потом положил «булавку» отдельно от первой и взял новую...

Всего «булавок» оказалось семьдесят три, из них говорили двенадцать, остальные молчали. На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Рэдрик снова зажег свет и к уже написанным цифрам добавил еще две. И только после этого он решился.

Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлек и положил на стол мягкий сверток. Некоторое время он смотрел на этот сверток, задумчиво почесывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом все-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал еще одну сигарету и, не отрывая глаз от свертка, выкурил ее всю.

— Кой черт! — сказал он громко, решительно взял сверток и сунул его обратно в мешок. — И все. И хватит.

Он быстро ссыпал «булавки» обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчасика можно было еще поспать, чтобы голова сделалась яснее, но, с другой стороны, гораздо полезней прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключив света, вышел из чулана.

Костюм уже был разложен на кровати, и Рэдрик принялся одеваться. Он завязывал галстук перед зеркалом, когда за его спиной тихонько скрипнули половицы, раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться.

— У! — крикнул вдруг рядом с ним тонкий голосок, и его схватили за ногу.

— Ах! — воскликнул Рэдрик, падая в обморок на кровать.

Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дергали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завелся котенок, весь белый и с красными глазами, наверное, не слушался маму и ходил в Зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять засосал и был больной, он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев пять, а рук две, а нос один?.. Рэдрик осторожно обнимал теплое существо, ползающее по нему, вглядывался в огром-

ные, сплошь темные, без белков, глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковым пушком щеке и повторял:

— Мартышка... Ах ты Мартышка... Мартышка ты этакая...

Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он протянул руку и взял трубку.

— Слушаю.

Трубка молчала.

— Алло! — сказал Рэдрик. — Алло!

Никто не отзывался. Потом в трубке щелкнуло, и раздались короткие гудки. Тогда Рэдрик поднялся, опустил Мартышку на пол и, уже больше не слушая ее, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом, так что наконец ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое.

Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину с мешком в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте: «Я пошел!»

— Когда вернешься? — спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась, и на ней был не халат, а домашнее платье, самое его любимое, ярко-синее с большим вырезом.

— Я позвоню, — сказал он, глядя на нее, потом подошел, наклонился и поцеловал в вырез.

— Иди уж, — тихо сказала Гута.

— А я? А меня? — заверещала Мартышка, пролезающая между ними. Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами.

— Чепуха, — сказал он. — Не беспокойся. Я позвоню.

На лестничной площадке этажом ниже Рэдрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с замком у своей двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Рэдрик остановился и сказал:

— Добрый день.

Грузный человек опасливо посмотрел на него через моечное плечо и что-то буркнул.

— Ваша супруга ночью к нам заходила, — сказал Рэдрик. — Будто мы что-то пилим. Это какое-то недоумение.

— А мне-то что, — проворчал человек в пижаме.

— Жена вчера стирала, — продолжал Рэдрик. — Если мы вас побеспокоили, прошу прощения.

— А я ничего не говорил, — сказал человек в пижаме. — Пожалуйста...

— Ну, я очень рад, — сказал Рэдрик.

Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое сиденье, оглядел все напоследок и вышел на улицу.

Идти было недалеко — два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до Центрального проспекта. Перед «Метрополем», как всегда, блесстел никелем и лаком разноцветный строй машин, лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы, какие-то иностранного вида солидные люди группками по двое, по трое беседовали, дымя сигарами, на мраморной лестнице. Рэдрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском, они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-мармонтски и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в десяти, какой-то сержант мрачно поглощал жареный картофель. Голубая каска стояла вверх дном на полу рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без двадцати девять.

Рэдрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро сбежал по лестнице, маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благоустроенный, свежевывытый и как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят.

Прикрывшись ладонью, Рэдрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивается на переднем сиденье за рулем, что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается за чем-то, поправляет зеркала заднего вида. Потом «пежо» фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бургусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в институт, а значит, должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и ухо-

дить было уже поздно, поэтому Рэдрик только закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. «Пежо» пробикивал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал:

— Эй! Шухард! Рэд!

Выругавшись про себя, Рэдрик поднял голову. Нунан уже шел к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял.

— Что ты здесь делаешь в такую рань? — спросил он, подходя. — Спасибо, мамаша, — бросил он официантке. — Ничего не надо... — И снова Рэдрику: — Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?

— Да так... — неохотно сказал Рэдрик. — Больше по мелочам.

Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сэндвичей в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает.

— Вид у тебя какой-то дохлый — недосыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замotalся с этой новой автоматикой, но спать — нет, брат, сон для меня первое дело, провались она, эта автоматика... — Он вдруг огляделся. — Пардон, может быть, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?

— Да нет... — вяло сказал Рэдрик. — Просто время есть, дай, думаю, кофе хоть попью.

— Ну, я тебя надолго не задержу, — сказал Дик и посмотрел на часы. — Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи, возвращайся в институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь, опять к русскому, прибыл недавно.

Рэдрик покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Второй Кирилл на свет еще не родился... Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика, роботы в Зону ходят, премиальные, надо понимать, тоже роботы получают... А лаборантские гроши — мне их и на табак не хватит.

— Брось, все это можно было бы устроить, — возразил Нунан.

— А я не люблю, когда для меня устраивают, — сказал Рэдрик. — Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.

— Гордый ты стал, — произнес Нунан с осуждением.

— Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.

— Ну что же, ты прав, — сказал Нунаң рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Рэдрика на стуле рядом и потер пальцем серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами. — Все правильно, деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать... Кирилл подарил? — спросил он, кивая на портфель.

— В наследство досталось, — сказал Рэдрик. — Что это тебя в «Боржче» не видно последнее время?

— Положим, это тебя не видно, — возразил Нунан. — Я-то там почти каждый день обедаю, здесь, в «Метрополе», за каждую котлету так дерут... Слушай, — сказал он вдруг. — А как у тебя сейчас с деньгами?

— Занять хочешь? — спросил Рэдрик.

— Нет, наоборот.

— Одолжить, значит...

— Есть работа, — сказал Нунан.

— О господи, — сказал Рэдрик. — И ты туда же!

— А кто еще? — сейчас же спросил Нунан.

— Да много вас таких... работодателей.

Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся.

— Да нет, это не по твоей основной специальности.

— А по чьей?

Нунан снова посмотрел на часы.

— Вот что, — сказал он, поднимаясь. — Приходи сегодня в «Боржч» к обеду, часам к двум. Поговорим.

— К двум я могу не успеть, — сказал Рэдрик.

— Тогда вечером, часам к шести. Идет?

— Посмотрим, — сказал Рэдрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять.

Нунан сделал ручкой и покатился к своему «пежо». Рэдрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Лаки страйк», расплатился и, взяв портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Рэдрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило.

Такого с ним еще никогда не было вне Зоны, да и в Зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обру-

шились на него, резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами, и через все это приходилось протискиваться, как во сне через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью... Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир — прежний знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной, сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться...

Над ухом рявкнул раздраженный сигнал, Рэдрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены «Метрополя». Сердце стучало бешено, он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после драки, и дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно:

— Вам помочь, мистер?

— Н-нет, — выдавил из себя Рэдрик и прокашлялся. — Душно...

— Может быть, проводить вас?

Рэдрик наклонился и поднял портфель.

— Все, — сказал он. — Все в порядке, приятель. Спасибо.

Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться, но он уже и без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толкались в вестибюле. Костлявый был уже тут как тут — с раздраженным видом копался в журналах у газетной стойки. Рэдрик бросил окурочек в урну и вошел в кабину лифта.

Вместе с ним втиснулись какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушенная дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Рэдрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слю-

ни, но личико было свежее, чистое, без единого волоска, и не видеть его мамашу, скудный бюст которой украшало ожерелье из крупных «черных брызг», оправленных в серебро, и не видеть выкаченных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутой физиономии старухи. Толстяк попытался закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до пятого этажа, где она выкатилась, а как только она выкатилась, толстяк все-таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы, и тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, по-верблужьи вытягивая губы и толкая Рэдрика в бок мучительно оттопыренным локтем...

Рэдрик вышел на восьмом этаже и двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озаренного уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по пятьсот монет за ночь, массивными золотыми портсигарами — всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая выросла на Зоне, пила от Зоны, жрала, хапала, жирела от Зоны, и на все ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, напьется, нахапает всласть, а все, что было в Зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Рэдрик без стука толкнул дверь номера восемьсот семьдесят четыре.

Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем тщательно зачесанными на пробор, нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.

— Ага, — произнес он, не поднимая глаз. — Точность — вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик.

Он кончил отстригать у сигары кончик, взял ее двумя руками, поднес к усам и поводил носом вдоль нее взад и вперед.

— А где же наш старый добрый Барбридж? — спросил он и поднял глаза. Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские.

Рэдрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты.

— Барбридж не придет, — сказал он.

— Старый добрый Барбридж, — проговорил Хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно под-

нес ее ко рту. — У старого Барбриджа разыгрались нервы.

Он все смотрел на Рэдрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся Костлявый.

— Кто был этот человек, с которым вы разговаривали? — спросил он прямо с порога.

— Здравствуйте, — сказал Рэдрик.

Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными, скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Рэдриком.

— Мы же вам сто раз говорили, — укоризненно произнес он. — Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?

— Я здороваюсь, — сказал Рэдрик. — А вы?

Хрипатый рассмеялся, а Костлявый раздраженно сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте... — Он перестал сверлить Рэдрика укоряющим взглядом и бухнулся рядом на диван. — Нельзя так делать, — сказал он. — Понимаете? Нельзя!

— Тогда назначайте мне свидания там, где у меня нет знакомых, — сказал Рэдрик.

— Мальчик прав, — заметил Хрипатый. — Наша промашка... Так кто был этот человек?

— Это Ричард Нуна, — сказал Рэдрик. — Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.

— Вот видишь, как просто, — сказал Хрипатый Костлявому, взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под статую Свободы, с сомнением посмотрел на нее и поставил обратно.

— А Барбридж где? — спросил Костлявый уже совсем дружелюбно.

— Накрылся Барбридж, — сказал Рэдрик.

Эти двое быстро переглянулись.

— Мир праху его, — сказал Хрипатый настороженно. — Или, может быть, он арестован?

Некоторое время Рэдрик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурки на пол и сказал:

— Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.

— Ничего себе — чисто! — сказал Костлявый нервно, вскочил и прошел к окну. — В какой больнице?

— Не бойтесь, — повторил Рэдрик. — В какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.

— В какой именно больнице? — уже раздраженно спросил Костлявый.

— Так я вам и сказал, — отозвался Рэдрик. Он взял портфель. — Будем мы сегодня делом заниматься или нет?

— Будем, будем, мой мальчик, — бодро сказал Хрипатый.

С неожиданной легкостью он соскочил на пол, быстро придвинул к Рэдрику журнальный столик, одним движением смахнул на ковер кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки.

— Предъявляйте, — сказал он.

Рэдрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.

— Это счет, — сказал Рэдрик.

— Вижу, — отозвался Хрипатый. — Предъявляйте, предъявляйте!

— Деньги, — сказал Рэдрик.

— Что это за «кольцо»? — подозрительно осведомился Костлявый, тыча пальцем в список через плечо Хрипатого.

Рэдрик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый наконец усмехнулся.

— И за что это я вас так люблю, мой мальчик? — проворковал он. — А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает! — Он театрально вздохнул. — Фил, дружище, — как у них здесь выражаются? — отвесь ему капусты, отслюни зелененьких... и дай мне наконец спичку! Ты же видишь... — И он потряс сигарой, все еще зажатой в двух пальцах.

Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил коробок и вышел в соседнюю комнату через дверь, задернутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает раздраженно и невнятно, что-то насчет кота в мешке, а Хрипатый, раскурив наконец свою сигару, все разглядывал Рэдрика в упор с застывшей улыбкой на тонких бледных губах и словно бы размышлял о чем-то, а Рэдрик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло как огнем и на глаза набегали

слезы. Потом Костлявый вернулся, бросил на столик две обандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Рэдриком. Рэдрик лениво потянулся за деньгами, но Хрипатый жестом остановил его, ободрал с пачек бандероли и сунул их себе в карман пижамы.

— Теперь прошу, — сказал он.

Рэдрик взял деньги и, не считая, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый, и еще из-за портьеры доносилось слабое звяканье — вроде бы ложечки о край стакана.

Когда Рэдрик наконец закрыл портфель и защелкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил:

— Ну а как насчет главного?

— Никак, — ответил Рэдрик. Он помолчал и добавил: — Пока.

— Мне нравится это «пока», — ласково сказал Хрипатый. — А тебе, Фил?

— Темните, Шухарт, — сказал брезгливо Костлявый Фил. — А чего темнить-то, спрашивается?

— Специальность такая: темные делишки, — сказал Рэд. — Тяжелая у нас с вами специальность.

— Ну хорошо, — сказал Хрипатый. — А где фотоаппарат?

— А, черт, — пробормотал Рэдрик. Он потер пальцами щеку, чувствуя, как краска заливает ему лицо. — Виноват, — сказал он. — Начисто забыл.

— Там? — спросил Хрипатый, делая неопределенное движение сигарой.

— Не помню... Наверное, там... — Рэдрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. — Нет. Начисто не помню.

— Жаль, — сказал Хрипатый. — Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?

— Да нет же, — с досадой сказал Рэдрик. — В том-то все и дело. Мы же не дошли до кауперов. Барбридж вляпался в «студень», и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли... Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл...

— Слушай-ка, Хью, посмотри! — испуганным шепотом произнес вдруг Костлявый. — Что это, а?

Он сидел, напряженно вытянув перед собой указа-

тельный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и Костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.

— Он не останавливается! — громко сказал Костлявый, переводя круглые глаза с обруча на Хрипатого и обратно.

— Что значит — не останавливается? — осторожно спросил Хрипатый и чуть отодвинулся.

— Я надел его на палец и крутанул разок — просто так... и он уже целую минуту не останавливается!

Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблескивая, мерно крутился перед ним как пропеллер.

— Что это вы нам принесли? — спросил Хрипатый.

— Черт его знает, — сказал Рэдрик. — Я и не знал... Знал бы — содрал побольше.

Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Рэдрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно крепкозадых красоток, но почему-то было сейчас тошно смотреть на них. Рэдрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно, но, чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся Хрипатый.

— Вам везет, мой мальчик, — объявил он, снова усаживаясь напротив Рэдрика. — Знаете, что такое перпетуум-мобиле?

— Нет, — сказал Рэдрик. — У нас этого не проходили.

— И не надо, — сказал Хрипатый. Он вытащил еще одну пачку банкнотов. — Это цена первого экземпляра, — произнес он, обдирая с пачки бандероль. — За каждый новый экземпляр этого вашего «кольца» вы будете получать по две таких пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что, кроме нас с вами, никто об этих «кольцах» никогда ничего не узнает. Договорились?

Рэдрик молча засунул пачку в карман и поднялся.

— Я пошел, — сказал он. — Когда и где в следующий раз?

Хрипатый тоже поднялся.

— Вам позвонят, — сказал он. — Ждите звонка каждую пятницу, с девяти до девяти тридцати утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание.

Рэдрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.

— Я хотел бы, чтобы вы поняли, — продолжал он. — Все это хорошо, очень мило и так далее, а «кольцо» — так это просто чудесно, но прежде всего нам нужны две вещи: фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой пленкой, и наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный, и вам больше никогда не придется ходить в Зону...

Рэдрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с восьмого этажа пешком.

Выйдя из «Метрополя», он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из новичков, носатый прыщавый малец, один из тех, кто валом валит в Мармонт в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии, — валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами — алчущие, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова обманули. Половина из них, промышлавших месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все страны света. Считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться. Некоторым удавалось поступить в институт, самым толковым и грамотным, годным хотя бы на должность препаратора, а остальные просиживали в кабаках вечера напролет, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке, время от времени устраивали шествия с какими-то петициями, какие-то демонстрации протеста, какие-то забастовки — сидячие, стоячие и даже лежащие, — совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов, но чем дальше, тем основательнее успокаивались, смирялись, и все меньше и меньше интересовались знать, для чего они здесь.

От прыщавого шофера на версту несло перегаром, глаза у него были красные как у кролика, но он был страшно возбужден и с ходу принялся рассказывать Рэдрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом, а дом-то уже сколько лет заколочен, все оттуда уехали — и вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад, еще до Посещения, а теперь вот — привет! — приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся...

— Стоп, — сказал Рэдрик. — Останови вот здесь.

Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новый банкнот. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси уедет. Коттеджик у Стервятника был неплохой: два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Рэдрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Рэдрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял Суслик, скрюченный, черно-багровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустил со ступеньки одну судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом все дергал в сторону Рэдрика здоровой рукой, сейчас, мол, сейчас...

— Эй, Рыжий! — позвал из сада женский голос.

Рэдрик повернул голову и увидел среди зелени рядом с белой ажурной крышей беседки голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул Суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты, по мягкой зеленой траве направился к беседке.

На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме, рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояло блестящее ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.

— Здорово, Рыжий! — сказала Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. — А где же папахен? Неужели опять засыпался?

Рэдрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей се-

бе Стервятник у кого-то в Зоне выпросил на славу. Дина была атласная, пышноплотная, без единого изъяна, без единой лишней складки, полтораста фунтов двадцатилетней лакомой плоти, и еще изумрудные глаза, светящиеся изнутри, и еще большой влажный рот и ровные белые зубы, и еще воронные волосы, и солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее, а она смотрела на него снизу вверх, понимая усмехаясь, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.

— Хочешь? — сказала она, облизывая губы и подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан.

Он отвернулся, искал глазами и, обнаружив в тени шезлонг, уселся и вытянул ноги.

— Барбридж в больнице, — сказал он. — Ноги ему отрежут.

По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо, только улыбка ее сделалась неподвижной — сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдинок о стенки, и спросила:

— Обе ноги?

— Обе. Может быть, до коленей, а может быть, и выше.

Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась.

— Жаль, — проговорила она. — А ты, значит...

Именно ей, Дине Барбридж, он мог бы подробно рассказать, как все это случилось и как все это было. Наверное, он мог бы ей рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет, и как Барбридж просил — не за себя просил даже, за детей, за нее и за Арчи, и сулил Золотой шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат, прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером, Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.

— Последняя получка, значит, — проговорила она.

Рэдрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведерка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По темно-

му стеклу стекала вода, и Рэдрик отвел бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогих виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он оглянулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит Суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его черно-багровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит, и, увидев, что Рэдрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот.

— Жду, жду, — сказал ему Рэдрик и сунул бутылку обратно в лед.

Суслик подковылял наконец, подал Рэдрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой.

— Спасибо, Диксон, — серьезно сказал Рэдрик. — Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон.

И пока Суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Рэдрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину.

— Хочешь? — сказал он, показывая ей стакан.

Она не ответила. Она складывала ассигнацию пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам.

— Брось, — сказал он. — Не пропадете. У твоего папаши...

Она перебила его:

— А ты его, значит, тащил, — сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. — Пер его, дурак, через всю Зону, на хребте пер... Слюнтяй, такой случай упустил...

Он смотрел на нее, забыв о стакане, а она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, загородив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом.

— Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца... по костям вашим, по вашим башкам безмозглым... Погоди, погоди, он еще на костылях по вашим черепушкам походит, он вам еще покажет братскую любовь и

милосердие! — Она уже почти кричала. — Золотой шар небось тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван! По роже твоей конопатой вижу, что обещал... погоди, он тебе еще даст карту, упокой, господи, глупую душу рыжего дурака Рэдрика Шухарта...

Тогда Рэдрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощечину, и она смолкла на полуслове, опустилась как подрубленная на траву и уткнула лицо в ладони.

— Дурак... рыжий... — невнятно проговорила она. — Такой случай упустил... такой случай...

Рэдрик, глядя на нее сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его Суслику. Говорить здесь было больше не о чем. Хороших деток вымолил себе Стервятник Барбридж в Зоне. Любящих и почтительных.

Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к «Боржчу». Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо, перед глазами все плыло, и он-таки заснул, навалившись на портфель всем телом, и проснулся только, когда шофер потряс его за плечо.

— Приехали, мистер...

— Где это мы? — проговорил он, спросонья озираясь. — Я же тебе велел в банк...

— Никак нет, мистер, — осклабился шофер. — Велели к «Боржчу». Вот вам «Боржч».

— Ладно, — проворчал Рэдрик. — Приснилось что-то...

Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затекшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем, стало очень жарко. Рэдрик почувствовал, что он весь мокрый, во рту было гадко, глаза слезились. Прежде чем войти, он огляделся. Улица перед «Боржчом», как всегда в этот час, была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам «Боржч» был, собственно, закрыт, но Эрнест был уже на посту — протирали бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья, незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Рэдрик подошел к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое.

— Пива налей, — сказал Рэдрик и судорожно зевнул.

Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Рэдрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Рэдрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Рэдрика: типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах; негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил:

— Принес?

— Что — принес? — Рэдрик оглянулся через плечо.

Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.

— Пойдем потолкуем, — сказал Эрнест.

Негр со шваброй теперь тоже стоял между Рэдриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.

— Пойдем, — сказал Рэдрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу.

Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищепил, видно, себе палец — облизывал ноготь, исподлобья разглядывал Рэдрика. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплюснутыми ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Рэдрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад.

В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены, а из-за стола поднялся капитан Квотерблад, желтый и скорбный, а откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Рэдрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Рэдрика к капитану. Рэдрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.

— Что же ты, зараза, — сказал он Эрнесту.

Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой.

Капитан Квотерблад, с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол: «пустышки» малые — две штуки; «батарейки» — девять штук; «черные брызги» разных размеров — шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; «губки» прекрасной сохранности — две штуки; «газированной глины» — одна банка.

— В карманах есть что-нибудь? — тихо произнес капитан Квотерблад. — Выкладывайте...

— Гады, — сказал Рэдрик. — Зар-разы.

Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны.

— Ого! — произнес капитан Квотерблад. — Еще?

— Берите! — заорал Рэдрик, выхватил из кармана вторую пачку и с размаху швырнул ее себе под ноги. — Жрите! Подавитесь!

— Очень интересно, — произнес капитан Квотерблад спокойно. — А теперь подбери все это.

— Бог подаст! — сказал ему Рэдрик, закладывая руки за спину. — Холуй твои подберут. Сам подберешь!

— Подбери деньги, сталкер, — не повышая голоса, сказал капитан Квотерблад, упираясь кулаками в стол и весь подавшись вперед.

Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза, потом Рэдрик, бормоча ругательства, опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а ооновец довольно фыркнул.

— Не фыркай, ты! — сказал ему Рэдрик. — Сопля вылетит!

Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбываясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. Он все выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства, все, какие мог вспомнить, и еще те, которые придумывал на ходу, а когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться об пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки, в сырую холодную тьму винного погреба.

Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабели и слыща, как они со звоном и грохотом валятся в

проход позади него; оскальзываясь, избежал по невидимым ступенькам, всем телом вышиб обитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазамиплыли кровавые пятна, сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло, но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол, и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но вой патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал еще быстрее, распугивая шарахающихся ребятишек, ныря под развешенное белье, пролезая в дыры сгнивших заборов, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблад не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах он играл еще мальчишкой, везде у него здесь были знакомые и даже друзья, и при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю, но не для того он «совершил дерзкий побег из-под ареста», разом заработав себе лишних двенадцать месяцев.

Ему здорово повезло. По Седьмой улице валило, горланя и пыля, очередное шествие какой-то лиги — человек двести таких же растерзанных и неопрятных, как он сам, и даже хуже, будто все они тоже только что продирались через лазы в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да еще вдобавок предварительно провели бурную ночь на угольном складе. Он вынырнул из подворотни, с ходу врезался в эту толпу и наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова нырнул в подворотню — как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблад не мог знать, в каком именно.

Он вышел к своему гаражу со стороны склада радио-

товаров, и ему пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлах кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на корточки, прислонившись спиной к жесткой штукатурке брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик, и думал, думал, думал, а когда автокар с рабочими, гудя, укатил в подворотню, он засмеялся и негромко сказал ему вслед: «Спасибо вам, ребята, задержали дурака... дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в Зоне.

Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленное кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок. Во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и, уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он приткнул глазом к самой широкой щели и некоторое время смотрел, как Мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бежит вокруг новых качелей, а три старухи — соседки с вязанием на коленях тут же на скамеечке смотрят на нее, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими паршивыми мнениями, старые кочерыжки. А ребятишки ничего, играют с ней как ни в чем не бывало, не зря же он к ним подлизывался, как умел, — и горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели... и скамейку эту, на которой расселись старые кочерыжки, тоже он сделал. Ладно, сказал он одними губами, оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз.

На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался — вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстился необозримый пустырь бывшей городской свалки. Рэдрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с пат-

ронами тоже была на месте, и мешочек с «браслетами», и старый бумажник с поддельными документами — тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задержало щеку.

— Шухарт, — пробормотал он, не слыша своего голоса. — Что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат... — Он прижал пальцами державшуюся щеку, но это не помогло. — Гады, — сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. — Попались же вы мне на дороге... Кинул бы ее обратно в Зону, и концы в воду...

Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чертики. Он был один.

— Ладно, — сказал он решительно. — Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит...

Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони.

— И все, — сказал он. — И никаких.

Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.

— Гута, — сказал он. — Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. — Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил: — Да ерундистика это все, месяцев шесть-восемь... и со свиданиями... Переживем. А без денег ты не будешь, деньги прищлю... — Она все молчала. — Завтра тебя вызовут в комендатуру, там увидимся. Мартышку приведи.

— Обыска не будет? — спросила она глухо.

— А хоть бы и был. Дома чисто. Ничего, держи хвост трубой... Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну до завтра... Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.

Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

— Слушаю вас, — сказал Хрипатый.

— Говорит Шухарт, — сказал Рэдрик. — Слушайте внимательно и не перебивайте...

— Шухарт? — очень натурально удивился Хрипатый. — Какой Шухарт?

— Не перебивайте, я говорю! Я попался, бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года два с половиной или три. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю? Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите — берите, хотите — нет, но жена моя чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто... Я вам не советую играть нечисто. Понятно?

— Я все понял, — сказал Хрипатый. — Спасибо. — Потом, помедлив немного, спросил: — Может быть, адвоката?

— Нет, — сказал Рэдрик. — Все деньги до последнего медяка — жене. С приветом.

Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

*3. Ричард Г. Нунан, 51 год,
представитель поставщиков электронного
оборудования при Мармонтском филиале МИВК*

Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивая головой и не слушая посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пильман, лениво делал ему выговор. Или воображал, что делает ему выговор. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему выговор.

— Мы все это учтем, Валентин, — сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного счета чертика и захлопнув блокнот. — В самом деле, безобразие...

Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу.

— И что же именно вы учтете? — вежливо осведомился он.

— Все, что вы сказали, — весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. — До последнего слова.

— А что я сказал?

— Это несущественно, — произнес Нунан. — Что бы вы ни сказали, все будет учтено.

Валентин (доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее) сидел перед ним в глубоком кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке ни пятнышка, на подтянутых брюках ни морщинки, ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах ехидная улыбочка, огромные черные очки скрывают глаза, над широким низким лбом черные волосы жестким ежиком.

— По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалованье, — сказал он. — Мало того, по-моему, вы еще и саботажник, Дик.

— Чш-ш-ш! — произнес Нунан шепотом. — Ради бога, не так громко.

— В самом деле, — продолжал Валентин. — Я довольно давно слежу за вами: по-моему, вы совсем не работаете...

— Одну минутку! — прервал его Нунан и помахал розовым толстым пальцем. — Как это — не работаю? Разве хоть одна рекламация осталась без последствий?

— Не знаю, — сказал Валентин и снова стряхнул пепел. — Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще, а при чем здесь вы — не знаю.

— А вот если бы не я, — возразил Нунан, — хорошее бы приходило реже. Кроме того, вы, ученые, все время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации, и кто вас тогда покрывает? Вот, например...

Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.

— Мистер Нунан? — спросила секретарша. — Вас снова господин Лемхен.

— Соединяйте.

Валентин поднялся, положил потухший окурок в пепельницу, в знак прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел, маленький, прямой, складной.

— Мистер Нунан? — раздался в трубке знакомый медлительный голос.

— Слушаю вас.

— Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.

— Пришла новая партия...

— Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго, есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Имеются в виду последние контракты «Мицубиси дэнси». Юридическая сторона.

— К вашим услугам.

— Тогда, если вы не возражаете, минут через тридцать в конторе нашего отделения. Вас устраивает?

— Вполне. Через тридцать минут.

Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошелся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же дал петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приемную.

— Детка, — сказал он секретарше, — меня понесло по клиентам. Оставляйтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку.

Секретарша расцвела. Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам института. Несколько раз его пытались поймать за полу — он увертывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться и, в конце концов так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного.

Над городом висели низкие тучи, парило, первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлек черную круглую палочку «этака», вставил ее в аккумуляторное гнездо и задвинул большим пальцем до щелчка. Потом, поерзав задом, он поудобнее устроился за рулем и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника.

Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. «Итак, рапорт получен, — думал он. — Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно когда хвалит сам господин Лемхен. Странное дело, почему это нам нра-

вится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? «Он прославился: теперь о нем знали трое». Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человек... Похоже, мы любим похвалу, как таковую. Как детишки — мороженое. Комплекс неполноценности это, вот что. Похвала тешит наши комплексы. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что я, сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А кстати, что такое это Г? Вот тебе и на! И спросить не у кого... Не у господина же Лемхена спрашивать... А, вспомнил! Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льет...»

Он вывернул на Центральный проспект и подумал: «До чего вырос городишко за последние годы. Экие небоскребы отгрохали... Вон еще один строят. Это что же у нас будет? А, луна-комплекс — лучшие в мире джазы и публичный дом, все для нашего доблестного гарнизона, и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки... А окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойникам».

— Восставшим из могил пути домой закрыты, поэтому они печальны и сердиты, — произнес он вслух.

«Да, хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, десять лет назад я совершенно точно знал, чем это все должно кончиться. Непреодолимые кордоны. Пояс пустоты шириной в пятьдесят километров. Ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво... И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты... А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. «С одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не согласиться». А началось это, кажется, когда вынесли из Зоны первые «этаки». Батарейки... Да, кажется, с этого и началось. Особенно, когда открылось, что они размножаются. Язва оказалась не такой уж и язвой, и даже не язвой вовсе, а вроде бы сокровищницей... А теперь уже никто и не знает, что это такое — язва ли, сокровищница, адский соблазн, шкатулка Пандоры, черт, дьявол... Пользуются помаленьку. Двадцать лет пыhtят, миллиарды ухлопали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом веща-

ют: с одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом восемнадцать градусов, испускает квази-тепловые электроны под углом двадцать два градуса... К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить...»

Машина покатила мимо особняка Стервятника Барбриджа. Во всех окнах по случаю проливного дождя горел свет, видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах Дины, движутся танцующие пары. Не то спозаранку начали, не то со вчерашнего никак кончить не могут. Мода такая пошла по городу — сутками напролет. Крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях...

Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корш, Корш и Саймак». Он вынул и спрятал в карман «этап», снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное — мимо швейцара, углубленного в газету, по лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время напрасно тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет.

Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное лицо его собралось в складочки, обозначающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть, с трудом обуздываемое желание чихнуть.

— Ну вот и вы, — медлительно проговорил он. — Входите, располагайтесь.

Нунан поискал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жесткого стула с прямой спинкой, упрятанного за стол. Тогда он присел на край стола. Веселое настроение его начало почему-то улету-

чиваться — он и сам не понимал еще почему. Вдруг ему стало ясно, что хвалить его не будут. Скорее наоборот. День гнева, философски подумал он и приготовился к худшему.

— Закуривайте, — предложил господин Лемхен, снова опускаясь в кресло.

— Спасибо, не курю.

Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения, соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.

— Полагаю, юридические дела фирмы «Мицубиси дэнси» мы обсуждать с вами не будем, — проговорил он наконец.

Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал:

— Как вам будет угодно.

Сидеть на столе было чертовски неудобно, ноги не доставали до полу, резало зад.

— С сожалением должен сообщить вам, Ричард, — сказал господин Лемхен, — что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.

— Гм... — произнес Нунан. «Начинается», — подумал он.

— Вас даже собирались представить к ордену, — продолжал господин Лемхен, — однако я предложил повременить. И правильно сделал. — Он наконец оторвался от созерцания фигуры из десяти пальцев и посмотрел исподлобья на Нунана. — Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность.

— Наверное, у вас были к тому основания, — скучным голосом сказал Нунан.

— Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована. Вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с полным составом. Блестящая работа. Тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было, все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понес большие потери. Я верно изложил ситуацию?

— Во всяком случае, — осторожно сказал Нунан, —

последние три месяца утечка материалов из Зоны через Мармонт прекратилась... Во всяком случае, по моим сведениям, — добавил он.

— Противник отступил, не так ли?

— Ну если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.

— Не так! — сказал господин Лемхен. — Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.

«Да провались они, твои награды, — думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. — На чердак я твои награды вешал. Тоже мне моралист, воспитатель, — я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело, нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно: где, как и что я прошлепал... что эти негодяи откололи еще... где, как и какие нашли щели... и без предисловий, я тебе не пригодишка сопливый, мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу...»

— Что вы слышали о Золотом шаре? — спросил вдруг господин Лемхен.

«Господи, — с раздражением подумал Нунан. — Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать...»

— Золотой шар есть легенда, — скучным голосом доложил он. — Мифическое сооружение в Зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.

— Любых?

— В соответствии с каноническим текстом легенды — любых. Существуют, однако, варианты...

— Так, — произнес господин Лемхен. — А что вы слышали о «смерть-лампе»?

— Восемь лет назад, — скучным голосом затянул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман и по кличке Очкарик вынес из Зоны некое устройство, представляющее собою, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту. В цене они не сошлись. Очкарик ушел в Зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на

себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.

— Все? — спросил господин Лемхен.

— Все, — ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная, смотреть было не на что.

— Так, — сказал Лемхен. — А что вы слышали о «рачьем глазе»?

— О каком глазе?

— О рачьем. Рак. Знаете? — Господин Лемхен постриг воздух двумя пальцами. — С клешнями.

— В первый раз слышу, — сказал Нунан.

— Ну а что вы знаете о «гремучих салфетках»?

Нунан слез со стола и встал перед Лемхеном, засунув руки в карманы.

— Ничего не знаю, — сказал он. — А вы?

— К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о «рачьем глазе», ни о «гремучих салфетках». А между тем они существуют.

— Из моей Зоны? — спросил Нунан.

— Вы сядьте, сядьте, — сказал господин Лемхен, помахивая ладонью. — Наш разговор только начинается. Сядьте.

Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой. «Куда гнет? — лихорадочно думал он. — Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других Зонах, а он меня разыгрывает, скотина. Всегда он меня не любил, старый черт, не может забыть эпиграммки...»

— Продолжим наш маленький экзамен, — объявил Лемхен. Он откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил: — Как поживает старый Барбридж?

— Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается. С Зоной не связан. Содержит четыре бара, веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь, Дина, ведет рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж.

Господин Лемхен удовлетворенно покивал.

— Отчетливо, — похвалил он. — А что поделывает Креон Мальтиец?

— Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой «Квазимодо», теперь сбывает хабар институту, через меня. Я держу его на свободе: когда-ни-

будь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет.

— Контакты с Барбриджем?

— Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.

— Очень хорошо, — сказал господин Лемхен. — А что слышно о Рыжем Шухартё?

— Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался покинуть город, но у него... — Нунан помолчал. — Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до Зоны.

— Все?

— Все.

— Немного, — сказал господин Лемхен. — А как обстоят дела у Счастливого Картера?

— Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от «этаков». Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.

Лемхен покивал.

— Ну, кого из стариков я еще забыл? — добродушно осведомился он.

— Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина...

— Да-да, что Гуталин?

— Гуталин все тот же, — сказал Нунан. — У него группа из трех человек. Неделями пропадают в Зоне. Все, что находят, уничтожают на месте. А его общество Воинствующих ангелов распалось.

— Почему?

— Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в Зону. Дьяволово дьяволу. Теперь скупать нечего, кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.

— Понимаю, — сказал господин Лемхен. — Ну а молодые?

— Что ж, молодые... Приходят и уходят. Есть человек пять-шесть с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю... Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей Зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.

— Да-да, я слышал об этом, — сказал господин Лем-

хен. — Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь?

— Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать,

— Как скоро?

— Лет через пять-шесть...

Господин Лемхен снова покивал.

— Между прочим, вы, наверное, еще не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.

— В моей Зоне? — спросил Нунан, насторожившись.

— И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиное ущелье, на Черное озеро, к подножию Болдерпика...

— Так ведь это же периферия, — сказал Нунан недоверчиво. — Там пусто, что они там могут найти?

— Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается... Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мармонте почти не осталось. Те, что остались, к Зоне больше отношения не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабары нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из Мармонтской Зоны уже три месяца как прекратилась. Так?

Нунан молчал. «Сейчас, — думал он. — Сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видно, пробоина. Ну давай, давай, старая морковка! Не тяни душу...»

— Не слышу ответа, — произнес господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.

— Ладно, шеф, — мрачно сказал Нунан. — Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили, подавайте на стол. Господин Лемхен неопределенно хмыкнул.

— Вам даже нечего мне сказать, — проговорил он с неожиданной горечью. — Ушами вот хлопаєте перед начальством, а каково было мне, когда позавчера... — Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу. — Короче говоря, за последние два месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных Зон. — Он остановился около сейфа, погладил его по крашеному боку и резко повернулся к Нунану. — Не тешьте себя иллюзиями! — заорал он. — Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки пальцев Мальтийца! Отпечатки пальцев Носатого Бен-Галеви,

— Слушаю вас, — сказал Хрипатый.

— Говорит Шухарт, — сказал Рэдрик. — Слушайте внимательно и не перебивайте...

— Шухарт? — очень натурально удивился Хрипатый. — Какой Шухарт?

— Не перебивайте, я говорю! Я попался, бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года два с половиной или три. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю? Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите — берите, хотите — нет, но жена моя чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто... Я вам не советую играть нечисто. Понятно?

— Я все понял, — сказал Хрипатый. — Спасибо. — Потом, помедлив немного, спросил: — Может быть, адвоката?

— Нет, — сказал Рэдрик. — Все деньги до последнего медяка — жене. С приветом.

Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

*3. Ричард Г. Нунан, 51 год,
представитель поставщиков электронного
оборудования при Мармонтском филиале МИВК*

Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивая головой и не слушая посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пильман, лениво делал ему выговор. Или воображал, что делает ему выговор. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему выговор.

— Мы все это учтем, Валентин, — сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного счета чертика и захлопнув блокнот. — В самом деле, безобразие...

Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу.

— И что же именно вы учтете? — вежливо осведомился он,

— Все, что вы сказали, — весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. — До последнего слова.

— А что я сказал?

— Это несущественно, — произнес Нунан. — Что бы вы ни сказали, все будет учтено.

Валентин (доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее) сидел перед ним в глубоком кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке ни пятнышка, на подтянутых брюках ни морщинки, ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах ехидная улыбочка, огромные черные очки скрывают глаза, над широким низким лбом черные волосы жестким ежиком.

— По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалованье, — сказал он. — Мало того, по-моему, вы еще и саботажник, Дик.

— Чш-ш-ш! — произнес Нунан шепотом. — Ради бога, не так громко.

— В самом деле, — продолжал Валентин. — Я довольно давно слежу за вами: по-моему, вы совсем не работаете...

— Одну минутку! — прервал его Нунан и помахал розовым толстым пальцем. — Как это — не работаю? Разве хоть одна рекламация осталась без последствий?

— Не знаю, — сказал Валентин и снова стряхнул пепел. — Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще, а при чем здесь вы — не знаю.

— А вот если бы не я, — возразил Нунан, — хорошее бы приходило реже. Кроме того, вы, ученые, все время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации, и кто вас тогда покрывает? Вот, например...

Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.

— Мистер Нунан? — спросила секретарша. — Вас снова господин Лемхен.

— Соединяйте.

Валентин поднялся, положил потухший окурок в пепельницу, в знак прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел, маленький, прямой, складный.

— Мистер Нунан? — раздался в трубке знакомый медлительный голос.

— Слушаю вас.

— Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.

— Пришла новая партия...

— Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго, есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Имеются в виду последние контракты «Мицубиси дэнси». Юридическая сторона.

— К вашим услугам.

— Тогда, если вы не возражаете, минут через тридцать в конторе нашего отделения. Вас устраивает?

— Вполне. Через тридцать минут.

Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошелся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же дал петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приемную.

— Детка, — сказал он секретарше, — меня понесло по клиентам. Оставляйтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку.

Секретарша расцвела. Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам института. Несколько раз его пытались поймать за полу — он увертывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться и, в конце концов так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного.

Над городом висели низкие тучи, парило, первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлек черную круглую палочку «этака», вставил ее в аккумуляторное гнездо и задвинул большим пальцем до щелчка. Потом, поерзав задом, он поудобнее устроился за рулем и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника.

Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. «Итак, рапорт получен, — думал он. — Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно когда хвалит сам господин Лемхен. Странное дело, почему это нам нра-

вится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? «Он прославился: теперь о нем знали трое». Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человек... Похоже, мы любим похвалу, как таковую. Как детишки — мороженое. Комплекс неполноценности это, вот что. Похвала тешит наши комплексы. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что я, сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А кстати, что такое это Г? Вот тебе и на! И спросить не у кого... Не у господина же Лемхена спрашивать... А, вспомнил! Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льет...»

Он вывернул на Центральный проспект и подумал: «До чего вырос городишко за последние годы. Экие небоскребы отгрохали... Вон еще один строят. Это что же у нас будет? А, луна-комплекс — лучшие в мире джазы и публичный дом, все для нашего доблестного гарнизона, и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки... А окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойникам».

— Восставшим из могил пути домой закрыты, поэтому они печальны и сердиты, — произнес он вслух.

«Да, хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, десять лет назад я совершенно точно знал, чем это все должно кончиться. Непреодолимые кордоны. Пояс пустоты шириной в пятьдесят километров. Ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво... И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты... А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. «С одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не согласиться». А началось это, кажется, когда вынесли из Зоны первые «этаки». Батарейки... Да, кажется, с этого и началось. Особенно, когда открылось, что они размножаются. Язва оказалась не такой уж и язвой, и даже не язвой вовсе, а вроде бы сокровищницей... А теперь уже никто и не знает, что это такое — язва ли, сокровищница, адский соблазн, шкатулка Пандоры, черт, дьявол... Пользуются помаленьку. Двадцать лет пыхтят, миллиарды ухлопали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом веща-

ют: с одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом восемнадцать градусов, испускает квази-тепловые электроны под углом двадцать два градуса... К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить...»

Машина покатила мимо особняка Стервятника Барбриджа. Во всех окнах по случаю проливного дождя горел свет, видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах Дины, движутся танцующие пары. Не то спозаранку начали, не то со вчерашнего никак кончить не могут. Мода такая пошла по городу — сутками напролет. Крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях...

Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корш, Корш и Саймак». Он вынул и спрятал в карман «этак», снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное — мимо швейцара, углубленного в газету, по лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время напрасно тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет.

Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное лицо его собралось в складочки, обозначающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть, с трудом обуздываемое желание чихнуть.

— Ну вот и вы, — медлительно проговорил он. — Входите, располагайтесь.

Нунан поискал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жесткого стула с прямой спинкой, упрятанного за стол. Тогда он присел на край стола. Веселое настроение его начало почему-то улету-

чиваться — он и сам не понимал еще почему. Вдруг ему стало ясно, что хвалить его не будут. Скорее наоборот. День гнева, философски подумал он и приготовился к худшему.

— Закуривайте, — предложил господин Лемхен, снова опускаясь в кресло.

— Спасибо, не курю.

Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения, соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.

— Полагаю, юридические дела фирмы «Мицубиси дэнси» мы обсуждать с вами не будем, — проговорил он наконец.

Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал:

— Как вам будет угодно.

Сидеть на столе было чертовски неудобно, ноги не доставали до полу, резало зад.

— С сожалением должен сообщить вам, Ричард, — сказал господин Лемхен, — что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.

— Гм... — произнес Нунан. «Начинается», — подумал он.

— Вас даже собирались представить к ордену, — продолжал господин Лемхен, — однако я предложил повременить. И правильно сделал. — Он наконец оторвался от созерцания фигуры из десяти пальцев и посмотрел исподлобья на Нунана. — Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность.

— Наверное, у вас были к тому основания, — скучным голосом сказал Нунан.

— Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована. Вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с полным составом. Блестящая работа. Тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было, все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понес большие потери. Я верно изложил ситуацию?

— Во всяком случае, — осторожно сказал Нунан, —

последние три месяца утечка материалов из Зоны через Мармонт прекратилась... Во всяком случае, по моим сведениям, — добавил он.

— Противник отступил, не так ли?

— Ну если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.

— Не так! — сказал господин Лемхен. — Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.

«Да провались они, твои награды, — думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. — На чердак я твои награды вешал. Тоже мне моралист, воспитатель, — я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело, нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно: где, как и что я прошлепал... что эти негодяи откололи еще... где, как и какие нашли щели... и без предисловий, я тебе не готовишка сопливый, мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу...»

— Что вы слышали о Золотом шаре? — спросил вдруг господин Лемхен.

«Господи, — с раздражением подумал Нунан. — Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать...»

— Золотой шар есть легенда, — скучным голосом доложил он. — Мифическое сооружение в Зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.

— Любых?

— В соответствии с каноническим текстом легенды — любых. Существуют, однако, варианты...

— Так, — произнес господин Лемхен. — А что вы слышали о «смерть-лампе»?

— Восемь лет назад, — скучным голосом затанул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман и по кличке Очкарик вынес из Зоны некое устройство, представляющее собою, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту. В цене они не сошлись. Очкарик ушел в Зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на

себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.

— Все? — спросил господин Лемхен.

— Все, — ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная, смотреть было не на что.

— Так, — сказал Лемхен. — А что вы слышали о «рачьем глазе»?

— О каком глазе?

— О рачьем. Рак. Знаете? — Господин Лемхен постриг воздух двумя пальцами. — С клешнями.

— В первый раз слышу, — сказал Нунан.

— Ну а что вы знаете о «гремучих салфетках»?

Нунан слез со стола и встал перед Лемхеном, засунув руки в карманы.

— Ничего не знаю, — сказал он. — А вы?

— К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о «рачьем глазе», ни о «гремучих салфетках». А между тем они существуют.

— Из моей Зоны? — спросил Нунан.

— Вы сядьте, сядьте, — сказал господин Лемхен, помахивая ладонью. — Наш разговор только начинается. Сядьте.

Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой. «Куда гнет? — лихорадочно думал он. — Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других Зонах, а он меня разыгрывает, скотина. Всегда он меня не любил, старый черт, не может забыть эпиграммы...»

— Продолжим наш маленький экзамен, — объявил Лемхен. Он откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил: — Как поживает старый Барбридж?

— Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается. С Зоной не связан. Содержит четыре бара, веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь, Дина, ведет рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж.

Господин Лемхен удовлетворенно покивал.

— Отчетливо, — похвалил он. — А что поделывает Креон Мальтиец?

— Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой «Квазимодо», теперь сбывает хабар институту, через меня. Я держу его на свободе: когда-ни-

будь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет.

— Контакты с Барбриджем?

— Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.

— Очень хорошо, — сказал господин Лемхен. — А что слышно о Рыжем Шухартё?

— Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался покинуть город, но у него... — Нунан помолчал. — Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до Зоны.

— Все?

— Все.

— Немного, — сказал господин Лемхен. — А как обстоят дела у Счастливого Картера?

— Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от «этаков». Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.

Лемхен покивал.

— Ну, кого из стариков я еще забыл? — добродушно осведомился он.

— Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина...

— Да-да, что Гуталин?

— Гуталин все тот же, — сказал Нунан. — У него группа из трех человек. Неделями пропадают в Зоне. Все, что находят, уничтожают на месте. А его общество Воинствующих ангелов распалось.

— Почему?

— Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в Зону. Дьяволово дьяволу. Теперь скупать нечего, кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.

— Понимаю, — сказал господин Лемхен. — Ну а молодые?

— Что ж, молодые... Приходят и уходят. Есть человек пять-шесть с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю... Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей Зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.

— Да-да, я слышал об этом, — сказал господин Лем-

хен. — Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь?

— Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать.

— Как скоро?

— Лет через пять-шесть...

Господин Лемхен снова покивал.

— Между прочим, вы, наверное, еще не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.

— В моей Зоне? — спросил Нунан, насторожившись.

— И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиное ущелье, на Черное озеро, к подножию Болдерпика...

— Так ведь это же периферия, — сказал Нунан недоверчиво. — Там пусто, что они там могут найти?

— Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается... Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мармонте почти не осталось. Те, что остались, к Зоне больше отношения не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из Мармонтской Зоны уже три месяца как прекратилась. Так?

Нунан молчал. «Сейчас, — думал он. — Сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видно, пробоина. Ну давай, давай, старая морковка! Не тяни душу...»

— Не слышу ответа, — произнес господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.

— Ладно, шеф, — мрачно сказал Нунан. — Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили, подавайте на стол. Господин Лемхен неопределенно хмыкнул.

— Вам даже нечего мне сказать, — проговорил он с неожиданной горечью. — Ушами вот хлопаєте перед начальством, а каково было мне, когда позавчера... — Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу. — Короче говоря, за последние два месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных Зон. — Он остановился около сейфа, погладил его по крашеному боку и резко повернулся к Нунану. — Не тешьте себя иллюзиями! — заорал он. — Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки пальцев Мальтийца! Отпечатки пальцев Носатого Бен-Галеви,

о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть. Отпечатки пальцев Гундосого Гереша и Карлика Цмыги! Так-то вы приручаете вашу молодежь? «Браслеты!» «Иголки!» «Белые вертячки!» И мало того, какие-то «рачьи глаза», какие-то «птичьи погремушки», «гремучие салфетки», черт бы их подрал! — Он снова оборвал себя, вернулся в кресло, опять соединил пальцы и вежливо спросил: — Что вы об этом думаете, Ричард?

Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.

— Ничего не думаю, — просипел он честно. — Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться... Барбридж! Барбридж не имеет никакого отношения к Зоне! Я знаю каждый его шаг! Он устраивает попойки и пикники на озерах, он зашибает хорошие деньги, и ему просто не нужно... Простите, я чепуху, конечно, говорю, но уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы...

— Я вас больше не задерживаю, — сказал господин Лемхен. — Даю неделю сроку. Представьте соображения, каким образом материалы из вашей Зоны попадают в руки Барбриджа... и всех прочих. До свидания.

Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхена и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приемную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана — глаза у него были пустые, обращенные внутрь.

Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошел вон. «Такого со мной, пожалуй, еще не бывало, — беспорядочно думал он. — Надо же, Носатый Бен-Галеви! Кличку уже успел заработать!.. Когда? Этакий шибздик... мальчишка... Нет, все это не то... Ах ты животное, безногая скотина... Стервятник! Как же ты меня уел!.. Прямо как тогда, в Сингапуре, этот самый... как его... — мордой об стол, затылком об стену...»

Он сел в автомобиль и некоторое время, ничего не соображая, шарил по щитку в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени, он снял ее и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану представлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что

ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане «этак». Вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, чтоб он треснул, и вставить в приемное гнездо, и тогда можно будет, по крайней мере, куда-нибудь поехать — подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква...

Рука Нунана с «этаким» замерла на полпути. «Так. С кого начать — я, по крайней мере, знаю. Вот с него и начну. Ох, как я с него начну! Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием. — Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти ничего не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь. — Ничего. Пусть как в Сингапуре. В конце концов, в Сингапуре ведь все кончилось благополучно... Подумаешь, мордой об стол разок! Могло быть и хуже. Могло быть не мордой и не об стол, а об что-нибудь с гвоздями... Ладно, не будем отвлекаться. Где тут мой дворец? Не видно ни черта... Ага, вот он».

Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой «Метрополь». Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, еще без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась Мадам — пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле еще даже не убрали после вчерашнего. Когда Нунан вошел, Мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.

— Хо! — пробасила она. — Никак сам господин Нунан! По девочкам соскучились?

Бенни продолжал есть, он был глух как пень.

— Привет, старушка! — отозвался Нунан, подходя. — Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?

Бенни наконец заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.

— Здравствуйте, хозяин, — прохрипел он. — Обсудиться зашли?

Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не лю-

бил разговаривать с Бенни: все время приходилось орать.

— Где мой управляющий, ребята? — спросил он.

— У себя, — ответила Мадам. — Завтра налоги платить.

— Ох, уж эти налоги, — сказал Нунан. — Ладно. Мадам, попрошу приготовить мне любимое, я скоро вернусь.

Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь.

Мосол Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. И горюшка ему не было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка с мазью и стакан с прозрачной жидкостью. Мосол Канаша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал этого прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал:

— Закрой-ка дверь на ключ, голубчик.

Мосол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щелкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой возвышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан все рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Мосола Канаша — Рафаэль. Мослом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные и голые, торчащие из густой шерсти, покрывающей его руки, словно из манжет. Канашей же он называл себя сам в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.

— Как дела? — спросил он ласково.

— В полном порядке, босс, — поспешно отвечал Рафаэль Мосол.

— Тот скандал уладил в комендатуре?

— Сто пятьдесят монет выложил. Все довольны.

— Сто пятьдесят с тебя, — сказал Нунан. — Твоя вина, голубчик. Надо было следить.

Мосол сделал несчастное лицо и с покорностью развел огромные ладони.

— Паркет в холле надо бы перестелить, — сказал Нунан.

— Будет сделано.

Нунан помолчал, топорща губы.

— Хабар? — спросил он, понизив голос.

— Есть немножко, — тоже понизив голос, произнес Мосол.

— Покажи.

Мосол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке «черных брызг», взял «браслет», оглядел его со всех сторон и положил обратно.

— Это все? — спросил он.

— Не несут, — виновато сказал Мосол.

— Не несут.... — повторил Нунан.

Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Мослу в голень. Мосол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули в зад, схватил Мосла за воротник сорочки и пошел на него, лягаясь и вращая глазами. Мосол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.

— На две стороны работаешь, голубчик? — шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза. — Стервятник в хабаре купается, а ты мне бусики в бумажечке подносишь?.. — Он развернулся и ударил Мосла по лицу, стараясь зацепить нос с болячкой. — В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь... Жалеть будешь, что на свет родился! — Он снова с размаху ткнул кулаком в болячку. — Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь? Говори!

Мосол беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.

— Ну? — сказал он.

Мосол с хлопаньем втянул носом кровь и сказал:

— Ей-богу, босс... Чего вы? Какой у Стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету...

— Ты что, спорить со мной будешь? — ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.

— Да нет, босс... Ей-богу... — заторопился Мосол. — Да лопни мои глаза! Какое там спорить! И в мыслях этого нету...

— Вышвырну я тебя, — мрачно произнес Нунан. —

Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак десятков наберу. Мне настоящий человек нужен при деле.

— Погодите, босс, — рассудительно сказал Мосол, размазывая кровь по морде. — Что это вы сразу, с налету... Давайте все-таки разберемся... — Он осторожно потрогал болячку кончиками пальцев. — Хабару, говорите, много у Барбриджа? Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Ни у кого сейчас хабару нет. В Зону ведь одни сопляки ходят, так они же не возвращаются. Нет, босс, это вам кто-то заливает...

Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Мосол действительно ничего не знает. Да ему и невыгодно было врать — на Стервятнике много не заработаешь.

— Эти пикники — выгодное дело? — спросил он.

— Пикники? Да не так чтобы очень. Лопатой не загребешь... Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось...

— Где эти пикники устраиваются?

— Устраиваются где? Так в разных местах. У Белой Горы, на Горячих источниках бывают, на Радужных озерах...

— А какая клиентура?

— Клиентура какая? — Мосол снова потрогал болячку, посмотрел на пальцы и сказал доверительно: — Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против Стервятника вам здесь не по светит.

— Это почему же?

— У Стервятника клиентура: голубые каски — раз. — Мосол принялся загибать пальцы. — Офицеры из комендатуры — два, туристы из «Метрополя», из «Белой Лилии», из «Пришельца»... это три. Потом у него уже реклама поставлена, местные ребята тоже к нему ходят... Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться.

— Местные тоже к нему ходят?

— Молодежь в основном.

— Ну и что там на пикниках делается?

— Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музыка... Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на Зону смотреть — ежели у Горячих источников, то до Зоны там рукой подать, прямо за Серной расщелиной... Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они и смотрят в бинокли...

— А местные?

— Местные? Местным это, конечно, неинтересно... Так, развлекаются кто как умеет...

— А Барбридж?

— Так а что Барбридж? Как все, так и Барбридж...

— А ты?

— А что я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и... это... ну, там... Ну, как все в общем.

— И сколько это все продолжается?

— Когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.

— И сколько это удовольствие стоит? — спросил Нунан, думая совсем о другом. Мосол ответил что-то, Нунан его не слышал. «Вот она, прореха, — думал он. — Несколько суток... несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью... И все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина... Нет, тут что-то не то...»

— Кто из местных ездит постоянно?

— Из местных? Так я ж говорю — больше молодежь. Ну там Галеви, Ражба... Куренок Цафа... этот... Цмыга... Ну, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что, говорят, посетим «воскресную школу»? Они там в основном насчет пожилых баб, неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы...

— «Воскресная школа», — повторил Нунан.

Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. Школа. Он поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Бог с ними, с пикниками. Это не для нас. Но чтоб ты знал: у Стервятника есть хабар, а это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Мосол, ищи, а то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар, кто ему доставляет, выясни все и давай на двадцать процентов больше, чем он. Понял?

— Понял, босс. — Мосол уже тоже стоял — руки по швам, на измазанной морде преданность.

— Да поворачивайся, мозгами шевели, животное! — заорал вдруг Нунан и вышел.

В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с Мадам насчет падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение, и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни, — стар становится мужик, слуха нет, реакция уже не та, не поспевает, как рань-

ше... Было уже шесть часов, хотелось есть, а в мозгу все сверлила, все крутила неожиданная мыслишка, ни с чем не сообразная и в то же время многое объясняющая. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось, исчез с этого дела раздражающий и пугающий налет мистики, осталась только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности, но главное-то было не в этом, главное было в этой мыслишке, которая все крутилась и крутилась и не давала покоя.

Попрощавшись с Мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал напрямик в «Боржч». «Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы, — думал он. — Плевать на годы — мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, все меняется, нас с детства учат, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры — оснащенные кибернетикой. Старый сталкер был грязным угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по Зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт при галстукке, инженер, сидит где-нибудь в километре от Зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалованье. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности — «воскресная школа», например».

И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. «Боже мой, — подумал он. — Ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару, — подумал он с ужасом. — Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы Посещения, было бы что-нибудь другое...»

В «Боржче» было много света и очень вкусно пахло. «Боржч» тоже изменился — ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует, и Рэдрик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха, дорвалась: солидная по-

стоянная клиентура, весь институт сюда ходит обедать, да и старшие офицеры — уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня.

В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел над чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.

— Разрешите соседствовать? — спросил он.

Валентин поднял на него черные окуляры.

— А, — сказал он. — Прощу.

— Сейчас, только руки помою, — сказал Нунан, вспомнив вдруг болячку.

Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояла маленькая жаровня с дымящимся шураско и высокая кружка пива — не холодного и не теплого, как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе.

— Слушайте, Валентин, — сказал Нунан, отрезая кусочек мяса. — Как вы думаете, чем все это кончится?

— Вы о чем?

— Посещение, Зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы — вся эта куча... Чем все это может кончиться?

Валентин долго смотрел на него слепыми черными стеклами. Потом он закурил сигарету и сказал:

— Для кого? Конкретизируйте.

— Ну, скажем, для человечества в целом.

— Это зависит от того, повезет нам или нет, — сказал Валентин. — Мы теперь знаем, что для человечества в целом Посещение прошло в общем бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Но, конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет невезение. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. — Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся. — Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом слишком стационарная система, ее ничем не преймешь.

— Вы так думаете? — разочарованно произнес Нунан. — Что ж, может быть и так...

— Скажите по чести, Ричард, — явно развлекаясь, сказал Валентин. — Вот для вас, дельца, что изменилось с Посещением? Вот вы узнали, что во Вселенной

есть еще, по крайней мере, один разум, помимо человеческого. Ну и что?

— Да как вам сказать? — промямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чем здесь было разговаривать. — Что для меня изменилось... Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то. Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова и им взбредет в голову остаться? Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос: кто они, как они живут, что им нужно... В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? — Он оживился. — А если мы все окажемся ненужными? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они, что им было нужно, вернутся или нет...

— Ответы существуют, — сказал Валентин, усмехаясь. — Их даже очень много, выбирайте любой.

— А сами вы что считаете?

— Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьезно. Для меня Посещение — это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущее технологии. Н-ну, как если бы Исааку Ньютону попал бы в лабораторию современный квантовый генератор...

— Ньютон бы ничего не понял.

— Напрасно вы так думаете. Ньютон был очень проницательный человек.

— Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы все-таки толкуете Посещение? Пусть даже несерьезно...

— Хорошо, я вам скажу. Только я должен предупредить вас, Ричард, что ваш вопрос находится в компетенции псевдонауки под названием ксенология. Ксенология — это некая неестественная помесь научной фантастики с формальной логикой. Основой ее метода является порочный прием — навязывание инопланетному разуму человеческой психологии.

— Почему порочный? — сказал Нунан.

— А потому, что биологи в свое время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Зёмных животных, заметьте.

— Позвольте, — сказал Нунан. — Это совсем другое

дело. Ведь мы говорим о психологии разумных существ...

— Да. И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум.

— А разве мы не знаем? — удивился Нунан.

— Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения: «Разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных». Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например: «Разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки».

— Да, это про нас, — согласился Нунан.

— К сожалению. Или, скажем; определение-гипотеза. Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно вымерем, — опять же именно потому, что разучимся совершать ошибки, то есть пробовать разные, не предусмотренные жесткой программой варианты.

— Как-то это все у вас получается... унинительно.

— Пожалуйста, тогда еще одно определение — очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира.

Нунан сморщился и замотал головой.

— Нет, — сказал он. — Это уж слишком... Ну а как насчет того, что человек — это в отличие от животных существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал.

— Я тоже, — сказал Валентин. — Но вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не

узнавая... Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл.

— Погодите, — сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол. — Не отвлекайтесь. Давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?

— Представления не имею, — сказал Валентин, веселясь. — Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот: если они разумны, они способны к контакту. И вообще, если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно. Вот так.

— Вот тебе и на, — сказал Нунан. — А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам...

— Разложить по полочкам и обезьяна может, — заметил Валентин.

— Нет, погодите, — сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. — Но если вы таких простых вещей не знаете... Ладно, бог с ним, с разумом. Но насчет Посещения? Что вы все-таки думаете насчет Посещения?

— Пожалуйста, — сказал Валентин. — Представьте себе пикник...

Нунан вздрогнул.

— Как вы сказали?

— Пикник. Представьте себе: лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина, из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты... Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте... ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки,

пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочный нож, старые драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян...

— Я понял, — сказал Нунан. — Пикник на обочине.

— Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете: вернутся они или нет?

— Дайте-ка мне закурить, — сказал Нунан. — Как-то я все это не так себе представлял.

— Это ваше право, — заметил Валентин.

— Значит, что же — они нас даже и не заметили?

— Почему?

— Ну, не обратили на нас внимания...

— Знаете, я бы на вашем месте не огорчился, — посоветовал Валентин.

Нунан затаился, закашлялся, бросил сигарету.

— Все равно, — сказал он упрямо. — Не может быть... Черт бы вас, ученых, подрал! Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его все время стремитесь принизить?..

— Подождите, — сказал Валентин. — Послушайте. «Вы спросите меня: чем велик человек? — процитировал он. — Что создал вторую природу? Что привел в движение силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее».

Наступило молчание. Нунан думал.

— Может быть... — сказал он неуверенно. — Конечно, если с этой точки зрения...

— Да вы не огорчайтесь, — благодушно сказал Валентин. — Пикник — это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картина... Так называемые серьезные ксенологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого Посещения не было, что Посещение еще только будет. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это?

— Это уже значительно лучше, — сказал Нунан. — Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.

— Или вот. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в Зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к «жестоким чудесам грядущего».

— Вот это я понимаю! — сказал Нунан. — По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Между прочим, ваш пикник эту возню не объясняет.

— Почему же не объясняет? — возразил Валентин. — Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка...

— Ну, это вы бросьте, — решительно сказал Нунан. — Ничего себе медвежонок — земля трясется... Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия! Эй, старуха! Два пива господам ксенологам!.. А все-таки приятно с вами побеседовать, — сказал он Валентину. — Этакое прочищение мозгов, словно английской соли насыпали под черепушку. А то вот работаешь-работаешь, а зачем, для чего, что будет, что случится, чем сердце успокоится...

Принесли пива. Нунан отхлебнул, глядя поверх пены, как Валентин с выражением брезгливого сомнения рассматривает свою кружку.

— Что, не нравится? — спросил он, облизывая губы.

— Да я, собственно, не пью, — сказал Валентин.

— Ну да? — поразился Нунан.

— А в чем дело? — сказал Валентин. — Должен же в этом мире быть хоть один непьющий... — Он решительно отодвинул кружку. — Закажите мне лучше коньяку, раз так, — сказал он.

— Розалия! — немедленно рывкнул вконец развеселившийся Нунан.

Когда принесли коньяк, он сказал:

— И все-таки так нельзя. Я уж не говорю про ваш пикник, но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Я понимаю — «браслеты», «пустышки»... Но «ведьмин-то студень» зачем? «Комариные плеши», пух этот отвратительный...

— Простите, — сказал Валентин, выбирая ломтик лимона. — Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?

Нунан засмеялся.

— Это фольклор, — пояснил он. — Рабочий жаргон сталкеров. «Комариные плеши» — это области повышенной гравитации.

— А, гравиконцентраты... Направленная гравитация. Вот об этом я бы поговорил с удовольствием, но вы ничего не поймете.

— Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер...

— Потому что я сам не понимаю, — сказал Валентин. — У меня есть система уравнений, но, как их истолковать, я представления не имею. ...А «ведьмин студень» — это, вероятно, коллоидный газ?

— Он самый. Слыхали о катастрофе в Карриганских лабораториях?

— Слыхал кое-то, — неохотно отозвался Валентин.

— Эти умники поместили фарфоровый контейнер со «студнем» в специальную камеру, предельно изолированную... то есть это они думали, что камера предельно изолирована... а когда они открыли контейнер манипуляторами, «студень» пошел через металл и пластик, как вода через промокашку, вырвался наружу, и все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в «студень». Погибло тридцать пять человек, больше ста изувечено, а все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Великолепное сооружение! А теперь «студень» стек в подвалы и в нижние этажи... Вот вам и прелюдия к контакту.

Валентин весь сморщился.

— Да, я знаю все это, — сказал он. — Однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании военно-промышленных комплексов?

— А следовало бы знать, — назидательно ответил Нунан.

— А они сказали бы вам на это: следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.

— И то верно, — согласился Нунан. — Вот бы они и занялись, раз такие могучие.

— То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?

— Гм, — сказал Нунан. — Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну вот, например, вы, ученые. Надеемся вы получите из Зо-

ны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни?

Валентин допил рюмку и пожал плечами.

— Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Если исходить из того, что мы уже получили, впереди целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.

— Розалия, еще коньяку! — крикнул Нунан. — Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?

— Как это ни забавно, довольно мало. Мы обнаружили много чудес. В некоторых случаях мы научились даже использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним... Обезьяна нажимает красную кнопку — получает банан, нажимает белую — апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Возьмем, скажем, «этаки». Мы научились ими пользоваться. Мы открыли даже условия, при которых они размножаются делением. Но мы до сих пор не сумели сделать ни одного «этака», не понимаем, как они устроены, и, судя по всему, разберемся во всем этом нескоро... Я бы сказал так. Есть объекты, которым мы нашли применение. Мы используем их, хотя почти наверняка не так, как их используют пришельцы. Я совершенно уверен, что в подавляющем большинстве случаев мы забиваем микроскопами гвозди. Но все-таки мы применяем: «этаки», «браслеты», стимулирующие жизненные процессы... различные типы квазибиологических масс, которые произвели такой переворот в медицине... Назовем эту группу объектов полезными. Можно сказать, что в какой-то степени человечество ими облагодетельствовано, хотя никогда не следует забывать, что в нашем евклидовом мире всякая палка имеет два конца...

— Минеральные удобрения! — вставил Нунан.

Валентин отхлебнул из рюмки, покивал.

— Вот именно. Осрамились мы с минеральными удобрениями. Или, скажем, применение «этаков» в военной промышленности... Я не об этом. Действие каждого полезного объекта нами более или менее изучено, более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологи-

ей, но лет через пятьдесят мы сами научимся изготавливать эти королевские печати и тогда вволю будем колоть ими орехи. Сложнее обстоит дело с другой группой объектов, сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Например, магнитные ловушки разных типов. Мы понимаем, что это магнитная ловушка. Кирилл Панов это очень остроумно доказал. Но мы не понимаем, где источник такого мощного магнитного поля, в чем причина его сверхустойчивости... ничего не понимаем. Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или К-23... Как вы их называете, эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?

— «Черные брызги», — сказал Нунан.

— Вот-вот, «черные брызги»... Хорошее название... Ну вы знаете про их свойства. Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой, причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего... Что это такое? Почему? Есть безумная идея, будто эти ваши «черные брызги» суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наше, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства... — Валентин вытащил сигарету и закурил. — Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. Это свалившиеся с неба ответы на вопросы, которые мы еще не умеем задать. Упомянутый выше сэр Исаак, может быть, и не разобрался бы в лазере, но он, во всяком случае, понял бы, что такая вещь возможна, и это очень сильно повлияло бы на его научное мировоззрение. Я не буду вдаваться в подробности, но существование таких объектов, как магнитные ловушки, К-23, «белое кольцо», разом зачеркнуло целое поле недавно процветавших теорий и вызвало к жизни совершенно новые идеи. А ведь есть еще третья группа...

— Да, — сказал Нунан. — «Ведьмин студень» и прочее...

— Нет-нет. Все это следует отнести либо к первой,

либо ко второй группе. Я имею в виду объекты, о которых мы знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. «Бродяга Дик», «веселые призраки»... Машина желаний.

— Минуточку, минуточку, — сказал Нунан. — Это еще что такое?

Валентин засмеялся.

— Видите, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. «Бродяга Дик» — это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А «веселые призраки» — это некая опасная турбулентция, имеющая место в некоторых районах Зоны.

— Первый раз слышу, — сказал Нунан. — А Машина желаний, надо понимать, это пресловутый Золотой шар... Вы верите в Золотой шар, господин ученый?

Валентин пожал плечами.

— Я допускаю, что где-то в Зоне есть нечто округлое и золотистое. Я допускаю, что оно улавливает наши биотоксиканты и способно выполнять простейшие пожелания — утолять голод, жажду... Современного бионика такие штучки не удивят... Но я не об этом... Вы понимаете, Ричард, мы ковыряемся в Зоне два десятка лет, но мы не знаем и тысячной доли того, что она содержит. А если уж говорить о воздействии Зоны на человека... Вот, кстати, тут нам придется ввести в классификацию еще одну, четвертую группу. Уже не объектов, а воздействий. Эта группа изучена безобразно плохо, хотя фактов накопилось, на мой взгляд, более чем достаточно. Вы знаете, Ричард, я физик и, следовательно, скептик. Но и меня иногда мороз продирает по коже, когда я думаю об этих фактах.

— «Живые покойники», — пробормотал Нунан.

— Да нет. «Живые покойники» — это загадочно, но не более того. Как бы это сказать... Это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, внебиологические явления...

— А, вы имеете в виду переселенцев...

— Вот именно. Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайностями. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная...

Валентин слегка охмелел. Он стал говорить громче, щеки его порозовели, а брови над черными окулярами высоко задрались, смятая лоб в гармошку.

— Розалия! — гаркнул вдруг он. — Еще коньяку! Большую рюмку!

— Люблю непьющих, — с уважением сказал Нунан.

— Не отвлекайтесь! — сказал Валентин строго. — Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. — Он принял рюмку, разом отхлебнул половину и продолжал: — Мы не знаем, что произошло с бедными мармонтцами в самый момент Посещения. Но вот один из них решил переселиться. Какой-нибудь обыкновеннейший обыватель. Парикмахер. Сын парикмахера и внук парикмахера. Он переезжает, скажем, в Детройт. Открывает парикмахерскую, и начинается невообразимый бред. Более девяноста процентов его клиентуры погибает на протяжении года: гибнут в автомобильных катастрофах, вываливаются из окон, вырезаются гангстерами и хулиганами, тонут на мелких местах и так далее и так далее. Мало того. Число коммунальных катастроф в Детройте возрастает. В два раза чаще возникают пожары от неисправности электросети. В три раза увеличивается количество автомобильных аварий. В два раза возрастает смертность от эпидемий гриппа. Мало того. Возрастает количество стихийных бедствий в Детройте и его окрестностях. Откуда-то берутся смерчи и тайфуны, которых в этих местах и не видывали с тысяча семьсот забытого года. Разверзаются хляби небесные, и озеро Мичиган, или Эрио, или где там стоит Детройт, выходит из берегов... Ну и все в таком же роде. И такие катаклизмы происходят в любом городе, в любой местности, где оседает переселенец из районов Посещения, и количество этих катаклизмов прямо пропорционально числу переселенцев, поселившихся в данном месте. И заметьте, подобное действие оказывают только те переселенцы, которые пережили само Посещение. Родившиеся после Посещения на статистику несчастных случаев никакого влияния не оказывают. Вы прожили десять лет, но вы приехали после Посещения, и вас без опаски можно селить хоть в Ватикане. Как объяснить такое? От чего нужно отказаться — от статистики? Или от здравого смысла? — Валентин схватил рюмку и залпом допил ее.

Ричард Нунан почесал за ухом.

— М-да, — сказал он. — Я вообще-то наслышан о таких вещах, но я, честно говоря, всегда полагал, что все это несколько преувеличено. Действительно, с точки зрения нашей могучей позитивистской науки...

— Или, скажем, мутагенное воздействие Зоны, — прервал его Валентин. Он снял очки и уставился на Нунана черными подслеповатыми глазами. — Все люди, которые достаточно долго общаются с Зоной, подвергаются изменениям как фенотипическим, так и генотипическим. Вы знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. Почему? Где мутагенный фактор? Радиации в Зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в Зоне хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. Что же мне в таких условиях — в колдовство начать верить? В дурной глаз?

— Я вам, конечно, сочувствую в ваших метаниях, — сказал Нунан. — Но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем даже данные статистики. Тем более что данных статистики я никогда не видел, а покойников навидался предостаточно...

Валентин легкомысленно махнул рукой.

— А, покойники ваши... — сказал он. — Слушайте, Ричард, вам не стыдно? Во-первых, никакие это не покойники. Это же муляжи... Чучела... Или можете, если вам нравится, называть их биороботами... Киборгами... Понимаете? Чужой разум, дабы получить исчерпывающую информацию о землянах, создал роботов-андроидов, произведя реконструкцию по скелетам. Нравится вам такое объяснение?.. Уверяю вас, с точки зрения фундаментальных принципов, эти «живые покойники» не более и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы. Просто «этаки» нарушают первый принцип термодинамики, а покойники — второй, вот и вся разница. Все мы в каком-то смысле пещерные люди — ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А между тем нарушение принципа причинности гораздо более страшная вещь, чем целые стада привидений... и всяких там чудовищ Рубинштейна... или Валленштейна?

— Франкенштейна.

— Да, конечно, Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта. Или дочь. — Он вдруг засмеялся. — У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство — автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить... то есть не ходить, конечно... в общем, жить. Отдельно.

--- Нога мумии, — сказал Нунан, глядя на часы. —

А не пора ли нам по домам, Валентин? У меня есть еще одно важное дело.

— Пойдемте, — сказал Валентин. тщетно пытаюсь попасть лицом в оправу очков. — Ф-фу, напоили вы меня, Ричард... — Он взял очки в обе руки и старательно водрузил их на место. — У вас машина?

— Да, я вас завезу.

Они расплатились и направились к выходу. Валентин держался еще более прямо, чем обычно, и то и дело с размаху прикладывал палец к виску, приветствуя знакомых лаборантов, которые с любопытством и изумлением наблюдали за светилом мировой физики. У самого выхода, приветствуя расплывшегося в улыбке швейцара, он сшиб с себя очки, и все трое кинулись их ловить.

— Ф-фу, Ричард... — приговаривал Валентин, влезая в «пежо». — Вы меня без-бож-но напоили. Нельзя же так, черт возьми... Неудобно. У меня завтра эксперимент. Вы знаете, любопытная вещь...

И он принялся рассказывать о завтрашнем эксперименте, то и дело отвлекаясь на анекдоты и повторая: «Напоили... К чертовой матери...» Нунан отвез его в научный городок и сдал с рук на руки жене, которая пришла при виде супруга в веселое негодование.

— Г-гости? Кто? А, профессор Бойд? Очень приятно! Сейчас мы с ним... Ричард! Где вы, Ричард?..

Это Нунан слышал, уже сбегая по лестнице. «А ведь они тоже боятся, — думал он, снова усаживаясь в «пежо». — Боятся, боятся, высоколобые... Да так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы, обыватели, вместе взятые. Ведь мы просто ничего не понимаем, а они, по крайней мере, понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно им туда спускаться, — сердце заходится, но спускаться надо, а как спускаться, что там на дне и, главное, можно ли будет потом выбраться... А мы, грешные, смотрим, так сказать, в другую сторону. Слушай, а может быть, так и надо? Пусть оно идет все своим чередом, а мы уж проживем как-нибудь. Правильно он сказал: самый героический поступок человечества — это то, что оно выжило и намерено выжить дальше... А все-таки черт бы вас подрал, — сказал он пришельцам. — Не могли устроить свой пикник в другом месте. На Луне, например. Или на Марсе. Такая же вы равнодушная банда, как и все, хоть

и научились сворачивать пространство. Пикник, видите ли, устроили. Пикник...»

«Как же мне получше обойтись с моими пикниками? — думал он, медленно ведя «пежо» по ярко освещенным мокрым улицам. — Как бы половчее все это провернуть? По принципу наименьшего действия. Как в механике. На кой черт мне мой такой-сякой инженерный диплом, если я не могу придумать, как мне половчее ущучить эту безногую гиену?»

Он остановил машину перед домом, где жил Рэдрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Потом он вынул «этак», вылез из машины и только тут обратил внимание, что дом выглядит нежилым. Почти все окна были темные, в скверике никого не было, и даже фонари там не горели. Это напомнило ему, что он сейчас увидит, и он зябко поежился. Ему даже пришло в голову, что, может быть, имеет смысл вызвать Рэдрика по телефону и побеседовать с ним в машине или в какой-нибудь тихой пивнушке, но он отогнал эту мысль. По целому ряду причин. «И кроме всего прочего, — сказал он себе, — давай-ка не будем уподобляться всем этим жалким тварям, которые разбежались, как тараканы, ошпаренные кипятком».

Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно не метенной лестнице. Вокруг стояла нежилая тишина, многие двери, выходящие на лестничные площадки, были приотворены или даже распахнуты настежь — из темных прихожих тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Он остановился перед дверью квартиры Рэдрика, пригладил волосы за ушами, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Некоторое время за дверью было тихо, потом там скрипнули половицы, щелкнул замок, и дверь тихонько приоткрылась. Шагов он так и не услышал.

На пороге стояла Мартышка, дочь Рэдрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет, и в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев, но потом она отступила в глубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло.

— Здравствуй, Мария, — сказал он, стараясь говорить как можно ласковее. — Как поживаешь, Мартышка?

Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно

пятилась к дверям в гостиную, глядя на него исподлобья. Похоже, она не узнала его. Да и он, честно говоря, не узнавал ее. «Зона, — подумал он. — Дрянь...»

— Кто там? — спросила Гута, выглядывая из кухни. — Господи, Дик! Где вы пропадали? Вы знаете, Рэдрик вернулся!

Она поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем, переброшенным через плечо, все такая же красивая, энергичная, сильная, только вот подтянуло ее как-то: лицо осунулось, и глаза были какие-то... лихорадочные, что ли?

Он поцеловал ее в щеку, отдал плащ и шляпу и сказал:

— Наслышаны, наслышаны... Все никак не мог выбраться, забежать. Дома он?

— Дома, — сказала Гута. — У него там один... Скоро уйдет, наверное, они давно уже сидят. Проходите, Дик...

Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один. Неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева, ввалившийся безгубый рот, остановившиеся, без блеска глаза...

— А то пойдемте на кухню, — поспешно сказала Гута. — Я там ужин готовлю, заодно поболтаем.

— Да, конечно, — сказал Нунан бодро. — Сколько не виделись...

Они прошли на кухню, Гута сразу же открыла холодильник, а Нунан уселся за стол и огляделся. Как всегда, здесь все было чисто, все блистало, над кастрюльками поднимался пар. Плита была новая, полуавтомат, значит, деньги в доме были.

— Ну как он? — спросил Нунан.

— Да все такой же, — ответила Гута. — Похудел в тюрьме, но сейчас уже отъелся.

— Рыжий?

— Еще бы!

— Злой?

— А как же! Это у него уж до самой смерти.

Гута поставила перед ним стакан «кровавой Мэри» — прозрачный слой водки словно бы висел над слоем томатного сока.

— Не много? — спросила она.

— В самый раз. — Нунан набрал в грудь воздуха

и, зажмурившись, медленно влил в себя смесь. Это было хорошо. Он вспомнил, что, по сути дела, за весь день впервые выпил нечто существенное. — Вот это другое дело, — сказал он. — Теперь можно жить.

— У вас все хорошо? — спросила Гута. — Что вы так долго не заходили?

— Проклятые дела, — сказал Нунан. — Каждую неделю собирался зайти или хотя бы позвонить, но сначала пришлось ехать в Рексополис, потом скандал один начался, потом мне говорят: «Рэдрик вернулся», ладно, думаю, зачем мешать... В общем, завертелся я, Гута. Я иногда спрашиваю себя: чего ради мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?..

Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить, и снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы, как тогда, когда Рэдрика только что осудили и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег, — первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался откуда, но он продолжал приходить, приносил Мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Рэдрика, а потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал, наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь Рыжий вернется, он вам все кости переломает...» — ничего не помогло.

— А как поживает ваша девушка? — спросила Гута.

— Которая?

— Ну, с которой вы заходили тогда... беленькая такая...

— Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Вышла замуж и уволилась.

— Жениться вам надо, Дик, — сказала Гута. — Хотите, невесту найдю?

Нунан хотел было ответить как обычно: «Мартышка вот подрастет...», но вовремя остановился. Сейчас это бы уже не прозвучало.

— Стенографистка мне нужна, а не жена, — провор-

чал он. — Бросайте вы своего рыжего дьявола и идите ко мне в стенографистки. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает...

Бесшумно вошла Мартышка — возникла в дверях, посмотрела на кастрюли и Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.

— Ну что, Мартышка, — сказал бодро Ричард Нунан. — Шоколадку хочешь?

Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетике и протянул девочке. Она не пошевелилась. Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У нее вдруг побелели губы.

— Да, Гута, — все также бодро сказал Нунан. — А я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от института все-таки далеко...

— Она уже почти ничего не понимает, — тихо сказала Гута, и он оборвал себя, взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах.

— Вы вот не спрашиваете, как мы живем, — продолжала она, — и править о делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик, нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь.

— У врача были? — спросил Нунан, не поднимая глаз.

— Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал... — она замолчала.

Он тоже молчал. Не о чем тут было говорить, и не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль: это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту — вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела наших детей и изменяют их по своему образу и подобию. Ему стало зябко, но он тут же вспомнил, что уже читал о чем-то подобном, какой-то покетбук в яркой глянцевиной обложке, и от этого воспоминания ему полегчало. Придумать можно все, что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают.

— А один сказал, что она уже не человек, — говорила Гута.

— Вздор, — глухо сказал Нунан. — Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам прием...

— Это к Мяснику? — Она нервно засмеялась. — Не надо, Дик, спасибо. Это он и сказал. Видно, судьба.

Когда Нунан снова осмелился поднять глаза, Мар-

тышки уже не было, а Гута сидела неподвижно, рот у нее был приоткрыт, глаза пустые, и на сигарете в ее пальцах вырос длинный кривой столбик серого пепла. Тогда он толкнул к ней по столу стакан и проговорил:

— Сделайте-ка мне еще одну порцию, детка... и себе сделайте. И выпьем.

Она уронила пепел, поискала глазами, куда бросить окурок, и бросила в мойку.

— За что? — проговорила она. — Вот я чего не понимаю. Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе...

Нунан подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала — открыла холодильник, достала водку и сок и сняла с полки второй стакан.

— Вы все-таки не отчаивайтесь, — сказал Нунан. — Нет на свете ничего такого, что нельзя исправить. И вы мне поверьте, Гута, у меня очень большие связи. Все, что смогу, я сделаю...

Сейчас он сам верил в то, что говорил, и уже перебирал в уме имена, связи и города, и ему уже казалось, будто о подобных случаях он что-то где-то слышал, и вроде бы все кончилось благополучно, надо только сообразить, где это было и кто лечил, но тут он вспомнил, зачем он сюда пришел, и вспомнил господина Лемхена, и вспомнил, для чего он подружился с Гутой, и ему больше не захотелось думать ни о чем, и он отогнал от себя все связанные мысли, сел поудобнее, расслабился и стал ждать, пока ему поднесут выпивку.

В это время в прихожей послышались шаркающие шаги, постукивание, и отвратительный, особенно сейчас, голос Стервятника Барбриджа прогундосил: «Э, Рыжий! А к твоей бабе, видать, кто-то заглянул, — шляпа... Я б на твоём месте это дело так бы не оставил...» И голос Рэдрика: «Береги протезы, Стервятник. Прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора».

И Барбридж: «Тьфу ты, господи, пошутить уж нельзя!»

И Рэдик: «Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай, мотай, не задерживайся».

Щелкнул замок, и голоса стали тише — очевидно, оба вышли на лестничную площадку. Барбридж что-то сказал вполголоса, и Рэдик ему ответил: «Все, все, поговорили!» Снова ворчание Барбриджа и резкий голос

Рэдрика: «Сказал — все!» Ахнула дверь, простучали быстрые шаги в прихожей, и на пороге кухни появился Рэдрик Шухарт. Нунан поднялся ему навстречу, и они крепко пожали друг другу руки.

— Я так и знал, что это ты, — сказал Рэдрик, оглядывая Нунана быстрыми зеленоватыми глазами. — У-у, растолстел, толстяк! Все загривок в барах нагуливаешь... Эге! Да вы тут, я вижу, весело время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять...

— Да мы еще и не начали, — сказал Нунан. — Мы только собирались. От тебя разве убежишь!

Рэдрик резко засмеялся, ткнул Нунана кулаком в плечо.

— А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит! Я, брат, два года постился, мне, чтоб тебя догнать, цистерну выпить надо... Пошли, пошли, что мы здесь на кухне! Гута, тащи ужин...

Он нырнул в холодильник и снова выпрямился, держа в каждой руке по две бутылки с разными наклейками.

— Гулять будем! — объявил он. — В честь лучшего друга Ричарда Нунана, который не покидает своих в беде! Хотя пользы ему от этого никакой. Эх, Гуталина нет, жалко...

— А ты позвони ему, — предложил Нунан.

Рэдрик помотал ярко-рыжей головой.

— Туда еще телефон не провели, куда ему сейчас звонить. Ну пошли, пошли...

Он первым вошел в гостиную и грохнул бутылки на стол.

— Гулять будем, папаня! — сказал он неподвижному старику. — Это вот Ричард Нунан, наш друг! Дик, а это папаня мой, Шухарт-старший...

Ричард Нунан, собравшись в непроницаемый комок, раздвинул рот до ушей, потряс в воздухе ладонью и сказал:

— Очень рад, мистер Шухарт. Как поживаете?.. Мы ведь знакомы, Рэд, — сказал он Шухарту-младшему, который копался в баре. — Мы один раз уже виделись, мельком, правда...

— Садись, — сказал ему Рэдрик, кивая на стул напротив старика. — Ты, если будешь с ним говорить, говори громче — он не слышит ни хрена.

Он расставил бокалы, быстро откупорил бутылки и сказал Нунану:

— Разливай. Папане немного, на самое донышко...

Нунан неторопливо принялся разливать. Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. А Нунан уже переключился на новую ситуацию. Это была игра, страшная и жалкая, игру разыгрывал Рэдрик, и он включился в эту игру, как всю жизнь включался в чужие игры, и страшные, и жалкие, и стыдные, и дикие, и гораздо более опасные, чем эта. Рэдрик, подняв свой бокал, произнес: «Ну что, понеслись?», и Нунан совершенно естественным образом взглянул на старика, а Рэдрик нетерпеливо позвякал своим бокалом о бокал Нунана и сказал: «Понеслись, понеслись, ты за него не беспокойся, он своего не упустит...», и тогда Нунан тоже совершенно естественно кивнул, и они выпили.

Рэдрик крикнул и, блестя глазами, заговорил все в том же возбужденном, немного искусственном тоне:

— Все, приятель! Больше меня тюрьма не увидит. Если бы ты знал, милый мой, до чего же дома хорошо! Деньги есть, я себе хороший коттедж присмотрел, с садом будем, не хуже чем у Стервятника... Ты знаешь, я ведь уехать хотел, еще в тюрьме решил. «Ради чего такого, — думаю, — я в этом городишке сижу? Да провались, — думаю, — все пропадом». Возвращаюсь — привет, запретили выезд! Да что мы, чумные какие-нибудь сделались за эти два года?

Он говорил и говорил, а Нунан кивал, прихлебывая виски, вставлял сочувственные ругательства, риторические вопросы, потом принялся расспрашивать про коттедж — что за коттедж, где, за какую цену, — и они с Рэдриком поспорили. Нунан доказывал, что коттедж дорогой и в неудобном месте, он вытащил записную книжку, принялся листать ее и называть адреса заброшенных коттеджей, которые отдадут за бесценок, а ремонт обойдется всего ничего, если подать заявление о выезде из города, получить от властей отказ и потребовать компенсацию.

— Ты, я вижу, уже и недвижимостью занялся, — сказал Рэдрик.

— А я всем понемножку занимаюсь, — ответил Нунан и подмигнул.

— Знаю, знаю, наслышан я о твоих аферах!

Нунан сделал большие глаза, приложил палец к губам и кивнул в сторону кухни.

— Да ладно, все это знают, — сказал Рэдрик. —

Деньги не пахнут. Теперь-то я это точно понял... Но Москва ты себе подобрал в управляющие — я животики надорвал, когда услышал! Пустил, понимаешь, козла в огород... Он же псих, я его с детства знаю!

Тут старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом, сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу. Рэдрик замолчал и посмотрел на него. В лице его что-то дрогнуло, и Нунан с изумлением увидел на этой конопатой хищной физиономии самую настоящую, самую неподдельную любовь и нежность.

— Пейте, папаня, пейте, — ласково сказал Рэдрик. — Немножко можно, пейте на здоровье... Ничего, — вполголоса сказал он Нунану, заговорщически подмигивая. — Он до этого стаканчика доберется, будь покоен...

Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бойда явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое, оба крепкие современные парни, спортсмены и все такое, и еще был врач из городской больницы и при нем двое санитаров, людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Потом один из лаборантов рассказывал, что «этот рыжий» сначала вроде не понял, о чем идет речь, впустил в квартиру, дал осмотреть отца, и, наверное, старика так бы и увезли, потому что Рэдрик, похоже, вообразил, будто его кладут в больницу на профилактику. Но эти болваны-санитары, которые в ходе предварительных переговоров торчали в прихожей и подглядывали за Гуттой, как она моет в кухне, взялись, когда их позвали, за старика, как за бревно, — поволокли, уронили на пол. Рэдрик взбесился, и тут вылез вперед болван-врач и стал обстоятельно разъяснять, что, куда и зачем. Рэдрик послушал его минуту или две, а потом вдруг без всякого предупреждения взорвался, как водородная бомба. Рассказывавший все это лаборант и сам не помнит, как он очутился на улице. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых, причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве, а остальных троих Рэдрик гнал по улице четыре квартала, после чего вер-

нул к институтской машине и выбил в ней все стекла — шофера в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении...

— Мне тут в одном баре новый коктейль показали, — говорил Рэдрик, разливая виски. — «Ведьмин студень» называется, я тебе потом сделаю, когда поедем. Это, брат, такая вещь, что на пустое брюхо принимать опасно для жизни: руки-ноги отнимаются с одной порции... Ты как хочешь, Дик, а я тебя сегодня укачаю. И тебя укачаю, и сам укачаюсь. Старые добрые времена вспомним, «Боржч» вспомним... Бедняга-то Эрни до сих пор сидит, знаешь? — Он выпил, вытер губы тыльной стороной ладони и спросил небрежно: — А что там в институте — за «ведьмин студень» еще не взялись? Я, знаешь ли, от науки слегка поотстал...

Нунан сразу понял, почему Рэдрик заводит разговор на эту тему. Он всплеснул руками и сказал:

— Что ты, дружище! С этим студнем знаешь какая штука случилась? Про Карриганские лаборатории слышал? Есть такая частная лавочка... Так вот, раздобыли они порцию «студня»...

Он рассказал про катастрофу, про скандал, что концов так и не нашли, откуда взялся «студень», — так и не выяснили, а Рэдрик слушал вроде бы рассеянно, цокал языком, качал головой, а потом решительно плеснул еще виски по бокалам и сказал:

— Так им и надо, паразитам, чтоб они сдохли...

Они выпили, Рэдрик посмотрел на папаню, снова в его лице дрогнуло, он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам, и пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко.

— Вот так оно, дело, быстрее пойдет, — сказал Рэдрик. — Гута! — заорал он. — Долго ты нас будешь голодом морить?.. Это она для тебя старается, — объяснил он Нунану. — Обязательно твой любимый салат готовит, с моллюсками, она их давно припасла, я видел... Ну а как вообще в институте дела? Нашли что-нибудь новенькое? У вас там, говорят, теперь всю автоматы работают, да мало вырабатывают...

Нунан принялся рассказывать про институтские дела, и, пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла Мартышка, постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо. И Нунан, продолжая болтать, подумал,

глядя на эти два чудовищных порождения Зоны: господи, да что же еще? Что же еще нужно сделать с человечеством, чтобы его наконец проняло? Неужели этого вот мало?.. Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать, а если и узнают, то поужасаются десять минут и снова вернутся на круги своя. «Напьюсь, — подумал он с остервенением. — К черту Барбриджа, к черту Лемхена... семью эту, богом проклятую, к черту. Напьюсь».

— Ты чего на них уставился? — негромко спросил Рэдрик. — Ты не беспокойся, это ей не вредно. Даже наоборот, говорят, от них здоровье исходит.

— Да, я знаю, — сказал Нунан и залпом осушил бокал.

Вошла Гута, деловито приказала Рэдрику расставлять тарелки и поставила на стол большую серебряную миску с любимым салатом Нунана. И тут старик, словно кто-то спохватился и дернул за ниточки, одним движением вскинул бокал к открывшемуся рту.

— Ну, ребята, — сказал Рэдрик восхищенным голосом, — теперь у нас пойдет гулянка на славу!

4. Рэдрик Шухарт, 31 год

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Рэдрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, которые они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток «зеленки», обтекавшей холм и исчезающей в овраге.

По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана, но Рэдрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы.

И еще он знал, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди — состав вагонеток, и вот тогда начнется самое дело.

Рэдрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. «Тяжелый, дьявол, как я с ним поползу? Полтора километра, не меньше. Ладно, сталкер, не ной, знал, на что идешь. Пятьсот тысяч монет дожидаются в конце дороги, можно попотеть. Пятьсот тысяч, лакомый ломоть, а? Черта я им отдам меньше чем за пятьсот тысяч. И черта я дам Стервятнику больше тридцати. А сопляку... а сопляку ничего. Если старый гад хоть полуправду сказал, то сопляку ничего...»

Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время, прищурясь, смотрел, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобедрый, и длинные воронные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. «Сам попросился, — угрюмо подумал Рэдрик. — Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прямо дрожал весь, слезы на глазах... «Возьмите меня, мистер Шухарт! Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами, они ведь все никуда не годятся! Отец... но ведь он теперь не может». Рэдрик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно, и, может быть, поэтому он стал думать о сестре Артура. Просто уму непостижимо: такая роскошная женщина, век бы с нею любился, а на самом деле пустышка, обман, кукла неживая, а не женщина. Вроде как, помнится, пуговицы на кофте у матери — янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычной сладости, и он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно разочаровывался и, каждый раз забывал об этом разочаровании, даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти, стоило ему их снова увидеть.

«А может быть, папахен его ко мне подослал, — подумал он об Артуре. — Вон у него какая пушка в заднем кармане... Нет, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной шутки плохи. И знает, какой я в Зоне. Нет, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил, другие и на колени становились... А пушки они все с собой таскают по

первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень! Вот ведь что получается, Стервятник: по последнему. Да, папахен, узнал бы ты про эту его затею — ты бы его так костылями отделал, сыночка своего, в Зоне вымоленного...» Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть — недалеко уже, метрах в тридцати-сорока.

— Стой, — сказал он Артуру.

Парень послушно замер на месте. Реакция у него была хорошая — он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил ее на землю. Рэдрик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное. Безопасное. Рэдрик осторожно потянул ноздрями воздух. Да, безопасное.

— Вперед, — сказал он негромко, подождал, пока Артур сделает шаг, и двинулся за ним. Краем глаза он видел лицо Артура, точеный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками.

Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.

— Все, — сказал Рэдрик и стал стягивать рюкзак. — Садись где стоишь. Перекур.

Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс, Рэдрик отстегнул один из клапанов, достал сверток с едой и термос с кофе и, пока Артур разворачивал сверток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков.

— Глотнешь? — предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. — Для храбрости...

Артур обиженно помотал головой.

— Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт, — сказал он. — Я лучше кофе, если разрешите. Сыро здесь очень, правда?

— Сыро, — согласился Рэдрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. — Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было — страшное дело...

Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой, сладкий, пить его сейчас было даже приятнее,

чем спиртное. От него пахло домом. Гутый. И не просто Гутый, а Гутый в халатике, прямо со сна, с еще сохранившимся рубцом от подушки на щеке. «Зря я в это дело впутался, — подумал он. — Пятьсот тысяч... А на кой ляд мне эти пятьсот тысяч? Бар я на них покупать собираюсь, что ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать. Это правильно. Это Дик верно сказал. Но я ведь о них и так не думаю последнее время. На кой мне ляд эти деньги? Дом есть, сад есть, без работы в Мармонте не останешься... Завел меня Стервятник все-таки, завел как молоденького...»

— Мистер Шухарт, — сказал вдруг Артур, глядя в сторону. — А вы серьезно верите, что эта штука выполняет желания?

— Чепуха, — рассеянно произнес Рэдрик и замер с поднесенным ко рту стаканчиком. — А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?

Артур смущенно засмеялся, запустил пятерню в вороные волосы, подергал и сказал:

— Да вот догадался... Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль... Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот Золотой шар, а последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам, а я ведь знаю — никакие вы не друзья, что бы он там ни говорил... Потом он странный какой-то стал последнее время... — Артур снова засмеялся и pokrutil головой, что-то вспоминая. — А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик... — Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свернутая оболочка воздушного шара. — Честно говоря, я вас тогда выследил, и, когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в Зоне, кроме Золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. — Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорил с набитым ртом: — Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять, он же, наверное, гладкий...

Рэдрик все смотрел на него поверх стаканчика и думал, до чего же они непохожи друг на друга — отец и сын. Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У Стервятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то, но когда он говорил об этом, то говорил здорово. Нельзя его было не слушать.

«Рыжий, — говорил он тогда, перегнувшись через стол. — Нас ведь двое осталось всего, да на двоих две ноги и обе твои... Кому же, как не тебе? Это же, может, самое ценное, что в Зоне есть! Кому ж достанется, а? Неужто этим чистоплюям достанется, с ихними машинами? Ведь я его нашел, я! Сколько там наших по дороге полегло! А нашел я! Себе берег. И сейчас бы никому не отдал, да руки, видишь, коротки стали... Кроме тебя, некому. Сколько я разных молокососов натаскивал, целую школу, понимаешь, для них открыл — не могут, кость не та... Ну ладно, ты не веришь. Не веришь — не надо. Тебе — деньги. Дашь мне сколько сам захочешь, я знаю, ты не обидишь... А я ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты? Зона ведь ноги у меня отобрала, так, может, Зона и отдаст?..»

— Что? — спросил Рэдрик, очнувшись.

— Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Кури, кури... Я тоже закурю.

Он залпом допил остаток кофе, вытащил сигаретку и, разминая ее, уставился в редяющий туман. «Псих, — подумал он. — Сумасшедший же. Ноги ему... гниде...»

От всех этих разговоров оставался в душе какой-то осадок, непонятно какой. И он не растворялся со временем, а, наоборот, все копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало, словно он чем-то заразился от Стервятника, но не гадостью какой-нибудь, а, наоборот, силой, что ли? Нет, не силой. А чем же тогда? «Ну ладно, — сказал он себе. — Давай так: предположим, не пошел я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-нибудь случилось... сцапали меня, например. Плохо было бы? Определенно плохо. Почему плохо? Деньги пропали? Да нет, не в деньгах дело... Что добро это жабам достанется, Хрипатым да Костлявым? Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что? Все равно в конце концов все им достанется...»

— Бр-р-р... — Артур передернул плечами. — До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок?

Рэдрик молча достал флягу и протянул ему. «А ведь я не сразу согласился, — подумал он вдруг. — Двадцать раз я посылал Стервятника куда подальше, а на двадцать первый все-таки согласился. Как-то мне невольно стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. «Здорово, Рыжий. Я вот

карту принес. Может, все-таки посмотришь?» А я посмотрел ему в глаза, а глаза у него как нарывы — желтые с черной точкой, и я сказал: «Давай». И все. Помню, что пьяный был тогда, целую неделю пил, на душе было гадко... А ч-черт, не все ли равно! Пошел и пошел. Что я в этом копаюсь, в самом деле. Боюсь я, что ли...»

Он вздрогнул. Длинный тоскливый скрип донесся вдруг из тумана. Рэдрик вскочил как подброшенный, и сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо, только шуршала, струясь по насыпи у них из-под ног, мелкая галька.

— Это, наверное, порода просела, — неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. — Вагонетки с породой... стоят давно...

Рэдрик смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это было ночью. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала Мартышка, сидя на своей постели у окна, а с другого конца дома откликался папаня, очень похоже, так же длинно и скрипуче, только с каким-то клокотанием. И так они перекликались и перекликались в темноте — сто лет и еще сто лет. Гута проснулась тоже и взяла Рэдрика за руку, он чувствовал ее мгновенно покрывшееся испариной плечо, и так они лежали все эти сто лет и еще сто лет и слушали, а когда Мартышка замолчала и улеглась, он подождал еще немного, потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он запил...

— Порода, — говорил Артур. — Она, знаете, проседает со временем. От сырости, от всяких таких причин...

Рэдрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев, он закурил новую. Артур постоял еще немного, опасливо вертя головой, потом тоже сел и сказал негромко:

— Я знаю, рассказывают, что в Зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто Посещение застигло их тут, и они мутировались... приспособились к новым условиям. Вы слышали об этом, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Только это не здесь. Это в горах, на северо-западе. Пастухи какие-то.

«Вот он чем меня заразил, — думал он. — Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо...» Какое-то стран-

ное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял: единственное на всем свете, что у него еще осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затапывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда, уже не надежда, а уверенность в чуде заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке... Он засмеялся и толкнул Артура в плечо.

— Ну что, сталкер, — сказал он. — Продирает? Страшно? Привыкай, браток, не стесняйся. Зона!

Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Рэдрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем.

— Ну хорошо, — сказал он. — А предположим, например, что этот самый Золотой шар действительно... Что б ты тогда пожелал?

— Значит, вы все-таки верите? — спросил Артур.

— Это неважно — верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.

Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у Золотого шара такой вот парень, молокосос еще, вчерашний колледжер, и он с веселым любопытством смотрел, как Артур хмурится, тревожит усики, вскидывает и снова прячет глаза.

— Ну, конечно, ноги отцу... — проговорил Артур наконец. — Чтобы дома было все хорошо...

— Врешь, врешь, — добродушно сказал Рэдрик. — Ты, браток, учти: Золотой шар только сокровенные желания выполняет, только такие, что если не исполнятся, то хоть в петлю!

Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Рэдрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской, даже слезы выступили. Рэдрик ухмыльнулся.

— Все понятно, — сказал он почти ласково. — Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе... — И тут он вдруг вспомнил про пистолет и подумал, что, пока есть время, надо учесть все, что можно учесть. — Что это у тебя в заднем кармане? — спросил он небрежно.

— Пистолет, — буркнул Артур и закусил губу.

— Зачем он тебе?

— Стрелять! — сказал Артур с вызовом.

— Брось, — строго проговорил Рэдрик и сел прямо. — Давай его сюда. В Зоне стрелять не в кого. Давай.

Артур хотел что-то сказать, но промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Рэдрику, держа за ствол. Рэдрик взял пистолет за рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил:

— Платок у тебя есть? Давай я заверну...

Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнувший одеколоном, завернул пистолет и положил сверток на шпалу.

— Пусть пока здесь полежит, — объяснил он. — Даст бог, вернемся сюда — возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется... Хотя от патрульных отстреливаться, браток...

Артур помотал головой.

— Да мне не для этого, — сказал он с досадой. — Там только один патрон. Чтобы, если как с отцом...

— Во-он что... — протянул Рэдрик, рассматривая его в упор. — Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу... Гляди, рассвело!

Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала, сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, а между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморенным лозняком, а на горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур огля-

нулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Рэдрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево — зеленая заря Зоны. Рэдрик, расстегивая ремень, сказал:

— Облегчиться не собираешься? Смотри, потом негде будет и некогда...

Он зашел за вагонетку, присел на насыпи и, побрякивая, смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и сразу от холмов потянулись лиловатые тени, все стало резким, рельефным, все стало видно как на ладони, и прямо перед собой, метрах в двухстах, Рэдрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр «комариной плешки», и весь фюзеляж его расплющило в жестяной блин, только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогалиной между холмами, и стабилизирующий винт остался цел — отчетливо поскрипывал, покручиваясь на легком ветерке. «Плешь», видимо, попалась мощная, даже пожара настоящего не получилось, и на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красносиняя эмблема королевских военно-воздушных сил, которую Рэдрик вот уже сколько лет и в глаза не видел, и вроде бы даже позабыл, как она выглядит.

Справив нужду, Рэдрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся гряде породы в вагонетке. Самого карьера видно отсюда не было, его заслонял холм с почерневшим обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по ложине между ним и другим холмом, который тоже был виден, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону.

Все ориентиры совпадали, но Рэдрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, — прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. «Ладно, — подумал Рэдрик, — это мы еще посмотрим. На месте будет виднее». Тропа до этой ложины вела по болоту, по открытому ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но, приглядевшись, Рэдрик различил между сухими кочками какое-то темно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано: «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой

этот Хлюст, как он выглядел и когда он был, Рэдрик вспомнить не мог. Вспомнились ему почему-то только дымный зал в «Боржче», какие-то пьяные свирепые хари, огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти — фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшееся на водопой, одно из самых ярких воспоминаний детства — первое посещение «Боржча». Что я тогда принес? «Пустышку», кажется. Прямо из Зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь, выдержал грохочущий залп издевательств, дождался, пока Эрнест, тогда еще молодой, всегда при галстукке бабочкой, отсчитал сколько-то там зелененьких... нет, тогда были еще не зелененькие, тогда были квадратные, королевские, с какой-то строгой красоткой в плаще и в венке... дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти... Рэдрик ухмыльнулся и подумал: может, это и был Хлюст?

— Разве между холмами можно, господин Шухарт? — вполголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту.

— Там посмотрим, — сказал Рэдрик.

На карте было еще два крестика — один на склоне холма с деревом, другой на каменной осыпи. Пудель и Очкарик. Тропа проходила понизу между ними.

— Там посмотрим, — повторил он, сложил карту и сунул ее в карман.

Он оглядел Артура и приказал:

— Поддай мне на спину рюкзак... Пойдем, как раньше, — сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. — Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти, грязи не вздумай бояться, если прикажу, мордой в грязь без разговоров... Да курточку свою застегни. Готов?

— Готов, — сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало.

— Первое направление — вот. — Рэдрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма в сотне шагов от насыпи. — Ясно? Пошел.

Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через

рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним.

— Легче, легче, — сказал Рэдрик.

Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжеленного рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. «Бойтся парень, — думал он. — Правильно бойтся. Предчувствует, наверное. Если у него чутье как у папаши, то должен предчувствовать... Знал бы ты, Стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, Стервятник, что я тебя на этот раз послушаюсь. «А вот здесь, Рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь — не хочешь, а придется тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих курсантов отдать, кого не жалко...» Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. Ну, ничего, — подумал он. — Может быть, все-таки обойдется, все-таки я не Стервятник, может быть, словчим что-нибудь...»

— Стоп! — приказал он Артуру.

Парнишка остановился по шиколотку в ржавой воде. Пока Рэдрик спускался, трясина затянула его по колено.

— Камень видишь? — спросил Рэдрик. — Вон, под холмом, лежит. Давай на него.

Артур двинулся вперед. Рэдрик отпустил его на десять шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала и воняла. Это была мертвая трясина — ни мошкары, ни лягушек, даже лозняк здесь высох и сгнил. Рэдрик привычно поглядывал по сторонам, но пока все было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался, наполз на низкое еще солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Рэдрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем, на ней стоял поезд из десяти вагонеток, часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку, насыпь под ними была покрыта рыжими потеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Рэдрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти всухую и отвернулся.

— Дальше, — сказал он, и Артур повернул к нему напряженное лицо. — Вот тряпье, видишь? Да не туда смотришь. Вот там, правее...

— Да, — сказал Артур.

— Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не

слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. Возьми два пальца вправо от этого Хлюста... Взял? Засек точку? Ну, примерно там, где лозняк чуть погуще... Двигай туда. Пошел!

Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось все меньше, и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. «А на карте здесь везде сплошное болото, — подумал Рэдрик. — Устарела карта. Давненько Барбридж здесь не бывал, вот она и устарела. Плохо. Оно, конечно, по сухому легче, но лучше уж чтобы здесь было это болото... Ишь вышагивает, — подумал он про Артура. — Как по Центральному проспекту».

Артур, видимо, приободрился и шел теперь полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру прямо в затылок. Парень ахнул, обхватил голову руками и, скорчившись, рухнул на сухую траву. Рэдрик остановился над ним.

— Вот так оно здесь и бывает, Арчи, — сказал он назидательно. — Это тебе не бульвар, ты здесь со мной не на шпацир вышел.

Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое.

— Все понятно? — спросил Рэдрик.

Артур глотнул и покивал.

— Вот и хорошо. А в следующий раз надаю по зубам. Если жив останешься. Пошел!

«А из паренька мог бы получиться сталкер, — думал Рэдрик. — Звали бы его, наверное, Красавчик. Красавчик Арчи. У нас был уже один Красавчик, звали его Диксон, а теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в «мясорубку» и все-таки выжил. Повезло. Он-то, чудак, до сих пор думает, что это его Барбридж из «мясорубки» вытащил. Черта с два. Из «мясорубки» не вытащишь... Из Зоны он его выволок, это верно. Совершил Барбридж такой героический поступок. Только попробовал бы он не выволочь. Эти его штучки тогда уже всем надоели, и ребята ему сказали в тот раз прямо: один лучше не возвращайся. А ведь как раз тогда Барбриджа и прозвали Стервятником, до этого он у нас в Битюгах ходил...»

Рэдрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и сейчас же, еще не успев ни о чем подумать, крикнул:

— Стой!

Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась «комариная плешь», а может быть, она шла и по самой насыпи — не зря же свалились вагонетки. Артур стоял как вкопанный, он даже не обернулся.

— Возьми правее. Так.

«Да, неплохой был бы сталкер... Эй, Шухарт, жалеешь ты его, что ли? Этого еще не хватало. А тебя кто-нибудь когда-нибудь жалел?.. Вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько к Гуте прислоняется, но, может быть, и жалеет тоже — одно другому не помеха у порядочных людей... Только мне вот жалеть никого не приходится. У меня выбор: или — или...» Он впервые с полной отчетливостью представил себе этот выбор: или Арчи или моя Мартышка. Тут и выбирать нечего, все ясно. Если только чудо возможно, сказал какой-то голос изнутри, и он с ужасом и ожесточением задавил в себе этот голос.

Они миновали груды серого тряпья. От Хлюста ничего не осталось, только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка — миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, надеялись на эту штуку, как на самого господ бога, а потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало... Кто же все-таки был этот Хлюст? Стервятник его сюда привел, или он сам сюда пришел? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слышал?.. Дьявол, припекает-то как! И это с утра, а что будет потом?

Артур, который шел шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Рэдрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука, и она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая — она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!»

Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль

под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком, глаза залило потом, и Рэдрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись! Терпи!» И стал терпеть сам.

И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо-благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли он не расслышал, что ему крикнули, то ли перепугался сверх всякой меры, а может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Рэдрика — во всяком случае, управлять собой он перестал и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнало его бессмысленный инстинкт — назад, как раз туда, куда бежать уж никак было нельзя. Рэдрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, лягнул Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задергался, но Рэдрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю обеими руками, держа за длинные волосы дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, лежи, убью...», а сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда, и трещала кожа, вздуваясь пузырями и лопаясь на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминал грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил...

Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава, мертвая, сухая, колючая, но настоящая — она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожженное лицо то и дело обадало ос-

татками жара, пот лил прямо в глаза — наверное, потому, что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь за землю проклятой курточкой, горела обваренная спина, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Рэдрик с ужасом подумал, что потерял направление и теперь ему не дойти. От страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, выдавливая через пересохшую глотку самые гнусные ругательства, какие приходили ему в голову, а потом вдруг с какой-то сумасшедшей радостью вспомнил, что за пазухой у него лежит почти полная фляга, подружечка, милая, только бы доползти, ну еще немного, давай Рэд, давай, Рыжий, вот так, ну еще, еще немного.

Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду, с наслаждением вдыхая провонявшую гнилью прохладу. Век бы так лежал, но он заставил себя подняться, стоя на коленях, сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который все еще неподвижно лежал шагах в тридцати от болота, и перевернул его на спину. Н-да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла, и несколько секунд Рэдрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске — следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде, Артур хрипло дышал, время от времени постанывая. Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он жадно хватал ртом воздух, отплевываясь и кашляя. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Рэдрике.

— Ф-фу-у... — сказал он и помотал лицом, разбрызгивая грязную воду. — Что это было, мистер Шухарт?

— Смерть это была, — невнятно произнес Рэдрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость. Надо думать, и окорока не до кости прожгло... Он пощупал — нет, явно не до кости, даже штаны целы. Просто как кипятком ошпарило...

Артур тоже осторожно трогал пальцами свое лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физионо-

мия у него оказалась, тоже против ожидания, почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу, рассечена нижняя губа, а так в общем ничего.

— Никогда о таком не слышал, — проговорил Артур и посмотрел назад.

Рэдрик тоже оглянулся. На сероватой, испепеленной траве осталось много следов, и Рэдрик поразился, как, оказывается, короток был тот страшный бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь метров двадцать-тридцать, не больше, было всего от края до края выжженной проплешины, но он со слепу и от страха полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскаленной сковороде, и спасибо еще, что полз в общем туда, куда надо, а ведь мог заползти на «комариную плешь» слева, а мог бы и вообще повернуть обратно... «Нет, не мог бы, — подумал он с ожесточением. — Это молокосос какой-нибудь мог бы, а я тебе не молокосос, и если бы не этот дурак, то вообще бы ничего не случилось, обварил бы себе окорока — вот и все неприятности...»

Он посмотрел на Артура. Артур с фырканьем умылся, покряхтывал, задевая больные места. Рэдрик поднялся и, морщась от прикосновений задубевшей от жары одежды к обожженной коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели, пузырьки в аптечке все полопались от жара, и от жухлого пятна несло невыносимой медициной. Рэдрик отстегнул клапан, принялся выгребать осколки стекла и пластика, и тут Артур у него за спиной сказал:

— Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня.

Рэдрик промолчал. Кой еще черт — спасибо! Сдался ты мне спасать тебя.

— Я сам виноват, — сказал Артур. — Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать, но я здорово перепугался, а когда припекло, совсем голову потерял. Я очень боюсь, мистер Шухарт...

— Давай вставай, — сказал Рэдрик, не оборачиваясь. — Это все были цветочки... Вставай, чего разлегся!

Зашипев от боли, он вскинул на спину рюкзак, продол руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожженных местах съезжилась и покрылась болезненными морщинами. Боли он боится... С чумой тебя пополам вместе с твоей болью... Он огляделся. Ничего, с тропы не сошли. Теперь эти холмики. Поганые холми-

ки — стоят, торчат как чертовы макушки, и эта лошинка между ними... Он невольно потянул носом воздух. Ах, поганенькая лошинка, вот она-то самая погань и есть.

— Лошинку между холмами видишь? — спросил он Артура.

— Вижу.

— Прямо на нее. Марш!

Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше, согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. «Вот и еще одного я вытащил, — подумал Рэдрик. — Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается: зачем? Что он мне — родной? Поручился я за него? Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся... Теперь-то на ясную голову я знаю: правильно я его тащил, мне без него не обойтись, он у меня как заложник за Мартышку. Я не человека вытащил, я миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его, как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить, хотя про все забыл: и про отмычку забыл, и про Мартышку забыл... Что же это получается, что я в самом деле добрый парень? Это мне и Гута твердит, и Кирилл внушал, и Ричард все время насчет этого долдонит... Тоже мне, нашли добряка. Ты это брось, — сказал он себе. — Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз, понятно? Добряк... Мне его надо сберечь для «мясорубки», — холодно и ясно подумал он. — Здесь все можно пройти, кроме «мясорубки».

— Стой, — сказал он Артуру.

Лощина была перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Рэдрика. Дно лощины было покрыто гнойно-зеленой, жирно отсвечивающей на солнце жижей, над поверхностью ее курился легкий парок, между холмами он становился гуще, и в тридцати шагах уже ничего не было видно. И смрад. Непонятно, что там гнило в этом месиве, но Рэдрику показалось, что сто тысяч разбитых тухлых яиц, вылитых на кучу из ста тысяч рыбьих голов и дохлых кошек, не могут смердеть так, как смердело здесь. «Запашок там будет, Рыжий, так ты не того... не дрейфь».

Артур издал головой звук и попятился. Тогда Рэд-

рик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана сверток с ватой, пропитанной дезодоратором, заткнул ноздри тампоном и протянул вату Артуру.

— Спасибо, мистер Шухарт, — слабым голосом сказал Артур. — А как-нибудь верхом нельзя?..

Рэдрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи.

— Это был Очкарик, — сказал он. — А на левом холме — отсюда не видно — лежит Пудель. В том же виде. Понял? Вперед.

Жижа была теплая, липкая, гнусная. Сначала они шли в рост, погружившись по пояс, дно под ногами, к счастью, было каменистое и довольно ровное, но вскоре Рэдрик услышал знакомое жужжание с обеих сторон. На левом холме, освещенном солнцем, ничего не было видно, а на склоне справа, в тени, запрыгали бледные лиловатые огоньки.

— Пригнись, — скомандовал он сквозь зубы и пригнулся сам. — Ниже, дурак! — крикнул он.

Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвленная молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Рэдрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же ударила вторая молния.

— Вперед! Вперед! — заорал он, не слыша себя.

Теперь они двигались на корточках, гусиным шагом, выставив наружу только головы, и при каждом разряде Рэдрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголок вонзаются в кожу лица. «Вперед! — монотонно повторял он. — Вперед!..» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный в ужасе глаз, скошенный на него, и белые, прыгающие губы, и замазанную зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что им пришлось окунуться с головой. Зеленая слизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая ртом воздух, Рэдрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим пронзительным запахом озона, а пар вокруг становился все гуще, или, может быть, это потемнело в глазах, и уже не видно было холмов ни справа, ни слева, — ничего не было видно, кроме облеп-

ленной зеленой грязью головы Артура и желтого клубящегося пара вокруг.

«Пройду, пройду, — думал Рэдрик. — Не в первый раз, всю жизнь так: сам в дряни, а над головой молнии, иначе никогда и не было... И откуда здесь эта дрянь? Сколько дряни... с ума сойти, сколько дряни в одном месте, здесь дрянь со всего света... Это Стервятник, — подумал он яростно. — Это Стервятник здесь прошел, это за ним осталось... Очкарик лег справа. Пудель лег слева, и все для того, чтобы Стервятник прошел между ними и оставил за собой всю эту дрянь... Так тебе и надо, — сказал он себе. — Кто идет следом за Стервятником, тот всегда глотает дерьмо. Ты что, этого раньше не знал? Повсюду так. Их слишком много, Стервятников, почему и не осталось тебе ни одного чистого места, все загажено... Нунан — дурак: ты, мол, Рыжий, нарушитель равновесия, разрушитель порядка, тебе, мол, Рыжий при любом порядке плохо, и при плохом плохо, и при хорошем плохо, из-за таких, как ты, никогда не будет царствия небесного на земле... Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Когда это я видел хороший порядок? Когда это ты видел меня при хорошем порядке? Я всю свою жизнь только и вижу, как умирают Кириллы и Очкарики, а Стервятники проползают между ихними трупами, по ихним трупам, как черви, и гадят, и гадят, и гадят...»

Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом перекошенное, с вытаращенными глазами лицо Артура и вдруг на мгновение похолодел: ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направление. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит верхушка камня, понял, хотя, кроме этой верхушки, ничего не было видно в желтом тумане.

— Стой! — заорал. — Правее держи! Правее камня!

Он опять не услышал своего голоса и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой: держи правее камня, голову вниз. «Вы мне за это заплатите», — подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в черную верхушку, только раскаленные крошки полетели. «Вы мне за это заплатите, — повторял он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. — Я из вас всю душу вытря-

су за это. — Он мимолетно подумал: — О ком это я? Не знаю. Но кто-то за это должен заплатить, кто-то мне за это заплатит! Подождите, дайте только добраться до шара, до шара мне дайте добраться, я вам не Стервятник, я с вас спрошу по-своему...»

Когда они выбрались на сухое место, на уже раскаленное солнцем каменное крошево, оглушенные, вывернутые, наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Рэдрик увидел облупленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона можно отдышаться в тени. Они забрались в тень. Артур лег на спину и принялся вялыми пальцами расстегивать на себе куртку, а Рэдрик привалился рюкзаком к стенкам фургона, кое-как вытер ладони о щепень и полез за пазуху.

— И мне... — проговорил Артур. — И мне, мистер Шухарт.

Рэдрик поразился, какой у этого мальчишки громкий голос, хлебнул, закрыл глаза, прислушиваясь, как горячая всеочищающая струя проливается в глотку и растекается по груди, глотнул еще раз и протянул флягу Артуру. «Все, — подумал он вяло. — Прошли. И это прошли. Теперь — сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я все помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили, не утопили? Кол вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец, понятно? Я ничего этого так не оставляю. Теперь я решаю. Я, Рэдрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти, буду решать все и за всех. А вы все прочие: стервятники, жабы, пришельцы, костлявые, квотерблады, паразиты, зелененькие, хрипатые, в галстучках, в мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работательством, с вечными аккумуляторами, с вечными двигателями, с «комариными плешами», с разными обещаниями — хватит, поводили меня за нос, через всю мою жизнь волокли меня за нос, я все, дурак, хвастался, что, мол, как хочу, так и делаю, а вы только поддакивали, а сами, гады, перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили через тюрьмы, через кабаки... Хватит!» Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу.

— Никогда я не думал, — говорил Артур с кротким недоумением в голосе, — даже представить себе не мог... Я, конечно, знал — смерть, огонь... но вот такое!.. Как же мы с вами обратно-то пойдём?

Рэдрик не слушал его. То, что говорит этот человек, теперь не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он все-таки был человеком. А теперь это... так, говорящая отмычка. Пусть говорит.

— Помыться бы... — Артур озабоченно озирался. — Хоть бы лицо сполоснуть.

Рэдрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалявшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев, и всего его, покрытого коркой растрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. Говорящая отмычка. Он отвернулся. Впереди расстилалось унылое, как заброшенная строительная площадка, пространство, засыпанное острой щебенкой, запорошенное белой пылью, залитое слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, мертвое. Дальний край карьера был уже виден отсюда, тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным, а ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора. Это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везение.

Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку.

— Взгляните-ка, мистер Шухарт, — сказал он, оживившись. — Ведь это, наверное, отец оставил... Там и еще есть.

Рэдрик не ответил. «Это ты зря, — подумал он равнодушно. — Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать, лучше бы тебе сейчас помалкивать. А впрочем, все равно...» Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожженной коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел, и страдальчески посмотрел на Рэдрика — видно было, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом:

— А нельзя мне еще разок глотнуть, мистер Шухарт?

Рэдрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал:

— Красное видишь между камнями?

— Вижу, — сказал Артур и судорожно перевел дух.

— Прямо на него.

Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился, озираясь, проговорил:

— Помыться бы хоть немножко... Приклеилось все.

Рэдрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, двинулся было, но тут же остановился.

— Рюкзак, — сказал он. — Рюкзак забыли, мистер Шухарт.

— Марш! — приказал Рэдрик.

Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и ни к чему все это было. И так пойдет. Деваться ему некуда. И Артур пошел. Побрел, ссутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котенок. Рэдрик двинулся следом; и, как только вышел из тени, солнце опалило и ослепило его, и он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил темные очки.

От каждого шага взлетало облачко белой пыли, пыль садилась на ботинки, она воняла, вернее, это от Артура воняло, идти за ним следом было невозможно, и не сразу Рэдрик понял, что воняет-то больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый — это в городе так воняло в те дни, когда северный ветер нес по улицам дымы от завода. И от отца также воняло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными бешеными глазами, и Рэдрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает с себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, сам в одних носках липко шлепает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревет на весь дом: «Мария! Заснула?» Нужно было дожждаться, пока он помоеется, сядет за стол, где уже стоит бутылка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом, дожждаться, пока он дохлебает суп, рыгнет и примется за мясо с бобами, и вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле...

Все вокруг было раскалено добела, и его мутило от сухой жесткой жары, от вони, от усталости, и неистово саднила обожженная, полопавшаяся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую

сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затертые до незнакомости воспоминания громоздились в отеком мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами, и все они были горькими, и все они вызвали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости, он выдавливал из глубин памяти свежее смеющееся личико Гуты, еще девчонки, желанной и неприкосновенной, и оно появлялось, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку Мартышки; он силился вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые и прекрасные места и времена, и Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла, а уставляются в лицо Рэдрику немигающие ангельские глазки Хрипатого Хью, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер... Какие-то темные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то небольшое хорошее, что еще хранила его память, и уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыла, рыла, рыла...

И все это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой старых досок стоит «веселый призрак» — спокойный, выдохнувшийся, и плевать на него; а справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, «комариная плешь», многохвостая, будто морская звезда, — далеко, не страшно, — а в центре ее расплюснутая в тень птица, редкая штука, птицы над Зоной почти не летают; а вон рядом с тропой две брошенные «пустышки», видно, Стервятник бросил на обратном пути, страх сильнее жадности... Он все это видел и все учитывал, и стоило скрюченному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Рэдрика сам собой раскрывался, и хриплый предостерегающий окрик вылетал из глотки. «Машину, — думал он. — Машину вы из меня сделали...» А каменные обломки на краю карьера все при-

ближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора.

«Дурак ты, Барбридж, — думал Рэдрик. — Хитер, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с этих вот пор знаешь, ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать — всю жизнь с дураками дело имел...» И тут он представил себе, как перекосило Стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка... что в Зону с Рыжим за его, Стервятниковыми, ногами ушел, не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость... И, представив себе это, Рэдрик захохотал, а когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой: марш, марш! И опять поползли по сознанию, как по экрану, рыла, рыла, рыла... Надо было менять все. Не одну жизнь и не две жизни, не одну судьбу и не две судьбы — каждый винтик этого смрадного мира надо было менять...

Артур остановился перед крутым съездом в карьер, остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Рэдрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога, еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор, ковш его был опущен и бесильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно, только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось, даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание Стервятника. Вон та — это Стервятник живым и невредимым вернулся из подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше, — это Стервятник без помех вытащил из Зоны «шевелиющийся магнит». А вон та сосулька — это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца, всеми вожаемая Дина Барбридж. А вот это пятно — не похожий ни на мать, ни на отца Артур Барбридж, Арчи, красавчик, гордость...

— Дошли! — иступленно прохрипел Артур. — Мистер Шухарт, дошли ведь все-таки, а?

Он смеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Злипшиеся в корку волосы на макушке тряслись и раскачивались смешно и нелепо, летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Рэдрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно. С опаской. С затаенным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким — разочарует, вызовет сомнения, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, захлебываясь в дряни. Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжело придавил он свое ложе.

В нем не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнение, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый и что на ощупь он должен быть очень горячим — солнце раскалило. Он явно не светился своим светом, он явно был не способен взлетать на воздух и плясать, как это случалось в легендах о нем. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов — он не был установлен здесь, он валялся, валялся точно так же, как все эти «пустышки», «браслеты», батарейки и прочий мусор, оставшийся от Посещения. Но в то же время что-то в нем все-таки было, и чем дольше Рэдрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а еще лучше — прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть, и просто подремать, отдыхая...

Артур вскочил, раздернул все «молнии» на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделявая ногами замысловатые па, вприпрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Рэдрика, он забыл о Рэдрике, он забыл обо

всем, он шел выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе — министра, а в самой далекой перепекипе, сами понимаете, президента... Рэдрик, прищутив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворачался вдруг беспокойный некий червячок и завертел колючей головкой.

А мальчишка все спускался, приплясывая, по крутому спуску, отбивая немыслимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблучков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко и очень весело, и очень торжественно, как песню или как заклинание, и Рэдрик подумал, что впервые за все время существования карьеры по этой дороге спускались так, словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нем, и он услышал: «Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!.. Даром! Счастье! Даром!..»

А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Рэдрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно, с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Рэдрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге — без особой радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода...

Прошло некоторое время, и в голове стали появлять-

ся более или менее связные мысли. «Ну вот и все, — думал он нехотя. — Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать еще немножко. «Мясорубки» бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать, вот в чем беда. Что такое «думать»? Думать — это значит: изгильнуться, сфинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится...»

Ну ладно, Мартышка, отец... Расплатиться за все, душу из гадов вынуть, пусть дряни пожрут, как я жрал... Не то, не то это, Рыжий... То есть то, конечно, но что все это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, свирепо приказал себе: «Ты вот что, рыжая морда, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела, сдохнешь здесь с этим шариком, изжаришься, сгниешь, но не уйдешь...»

«Господи, да где же слова-то, мысли мои где? — Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. — Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было! Подожди. Кирилл ведь что-то говорил такое... Кирилл!» Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полужнакомые, но все это было не то, потому что не слова остались от Кирилла, остались какие-то смутные картины, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные...

«Подлость, подлость... И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады... Шпана... Как был шпаной, так шпаной и состарился... Вот этого не должно быть! Ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить (вот он, Кирилл, наконец-то!)... Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю, и для чего человек рожден, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормятся кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это — мы? Кто — они? Ничего же не понять. Мне хорошо — Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо — Очкарику плохо, Хрипатому хорошо — всем плохо, только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться... Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с Хрипатым воевал и от меня, обалдуя, только одного лишь хотел — чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить,

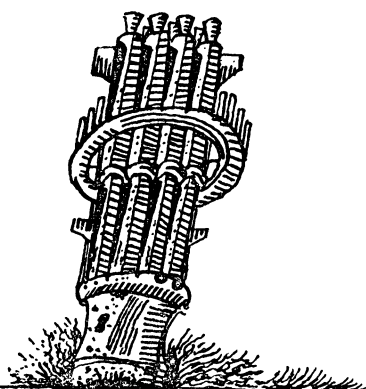
когда семью кормить надо? Работать идти? А не хочу я на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает, раб он, и больше ничего, а я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску ихнюю и скуку...»

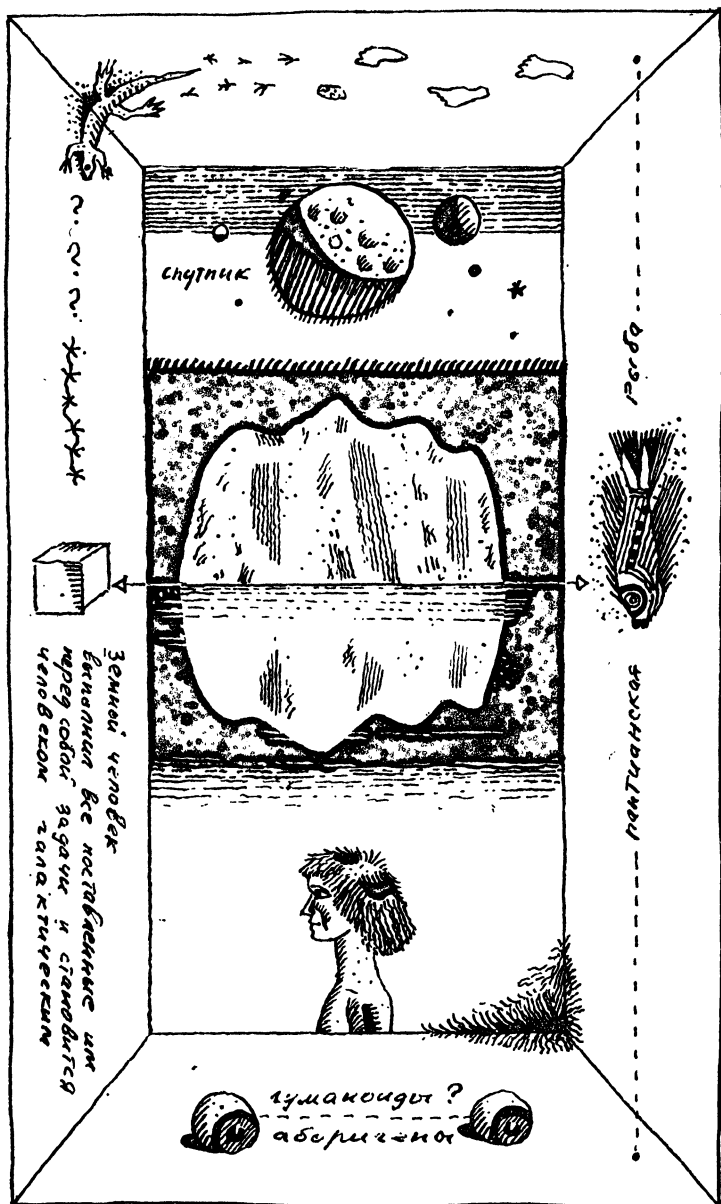
Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то — он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но он опять видел только рыла, рыла, рыла... Зелененькие, бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр... Он знал, что все это надо уничтожить, и он хотел это уничтожить, но ему казалось, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего — только ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову, он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер.

Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлом грунте, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой — всемогущий, всезнающий, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю — там есть все, что тебе надо. Должно быть! Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме детских этих его слов: «Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»

Комарово, февраль — ноябрь 1971 года

МАДЫШ





ПУСТОТА И ТИШИНА

— Знаешь, — сказала Майка, — предчувствие у меня какое-то дурацкое...

Мы стояли возле глайдера, она смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок.

Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне в общем здесь тоже не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара, слепяще-белый иззубренный клык, очень холодный, очень неподвижный, очень цельный, без всех этих живописных мерцаний и переливов, — видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет на зависть всем своим собратьям, неприкаянно дрейфующим в открытом океане. Пляж, гладкий, серо-желтый, сверкающий мириадами чешуек инея, уходил к нему, а справа был океан, свинцовый, дышащий стылым металлом, подернутый зябкой рябью, у горизонта черный, как тушь, противоестественно мертвый. Слева над горячими ключами, над болотом, лежал серый слоистый туман, за туманом смутно угадывались щетиновые сопки, а дальше громоздились отвесные темные

скалы, покрытые пятнами снега. Скалы эти тянулись вдоль всего побережья насколько хватал глаз, а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном ледяном серо-лиловом небе всходило крошечное негреющее солнце.

Вандерхузе вылез из глайдера, немедленно натянул на голову меховой капюшон и подошел к нам.

— Я готов, — сообщил он. — Где Комов?

Майка коротко пожала плечами и подышала на застывшие пальцы.

— Сейчас придет, наверное, — рассеянно сказала она.

— Вы куда сегодня? — спросил я Вандерхузе. — На озеро?

Вандерхузе слегка запрокинул лицо, выпятил нижнюю губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, сразу сделавшись похожим на пожилого верблюда с рысьими бакенбардами.

— Скучно тебе здесь одному, — сочувственно произнес он. — Однако придется потерпеть, как полагаешь?

— Полагаю, что придется.

Вандерхузе еще сильнее запрокинул голову и с той же верблюжьей надменностью поглядел в сторону айсберга.

— Да, — сочувственно произнес он. — Это очень похоже на Землю, но это не Земля. В этом беда с землеподобными мирами. Все время чувствуешь себя обманутым. Обворованным чувствуешь себя. Однако и к этому можно привыкнуть, как ты полагаешь, Майка?

Майка не ответила. Совсем она что-то загрустила сегодня. Или наоборот — злилась. Но с Майкой это вообще-то бывает, она это любит.

Позади, легонько чмокнув, лопнула перепонка люка, и на песок соскочил Комов. Торопливо, на ходу застегивая доху, он подошел к нам и отрывисто спросил:

— Готовы?

— Готовы, — сказал Вандерхузе. — Куда мы сегодня, Геннадий? Опять на озеро?

— Так, — сказал Комов, взясь с застежкой на горле. — Насколько я понял, Майя, у вас сегодня квадрат шестьдесят четыре. Мои точки: западный берег озера, высота семь, высота двенадцать. Расписание уточним в дороге. Попов, вас я попрошу отправить радиogramмы, я оставил их в рубке. Связь со мной через глайдер. Возвращение в восемнадцать ноль-ноль по местному времени. В случае задержки предупредим.

— Понятно, — сказал я без энтузиазма: не понравилось мне это упоминание о возможной задержке.

Майка молча подошла к глайдеру. Комов справился наконец с застежкой, провел ладонью по груди и тоже пошел к глайдеру. Вандерхузе пожал мне плечо.

— Поменьше глазей на все эти пейзажи, — посоветовал он. — Сиди по возможности дома и читай. Береги цветы своей селезенки.

Он неспешно забрался в глайдер, устроился в водительском кресле и помахал мне рукой. Майка наконец позволила себе улыбнуться и тоже помахала мне рукой. Комов, не глядя, кивнул, фонарь задвинулся, и я перестал его видеть. Глайдер неслышно тронулся с места, стремительно скользнул вперед и вверх, сразу сделался маленьким и черным и исчез, словно его не было. Я остался один.

Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на славу, поосунулись, отощали и теперь, развернув энергозаборники на максимум, жадно глотали бледный бульончик, который скармливало им хилое лиловое светило. И ничто иное их не заботило. И ничего больше им было не нужно, даже я им был не нужен, во всяком случае, до тех пор, пока не исчерпается их программа. Правда, неуклюжий толстяк Том каждый раз, когда я попадал в поле его визиров, зажигал рубиновый лобовой сигнал, и при желании это можно было принимать за приветствие, за вежливо-рассеянный поклон, но я-то знал, что это просто означает: «У меня и у остальных все в порядке. Выполняем задание. Нет ли новых указаний?» У меня не было новых указаний. У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины.

Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывает уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная — пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, — тишина огромного, совершенно пустого мира.

Я затравленно огляделся. Вообще-то, наверное, нельзя так говорить о себе; наверное, следовало бы сказать просто: «Я огляделся». Однако на самом деле я огляделся не просто, а именно затравленно. Бесшумно тру-

дились киберы. Бесшумно слепило лиловое солнце. С этим надо было как-то кончать.

Например, можно было собраться наконец и сходить к айсбергу. До айсберга было километров пять, а стандартная инструкция категорически запрещает дежурному удаляться от корабля дальше, чем на сто метров. Наверное, при других обстоятельствах чертовски соблазнительно было бы рискнуть и нарушить инструкцию. Но только не здесь. Здесь я мог уйти и на пять километров, и на двадцать пять, и ничего бы не случилось ни со мной, ни с моим кораблем, ни с десятком других кораблей, рассаженных сейчас по всем климатическим поясам планеты к югу от меня. Не выскочит из этих кожных зарослей кровожадающее чудовище, чтобы пожрать меня, — нет здесь никаких чудовищ. Не налетит с океана свирепый тайфун, чтобы вздыбить корабль и швырнуть на эти угрюмые скалы, — не замечено здесь ни тайфунов, ни прочих землетрясений. Не будет здесь сверхсрочного вызова с базы с объявлением биологической тревоги — не может здесь быть биологической тревоги, нет здесь ни вирусов, ни бактерий, опасных для многоклеточных существ. Ничего здесь нет, на этой планете, кроме океана, скал и карликовых деревьев. Неинтересно здесь нарушить инструкцию.

И выполнять ее здесь неинтересно. На любой порядочной биологически активной планете фига с два я стоял бы вот так, руки в карманах, на третий день после посадки. Я бы мотался сейчас как угорелый. Наладка, запуск и ежесуточный контроль настройки сторожа-разведчика. Организация вокруг корабля — и вокруг строительной площадки, между прочим, Зоны Абсолютной Биологической Безопасности. Обеспечение упомянутой ЗАББ от нападения из-под почвы. Каждые два часа контроль и смена фильтров — внешних бортовых, внутренних бортовых и личных. Устройство могильника для захоронения всех отходов, в том числе и использованных фильтров. Каждые четыре часа стерилизация, дегазация и дезактивация управляющих систем кибермеханизмов. Контроль информации роботов медслужбы, запущенных за пределы ЗАББ. Ну и всякие мелочи: метеозонды, сейсмическая разведка, спелеопасность, тайфуны, обвалы, сели, карстовые сбросы, лесные пожары, вулканические извержения...

Я представил себе, как я, в скафандре, потный, невыспавшийся, злой и уже слегка отупевший, промываю

нервные узлы толстяку Тому, а сторож-разведчик мо-
гается у меня над головой и с настойчивостью идиота в
двадцатый раз сообщает о появлении вон под той коря-
гой страшной крапчатой лягушки неизвестного ему вида,
а в наушниках верещат тревожные сигналы ужасно
взволнованных роботов медслужбы, обнаруживших, что
такой-то местный вирус дает нестандартную реакцию
на пробу Балтерманца и, следовательно, теоретически
способен прорвать биоблокаду. Вандерхузе, который,
как и подобает врачу и капитану, сидит в корабле, оза-
боченно ставит меня в известность, что возникла опас-
ность провалиться в трясину, а Комов с ледяным спо-
койствием сообщает по радио, что двигатель глайдера
съеден маленькими насекомыми вроде муравьев и что
муравьи эти в настоящий момент пробуют на зуб его
скафандр... Уф! Впрочем, на такую планету меня бы,
конечно, не взяли. Меня взяли именно на такую плане-
ту, для которой инструкции не писаны. За ненадобно-
стью.

Перед люком я задержался, отряхнул с подошв при-
ставшие песчинки, постоял немного, положив ладонь на
теплый дышащий борт корабля, и ткнул пальцем в пе-
репонку. В корабле тоже было тихо, но это все-таки бы-
ла домашняя тишина, тишина пустой и уютной кварти-
ры. Я сбросил доху и прошел прямо в рубку. У своего
пульта я задерживаться не стал — я и так видел, что
все хорошо, — а сразу сел за рацию. Радиогаммы ле-
жали на столике. Я включил шифратор и стал набирать
текст. В первой радиогамме Комов сообщал: на базу
координаты предполагаемых стойбищ, отчитывался за
мальков, которые были вчера запущены в озеро, и сове-
товал Китауре не торопиться с пресмыкающимися.
Все это было более или менее понятно, но вот из второй
радиогаммы, адресованной в Центральный информато-
рий, я понял только, что Комову позарез нужны дан-
ные относительно игрек-фактора для двунормального
гуманоида с четырехэтажным индексом, состоящим в
общей сложности из девяти цифр и четырнадцати грече-
ских букв. Это была сплошная и непроницаемая выс-
шая ксенопсихология, в которой я, как и всякий нор-
мальный гуманоид индекса ноль, не разбирался абсо-
лютно. И не надо.

Набрав текст, я включил служебный канал и пере-
дал все сообщения в одном импульсе. Потом я зарегис-
трировал радиогаммы, и тут мне пришло в голову,

что пора бы и мне послать первый отчет. То есть, собственно, что значит — отчет... «Группа ЭР-2, строительные работы по стандарту 15, выполнение столько-то процентов, дата, подпись». Все. Мне пришлось встать и подойти к своему пульта, чтобы взглянуть на график выполнения, и я сразу понял, почему это меня вдруг потянуло на отчет. Не в отчете здесь было дело, а просто я, наверное, уже достаточно опытный кибертехник и почувал перебой, даже ничего не видя и не слыша: Том опять остановился, совсем как вчера, ни с того ни с сего. Как и вчера, раздраженно ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова: «В чем дело?» Как и вчера, сигнал задержки сейчас же погас, и вспыхнул рубиновый огонек: «У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний?» Я дал ему указание возобновить работу и включил видеозэкран. Джек и Рекс усердно работали, и Том тоже двинулся, но в первые секунды как-то странно, чуть ли не боком, однако тут же выровнялся.

— Э, брат, — сказал я вслух, — видно, ты у меня переутомился и надобно тебя, брат, почистить. — Я взглянул в рабочий дневник Тома. Профилактику ему надлежало делать сегодня вечером. — Ладно, до вечера мы с тобой как-нибудь дотянем, как ты полагаешь?

Том не возражал. Некоторое время я смотрел, как они работают, а потом выключил видеозэкран: айсберг, туман над болотом, темные скалы... Хотелось без этого обойтись.

Отчет я все-таки послал и тут же связался с ЭР-6. Вадик откликнулся немедленно, словно только того и ждал.

— Ну, что там у вас? — спросили мы друг друга.

— У нас ничего, — ответил я.

— У нас ящерицы передохли, — сообщил Вадик.

— Эх вы, — сказал я. — Предупреждает же вас Комов, любимый ученик доктора Мбога: не торопитесь вы с пресмыкающимися.

— А кто с ними торопится? — возразил Вадик. — Если ты хочешь знать мое мнение, они здесь просто не живут. Жарища же!

— Купаетесь? — спросил я с завистью.

Вадик помолчал.

— Окунаемся, — сказал он. — Время от времени.

— Что так?

— Пусто, — сказал Вадик. — Вроде кошмарно боль-

шой ванны... Ты этого не поймешь. Нормальный человек такую невероятную ванну представить себе не может. Я здесь заплыл километров на пять, сначала все было хорошо, а потом вдруг как представил себе, что это же не бассейн — океан! И, кроме меня, нет в нем ни единой живой твари... Нет, старик, ты этого не поймешь. Я чуть не потонул.

— Н-да, — проговорил я. — Значит, у вас тоже...

Мы поболтали еще несколько минут, а потом Вадика вызвала база, и мы торопливо распрощались. Я вызвал ЭР-9. Ганс не откликнулся. Можно было бы, конечно, вызвать ЭР-1, ЭР-3, ЭР-4 и так далее — до ЭР-12, поговорить о том, что, мол, пусто, безжизненно, мол, но какой от этого прок? Если подумать, никакого. Поэтому я выключил рацию и переселился к себе за пульт. Некоторое время я сидел просто так — глядел на рабочие экраны и думал о том, что дело, которое мы делаем, это вдвойне хорошее дело: мы не только спасаем пантиан от неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем — от пустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. Потом мне пришлось в голову, что пантиане, наверное, довольно странная раса, если наши ксенопсихологи считают, что эта планета им подходит лучше всего. Станный, должно быть, образ жизни у них на Панте. Вот доставят их сюда — сначала, конечно, не всех, а по два, по три представителя от каждого племени, — и увидят представители этот промерзший пляж, этот айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, увидят и скажут: «Прекрасно! Совсем как дома!» Не верится что-то. Правда, к их приезду здесь уже не будет так пусто. В озерах будет рыба, в зарослях — дичь, на отмелях — съедобные ракушки. Может быть, и ящерицы как-нибудь приживутся... А потом, надо сказать, в положении пантиан не приходится особенно выбирать. Если бы, например, стало известно, что наше Солнце вот-вот взорвется и слизнет с Земли все живое, я, наверное, тоже не был бы таким привередливым. Наверное, сказал бы себе: «Ничего, проживем как-нибудь». Впрочем, пантиан никто и не спрашивает. Они все равно ничего не понимают, космографии у них еще нет, даже самой примитивной. Так и не узнают они, что переселились на другую планету...

И вдруг я обнаружил, что слышу нечто. Такое ощущение, будто ящерица пробежала. Ящерица вспомнилась мне, должно быть, из-за недавнего разговора с

Вадиком, на самом-то деле звук был еле слышный и совершенно неопределенный. Потом в дальнем конце рубки что-то тикнуло — и сейчас же где-то пролилась струйкой вода. На самом пределе слышимости билась и зудела муха, попавшая в паутину, скороговоркой бормотали раздраженные голоса. И снова по коридору пробежала ящерица. Я почувствовал, что у меня свело шею от напряжения, и встал. При этом я задел справочник, лежавший на краю пульта, и он со страшным грохотом обрушился на пол. Я поднял его и со страшным грохотом швырнул обратно на пульт. Я задудел бодрый марш и, печатая шаг, вышел в коридор.

Это все тишина. Тишина и пустота. Вандерхузе каждый вечер объясняет нам это с предельной ясностью. Человек не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить. Он заполняет ее видениями и воображаемыми звуками, если не в состоянии заполнить ее чем-нибудь реальным. Воображаемых звуков я за эти три дня наслышался предостаточно. Надо полагать, скоро начнутся видения...

Я маршировал по коридору мимо пустых кают, мимо библиотеки, мимо арсенала, а когда проходил мимо медицинского отсека, почувствовал слабый запах — свежий и одновременно неприятный, вроде нашатырного спирта. Я остановился и приняхался. Знакомый запах. Хотя что это такое, непонятно. Я заглянул в хирургическую. Постоянно включенный и готовый к действию киберхирург — огромный белый спрут, подвешенный к потолку, — холодно глянул на меня зеленоватыми глазницами и с готовностью приподнял манипуляторы. Запах здесь был гуще. Я включил аварийную вентиляцию и замаршировал дальше. Надо же, до чего у меня все чувства обострились. Уж что-что, а обоняние у меня всегда было негодным...

Свой дозорный марш я закончил на кухне. Здесь тоже было полно запахов, но против этих запахов я ничего не имел. Что бы там ни говорили, а на кухне должно пахнуть. На других кораблях что на кухне, что в рубке — одно и то же. У меня этого нет и не будет. У меня свои порядки. Чистота чистотой, а на кухне должно хорошо пахнуть. Вкусно. Возбуждающе. Мне здесь надлежит четырежды в день составлять меню, и это, заметьте, при полном отсутствии аппетита, потому что аппетит и пустота — тишина — вещи, по-видимому, несовместимые...

На составление меню мне потребовалось не менее получаса. Это были трудные полчаса, но я сделал все, что мог. Потом я включил повара, втолковал ему меню и пошел взглянуть, как работают мои ребяташки.

Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП. Все три рабочих экрана на моем пульте показывали полный останов. Я подбежал к пульту и включил видео-экран. Сердце у меня екнуло: строительная площадка была пуста. Такого у меня еще никогда не случалось. Я даже не слыхивал, что такое вообще может случиться. Я помотал головой и бросился к выходу. Киберов кто-то увел... Шальной метеорит... Стукнул Тома в крестец... Взбесилась программа... Невозможно, невозможно! Я влетел в кессон и схватил доху. Руки не попадали в рукава, куда-то пропали застёжки, и, пока я сражался с дохой, как барон Мюнхгаузен со своей взбесившейся шубой, перед глазами моими стояла жуткая картина: кто-то неведомый и невозможный ведет моего Тома, как собачонку, и киберы покорно ползут прямо в туман, в курящуюся топь, погружаются в бурую жижу и исчезают навсегда... Я с размаху пнул ногой в перепонку и выскочил наружу.

У меня все поплыло перед глазами. Киберы были здесь, у корабля. Они толпились у грузового люка, все трое, легонько отталкивая друг друга, как будто каждый пытался первым попасть в трюм. Это было невозможно, это было страшно. Они словно стремились поскорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спастись... Известно такое явление второй природы — взбесившийся робот, оно бывает очень редко, а о взбесившемся строительном роботе я не слышал никогда. Однако нервы у меня были так взвинчены, что сейчас я был готов к этому. Но ничего не произошло. Заметив меня, Том перестал ерзать и включил сигнал «жду указаний». Я решительно показал ему руками: «Вернуться на место, продолжать выполнение программы». Том послушно включил задний ход, развернулся и покатил обратно на площадку. Джек и Рекс, естественно, последовали за ним. А я все стоял возле люка, в горле у меня пересохло, колени ослабели, и мне очень хотелось присесть.

Но я не присел. Я принялся приводить себя в порядок. Доха на мне была застегнута вкривь и вкось, уши мерзли, на лбу и на щеках быстро застывал пот. Медленно, стараясь контролировать все свои движения, я

вытер лицо, застегнулся как следует, надвинул на глаза капюшон и натянул перчатки. Стыдно признаться, конечно, но я испытывал страх. Собственно, это уже был не сам страх, это были остатки пережитого страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, который испугался собственных киберов... Мне стало совершенно ясно, что об этом случае я никогда и никому не расскажу. Елки-палки, у меня же ноги тряслись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и больше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в корабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, разобраться. Справочники кое-какие просмотреть. А на самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться к моим ребятишкам...

Я решительно засунул руки в карманы и зашагал к стройплощадке. Ребятишки трудились как ни в чем не бывало. Том, как всегда, предупредительно запросил у меня новые указания. Джек обрабатывал фундамент диспетчерской, как ему и было положено по программе. Рекс зигзагами ходил по готовому участку посадочной полосы и занимался расчисткой. Да, что-то у них не в порядке все-таки с программой. Камней каких-то на полосу накидали... Не было этих камней, да и не нужны они тут, хватает строительного материала и без камней. Да, как Том тогда остановился, так с тех пор весь последний час они тут делали что-то не то. Сучья какие-то валяются на полосе... Я наклонился, поднял сучок и прошелся взад-вперед, похлопывая себя этим сучком по голенищу. А не остановить ли мне их подобру-поздорову прямо сейчас, не дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки-палки, я где-то напахал в программе? Уму непостижимо... Я бросил сучок в кучу камней, собранных Рексом, повернулся и пошел к кораблю.

Глава вторая

ТИШИНА И ГОЛОСА

Следующие два часа я был очень занят, так занят, что не замечал ни тишины, ни пустоты. Для начала я посоветовался с Гансом и Вадиком. Ганса я разбудил, и спросонок он только мычал и мямлил какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. Толку от него не получилось никакого. Вадика мне пришлось долгое время убеждать, что я не шучу и не разыгрываю. Это было тем более трудно, что меня все время душил нервный смех.

В конце концов я убедил его, что мне не до шуток и что для смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже сделался серьезным и сообщил, что у него у самого старший кибер время от времени спонтанно останавливается, но в этом как раз нет ничего удивительного: жара, работа идет на пределе технических норм, и система еще не успела аккомодироваться. Может быть, все дело в том, что у меня здесь холод? Может быть, все дело было в этом, я еще не знал. Я, собственно, надеялся выяснить это у Вадика. Тогда Вадик вызвал головастую Нинон с ЭР-8, мы обсудили эту возможность втроем, ничего не придумали, и головастая Нинон посоветовала мне связаться с главным киберинженером базы, который зубы съел именно на этих строительных системах, чуть ли не их создатель. Ну, это-то я и сам знал, однако мне совсем не улыбалось лезть к главному за консультацией уже на третий день самостоятельной работы, да еще не имея за душой ни одного, буквально ни одного толкового соображения.

В общем, я сел за свой пульт, развернул программу и принялся ее вылизывать — команду за командой, группу за группой, поле за полем. Надо сказать, никаких дефектов я не обнаружил. За ту часть программы, которую составлял я сам, я и раньше готов был отвечать головой, а теперь готов был отвечать и своим добрым именем вдобавок. Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие из них были мне знакомы мало, и, если бы я взялся каждое такое стандартное поле контролировать заново, обязательно бы сорвал график работ. Поэтому я решился на компромисс. Я временно выключил из программы все поля, которые пока не были нужны, упростил программу до наивозможнейшего предела, ввел ее в систему управления и положил было палец на пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже в течение некоторого времени я опять слышу нечто — нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и невероятно знакомое.

Плакал ребенок. Где-то далеко, на другом конце корабля, за многими дверями отчаянно плакал, надрываясь и захлебываясь, какой-то ребеночек. Маленький, совсем маленький. Годик, наверное. Я медленно поднял руки и прижал ладони к ушам. Плач прекратился. Не опуская рук, я встал. Точнее сказать, я обнаружил, что уже некоторое время стою на ногах, зажимая уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что челюсть у меня

отвисла. Я закрыл рот и осторожно отвел ладони от ушей. Плача не было. Стояла обычная проклятая тишина, только звенела в невидимом углу муха, запутавшаяся в паутине. Я достал из кармана платок, неторопливо развернул его и тщательно вытер лоб, щеки и шею. Затем, так же неторопливо сворачивая платок, я прошелся перед пультом. Мыслей у меня не было никаких. Я постучал костяшками пальцев по кожуху вычислителя и кашлянул. Все было в порядке, я слышал. Я шагнул обратно к креслу, и тут ребенок заплакал снова.

Не знаю, сколько времени я стоял столбом и слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и не обиженный рев карапуза лет четырех-пяти — вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть — год с небольшим...

Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Придерживаясь за пульт, я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал.

— Ну как у тебя дела? — осведомился Вадик.

— Никак, — сказал я.

— Ничего не придумал?

— Ничего, — сказал я. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой.

— Что-то тебя плохо слышно, — сказал Вадик. — Так что же ты думаешь делать?

— Как-нибудь, — пробормотал я, плохо соображая, что говорю. Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно.

— Ты что это, Стась? — озабоченно сказал Вадик. — Я тебя разбудил, что ли?

Больше всего мне хотелось сказать: «Слушай, Вадька, у меня здесь все время плачет какой-то ребенок. Что мне делать?» Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято. Поэтому я откашлялся и сказал:

— Ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклеывается, но я еще не вполне уверен...

— Ла-а-адно, — озадаченно протянул Вадик и отключился.

Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к

своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил два часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь! Может быть, сообщить на базу и попросить приготовить замену? Обидно-то как, елки-палки... Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если останусь здесь, в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться, ничего не смогу делать, только прислушиваться, и я, конечно, услышу, я здесь такое услышу!..

Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я не оглядываясь зашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. Айсберги, туманы, океаны — все это меня отныне не интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж много у меня этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше.

Прежде всего я проверил Тому рефлексy. Рефлексy у Тома оказались в превосходном состоянии. «Отлично!» — сказал я вслух, извлек из футляра скальпель и одним движением, как на экзаменах, вскрыл Тому заднюю черепную коробку.

Я работал с упоением, даже с остервенением каким-то, быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу сказать: никогда в жизни я так не работал. Мерзли пальцы, мерзло лицо, дышать приходилось не как попало, а с умом, чтобы иней не оседал на операционном поле, но я и думать не хотел о том, чтобы загнать киберов в корабельную мастерскую. Мне становилось все легче и легче, ничего неподобающего я больше не слышал, я уже забыл о том, что могу услышать неподобающее, и дважды сбегал в корабль за сменными узлами для координационной системы Тома. «Ты у меня будешь как новенький, — приговаривал я. — Ты у меня больше

не будешь бегать от работы. Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю; в люди выведу. Хочешь небось выйти в люди? Еще бы! В людях хорошо, в людях тебя любить будут, холить будут, лелеять. Но ведь что я тебе скажу? Куда тебе в люди с таким блоком аксиоматики? С таким блоком аксиоматики тебя не то что в люди — в цирк тебя не возьмут. Ты с таким блоком аксиоматики все подвергнешь сомнению, задумываться станешь, научишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, мол? Да зачем все это нужно? Для чего все эти посадочные полосы, фундаменты? А сейчас я тебя, голубчик...»

— Шура... — простонал совсем рядом хриплый женский голос. — Где ты, Шура... Больно...

Я замер. Я лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех сторон колоссальными буграми его рабочих мышц, только ноги мои торчали наружу, и мне вдруг стало невероятно страшно, как в самом страшном сне. Я просто не знаю, как я сдержался, чтобы не заорать и не забиться в истерику. Может быть, я потерял сознание на некоторое время, потому что долго ничего не слышал и ничего не соображал, а только пялил глаза на озаренную зеленоватым светом поверхность обнаженного нервного вала у себя перед лицом.

— Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... — хрипела женщина, корчась от невыносимой боли. — Здесь кто-то есть... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помогите мне, я ничего не вижу...

Она хрипела и плакала, и повторяла снова и снова одно и то же, и мне уже мерещилось, что я вижу ее искаженное лицо, залитое смертным потом, и в хрипе ее была уже не только мольба, не только боль, в нем была ярость, требование, приказ. Я почти физически ощутил, как ледяные цепкие пальцы тянутся к моему мозгу, чтобы вцепиться, стиснуть его и погасить. Уже в полубеспамятстве, сжимая до судороги зубы, я нащупал левой рукой пневматический клапан и изо всех сил надавил на него. С диким воющим ревом ринулся наружу сжатый аргон, а я все нажимал и нажимал на клапан, сметая, разбивая в пыль, уничтожая хриплый голос у себя в мозгу, я чувствовал, что глохну, и чувство это доставляло мне невыразимое облегчение.

Потом оказалось, что я стою рядом с Томом, холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: «Звуковая за-

веса, понятно? Звуковая завеса...» Том стоял, сильно накренившись на правый бок, а мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дохи, и вспомнил, что доху я сбросил как раз на то место, где сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного, ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой трусой побежал к кораблю.

В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же лег на койку лицом к стене, накрывшись дохой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту забывал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то: вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел.

Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики, и, немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие, совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно обидно, и — чего там говорить! — стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался, а уж, казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной, и стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в самом черном свете — тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы психологов и целые моря сочувствия и жалости, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, обрушивающиеся на человека со всех сторон...

Я рывком отшвырнул доху и сел. «Ладно, — сказал я тишине и пустоте, — ваша взяла. Горбовского из ме-

ня не вышло. Переживем как-нибудь... Значит, так. Сегодня же я расскажу обо всем Вандерхузе, и завтра, наверное, пришлют мне замену. Елки-палки, а у меня на площадке что творится! Том демобилизован, график сломался, ямища эта дурацкая рядом с полосой...» Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ируканских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. «Звуковая завеса», — сказал я себе в последний раз. Взявши доху под мышку, я снова вышел в кессон, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы совершенно уже успокоиться, включил кристалл и шагнул наружу.

Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня ревели варварские трубы, лязгала бронза, долбили барабаны; покрытые оранжевой пылью телемские легионы, тяжело печатая шаг, шли через древний город Сэтэм; пылали башни, рушились кровли, и страшно, угнетая рассудок врага, свистели боевые драконы-стенобитчики. Окруженный и огражденный этими шумами тысячелетней давности, я снова забрался во внутренности Тома и теперь без всякой помехи довел профилактику до конца.

Джек и Рекс уже заравнивали яму, а в потроха Тома нагнетались последние литры аргона, когда я увидел над пляжем стремительно растущее черное пятнышко. Глайдер возвращался. Я взглянул на часы — было без двух минут восемнадцать по местному времени. Я выдержал. Теперь можно было выключить литавры и барабаны и заново обдумать вопрос: стоит ли беспокоить Вандерхузе, беспокоить базу, ведь сменщика найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки, работа на всей планете может из-за этого задержаться, набегут всякие комиссии, начнутся контрольные проверки и перепроверки, дело остановится, Вадик будет ходить злой, как черт, а если вдобавок представить себе, как глянет на меня доктор ксенопсихологии, член Комкона, специальный уполномоченный по проекту «Ковчег» Геннадий Комов, восходящее светило науки, любимый ученик доктора Мбога, новый соратник самого Горбзовского... Нет, все это надо тщательно продумать. Я глядел на приближающийся глайдер и думал: «Все это надо продумать самым тщательнейшим образом. Во-первых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, есть у меня предчувствие, что все это мы временно отложим. В конце кон-

цов, переживания мои касаются меня одного, а отставка моя касается уже не только меня, но и, можно сказать, всех. Да и звуковая завеса себя превосходно показала. Так что, пожалуй, все-таки отложим».

Все эти мысли разом вылетели у меня из головы, едва я увидел лица Майки и Вандерхузе. Комов — тот выглядел как обычно и, как обычно, озирался с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему персонально, принадлежит давно и уже порядком надоело. А вот Майка была бледна прямо-таки до синевы, как будто ей было дурно. Уже Комов соскочил на песок и коротко осведомился у меня, почему я не откликался на радиовывозы (тут глаза его скользнули по кристаллофону на моем ухе, он пренебрежительно усмехнулся и, не дожидаясь ответа, прошел в корабль). Уже Вандерхузе неторопливо вылез из глайдера и подходил ко мне, почему-то грустно кивая, более чем когда-либо похожий на занемогшего пожилого верблюда. А Майка все неподвижно сидела на своем месте, нахохлившись, спрятав подбородок в меховой воротник, и глаза у нее были какие-то стеклянные, а рыжие веснушки казались черными.

— Что случилось? — испуганно спросил я.

Вандерхузе остановился передо мной. Голова его задралась, нижняя челюсть выдвинулась. Он взял меня за плечо и легонько потряс. Сердце у меня ушло в пятки, я не знал, что и подумать. Он снова тряхнул меня за плечо и сказал:

— Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погибший корабль.

Я судорожно глотнул и спросил:

— Наш?

— Да. Наш.

Майка выползла из глайдера, вяло махнула мне рукой и направилась к кораблю.

— Много убитых? — спросил я.

— Двое, — ответил Вандерхузе.

— Кто? — с трудом спросил я.

— Пока не знаем. Это старый корабль. Авария произошла много лет назад.

Он взял меня под руку, и мы вместе пошли следом за Майкой. У меня немного отлегло от сердца. Поначалу я, естественно, решил, что разбился кто-нибудь из нашей экспедиции. Но все равно...

— Никогда мне эта планета не нравилась, — вырвалось у меня.

Мы вошли в кессон, разделись, и Вандерхузе принялся обстоятельно очищать свою доху от приставших репьев и колючек. Я не стал его дожидаться и пошел к Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, повернувшись лицом к стене. Эта поза мне сразу кое-что напомнила, и я сказал себе: а ну-ка поспокойнее, без всяких этих соплей и сопереживаний. Я сел за стол, побарабанил пальцами и осведомился самым деловым тоном:

— Слушай, корабль действительно старый? Вандер говорит, что он разбился несколько лет назад. Это так?

— Так, — не сразу ответила Майка в стену.

Я покосился на нее. Острые кошачьи когти пробороzdили по моей душе, но я продолжал все так же деловито:

— Сколько это — много лет? Десять? Двадцать? Чепуха какая-то получается. Планета-то открыта всего два года назад...

Майка не ответила. Я снова побарабанил пальцами и сказал тоном ниже, но все еще по-деловому:

— Хотя, конечно, это могли быть первопроходцы... какие-нибудь вольные исследователи... Двое их там, как я понял?

Тут она вдруг взметнулась над койкой и села лицом ко мне, упершись ладонями в покрывало.

— Двое! — крикнула она. — Да! Двое! Коряга ты бесчувственная! Дубина!

— Подожди, — сказал я ошеломленно. — Что ты...

— Ты зачем сюда пришел? — продолжала она почти шепотом. — Ты к роботам своим иди, с ними вот обсуждай, сколько там лет прошло, какая чепуха получается, почему их там двое, а не трое, не семеро...

— Да подожди, Майка! — сказал я с отчаянием. — Я же совсем не то хотел...

Она закрыла лицо руками и невнятно проговорила:

— У них все кости переломаны... но они еще жили... пытались что-то делать... Слушай, — попросила она, отняв руки от лица, — уйди, пожалуйста. Я скоро выйду. Скоро.

Я осторожно поднялся и вышел. Мне хотелось ее обнять, сказать что-то ласковое, утешительное, но утешать я не умел. В коридоре меня вдруг затрясло. Я ос-

тановился и подождал, пока это пройдет. Ну и денек выдался! И ведь никому не расскажешь. Да и не надо, наверное. Я разжмурил глаза и увидел, что в дверях рубки стоит Вандерхузе и смотрит на меня.

— Как там Майка? — спросил он негромко.

Наверное, по моему лицу было видно — как, потому что он грустно кивнул и скрылся в рубке. А я поплелся на кухню. Просто по привычке. Просто так уж повелось, что сразу после возвращения глайдера все мы садились обедать. Но сегодня, видно, все будет по-другому. Какой тут может быть обед... Я накричал на повара, потому что мне показалось, будто он переврал меню. На самом деле он ничего не переврал, обед был готов, хороший обед, как обычно, но сегодня должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообще ничего не станет есть, а надо, чтобы поела. И я заказал для нее повару фруктовое желе со взбитыми сливками — единственное ее любимое лакомство, которое я знал. Для Комова я решил ничего дополнительно не заказывать, для Вандерхузе, подумавши, тоже, на всякий случай ввел в общую часть меню несколько стаканов вина — вдруг кто-нибудь захочет подкрепить свои душевные силы... Потом я отправился в рубку и уселся за свой пульт.

Ребятишки мои работали, как часы, Майки в рубке не было, а Вандерхузе с Комовым составляли экстренную радиограмму на базу. Они спорили.

— Это не информация, Яков, — говорил Комов. — Вы же лучше меня знаете: существует определенная форма — состояние корабля, состояние отсеков, предполагаемые причины крушения, находки особого значения... ну и так далее.

— Да, конечно, — отвечал Вандерхузе. — Но согласитесь, Геннадий, вся эта проформа имеет смысл только для биологически активных планет. В данной конкретной ситуации...

— Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда давайте сядем в глайдер, слетаем туда сейчас же и сегодня же составим полный акт...

Вандерхузе покачал головой.

— Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссия такого рода должны состоять из трех человек как минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не будет возможности произвести детальный осмотр окружающей местности... И вообще такие вещи надо делать на све-

жую голову, а не после полного рабочего дня. Как вы полагаете, Геннадий?

Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком по столу.

— Ах, как это некстати, — произнес он с досадой.

— Такие вещи всегда некстати, — утешил его Вандерхузе. — Ничего, завтра утром мы отправимся туда втроем...

— Может быть, тогда сегодня вообще ничего не сообщать? — перебил его Комов.

— А вот на это я не имею права, — сказал с сожалением Вандерхузе. — Да и зачем нам это — не сообщать?

Комов встал и, заложив руки за спину, посмотрел на Вандерхузе сверху вниз.

— Как вы не понимаете, Яков, — уже с откровенным раздражением произнес он. — Корабль старого типа, неизвестный корабль, бортжурнал почему-то стерт... Если мы пошлем донесение в таком виде, — он схватил со стола листок и помахал им перед лицом Вандерхузе, — Сидоров решит, что мы не хотим или неспособны самостоятельно провести экспертизу. Для него это еще одна забота — создавать комиссию, искать людей, отбиваться от любопытствующих бездельников... Мы поставим себя в смешное и глупое положение. И потом, во что превратится наша работа, Яков, если сюда явится толпа любопытствующих бездельников?

— Гм, — сказал Вандерхузе. — То есть, иначе говоря, вы не хотите скопления посторонних на нашем участке. Так?

— Именно так, — произнес Комов твердо.

Вандерхузе пожал плечами.

— Ну что ж... — Он подумал немного, отобрал у Комова листок и приписал к тексту несколько слов. — А в таком виде пойдет? «ЭР-два базе, — скороговоркой прочитал он. — Экстренная. В квадрате сто два обнаружен потерпевший крушение земной корабль типа «Пеликан», регистрационный номер такой-то, в корабле останки двух человек, предположительно мужчины и женщины, бортжурнал стерт, подробную экспертизу... — тут Вандерхузе повысил голос и значительно поднял палец, — начинаем завтра». Как вы полагаете, Геннадий?

Несколько секунд Комов в задумчивости покачивался с носка на пятку.

— Ну что ж, — проговорил он наконец, — пусть бу-

дет так. Что угодно, лишь бы нам не мешали. Пусть будет так.

Он вдруг сорвался с места и вышел из рубки. Вандерхузе повернулся ко мне.

— Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, как ты полагаешь? — Он поднялся и задумчиво произнес одну из своих загадочных фраз: — Было бы алиби, а трупы найдутся.

Я зашифровал радиogramму и послал ее в экстренном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-то совсем недавно, буквально минуту назад, вонзилось в подсознание и мешало там, как заноза. Я посидел перед рацией, прислушиваясь. Да, это совсем другое дело — прислушиваться, когда знаешь, что в корабле полно народа. Вот по кольцевому коридору быстро прошагал Комов. У него всегда такая походка, словно он куда-то спешит, но вместе с тем знает, что мог бы и не спешить, потому что без него ничего не начнется. А вот гудит что-то неразборчивое Вандерхузе. Майка отвечает ему, и голос у нее обыкновенный, высокий и независимый, видимо, она уже успокоилась или, по крайней мере, сдерживается. И нет ни тишины, ни пустоты, ни мух в паутине... И я вдруг понял, что это за заноза: голос умирающей женщины в моем бреде и умершая женщина в разбитом звездолете... Совпадение, конечно... Страшненькое совпадение, что и говорить.

Глава третья

ГОЛОСА И ПРИЗРАКИ

Сколь это ни удивительно, но спал я как убитый. Утром я — по обыкновению — поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребяташки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались, я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он против обыкновения неторопливо, словно бы задумавшись, и

в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом:

— Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь один, вы отлучаетесь куда-нибудь от корабля?

— То есть? — Я удивился даже не столько его вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношение сложное. Я его недолюбливаю.

— То есть ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам...

Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека. Причем сами в теплой дохе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике на голое тело. Но при всем при том Геннадий Комов есть Геннадий Комов, и я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил:

— Нет. У меня и так времени не хватает. Не до прогулок.

Тут он наконец соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк, сказав: «Прошу вас. Холодно». Но в кессоне он меня остановил снова:

— А роботы от стройплощадки удаляются?

— Роботы? — Никак я не мог понять, куда он клонит. — Нет. Зачем?

— Ну, я не знаю... Например, за строительными материалами.

Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал растягивать доху. Я начал злиться. Если он каким-нибудь образом пронюхал о неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос в самом деле...

— Строительным материалом для киберсистемы данного типа, — как можно суше сказал я, — является тот материал, который у киберсистемы под ногами. В данном случае песок.

— И камни, — добавил он небрежно, вешая доху на крючок.

Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело, и я с вызовом откликнулся:

— Да! Если попадутся, то и камни.

Он впервые посмотрел мне в глаза.

— Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов, — с неожиданной мягкостью произнес он. — Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы единственный человек, который может их разрешить.

Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему.

— В общем-то, конечно, камни им ни к чему, — сказал я. — Вчера у меня система немножко барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем это им понадобилось. Потом, конечно, убрали.

Он кивнул.

— Да, я заметил. А какого рода была неполадка?

Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснения и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, я сообразил, что мне так и осталось непонятным, какие такие недоумения одолевали любимца доктора Мбога и насколько мне удалось их разрешить. И удалось ли вообще. Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось.

Геннадий Комов вообще, как правило, имеет вид человека не от мира сего. Вечно он высматривает что-то за далекими горизонтами и думает о чем-то своем, дьявольски возвышенном. На землю он спускается в тех случаях, когда кто-то или что-то, случайно или с умыслом, становится препятствием для его изысканий. Тогда он недрогнувшей рукой, зачастую совершенно беспощадно, устраняет препятствие и вновь взмывает к себе на Олимп. Так, во всяком случае, о нем рассказывают, и, в общем-то, ничего такого-этакого тут нет. Когда человек занимается проблемой инопланетных психологий, причем занимается успешно, дерется на самом переднем крае и себя совершенно не жалеет; когда при этом он, как говорят, является одним из выдающихся «футурмастеров» планеты, тогда ему можно многое простить и относиться к его манерам с определенным снисхождением. В конце концов, не всем быть такими обаятельными, как Горбовский или доктор Мбога.

С другой стороны, последние дни я все чаще и чаще с удивлением и горечью вспоминал восторженные рассказы Татьяны, которая проработала с Комовым целый год, была, по-моему, в него влюблена и отзывалась о нем как о человеке редкостной общительности, тончайшего остроумия и все такое прочее. Она прямо так и называла его: душа общества. Что это за общество, у которого такая душа, я представить себе не могу.

Да, так вот Геннадий Комов всегда производил на меня впечатление человека не от мира сего. Но сегодня за завтраком он превзошел самого себя. Еду свою он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и рассеянно спровадит тарелку в мусоропровод. Горчицу путал с маслом. Намажет сладкий гренек, попробует и рассеянно спровадит вслед за тарелкой. Якову Вандерхузе на вопросы не отвечал, зато, как пиявка, привязался к Майке, добиваясь, все ли время они с Вандером на съемке ходят вдвоем или иногда расстаются. И еще он время от времени вдруг принимался озираться — нервно, а один раз вдруг вскочил, выбежал в коридор, отсутствовал несколько минут и вернулся как ни в чем не бывало — опять мазать гренки горчицей, пока эту злощастную горчицу не убрали от него вовсе.

Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, глядела в тарелку и за весь завтрак ни разу не улыбнулась. Впрочем, что делается с ней, я как раз понимал. Я бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприятием. В конце концов, Майка — моя ровесница, хотя опыт работы у нее значительно больше, но это совсем не тот опыт, который сегодня ей понадобится.

Одним словом, Комов явно нервничал, Майка нервничала, Вандерхузе тоже, глядя на них, стал обнаруживать некоторые признаки беспокойства, и мне стало ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии в предстоящей экспертизе решительно неуместно. Я понял, что сегодня мне опять предстоит целый рабочий день тишины и пустоты, и тоже стал нервничать. Атмосфера за столом сделалась прямо-таки напряженной. И тогда Вандерхузе, как командир корабля и врач, решил эту атмосферу разрядить. Он задрал голову, выдвинул челюсть и длинно посмотрел на нас поверх носа. Рысьи бакенбарды его растопырились. Для начала он рассказывал несколько анекдотов из быта звездолетчиков. Анекдоты были старые, заезженные, я заставлял себя улыбаться, Майка никак не реагировала, а Комов реаги-

вал как-то странно. Слушал он внимательно и серьезно, в ударных местах кивал, а потом задумчиво оглядел Вандерхузе и произнес внушительно:

— А'знаете, Яков, к вашим бакенбардам очень пошли бы кисточки на ушах.

Это было хорошо сказано, и при других обстоятельствах я порадовался бы острому словцу, но сейчас мне это показалось совершенно бестактным. Впрочем, сам Вандерхузе был, очевидно, противоположного мнения. Он самодовольно ухмыльнулся, согнутым пальцем взбил свои бакенбарды — сначала левый, а затем правый — и поведал нам следующую историю:

— Является на некую цивилизованную планету один землянин, входит он в контакт и предлагает аборигенам свои услуги в качестве крупнейшего на Земле специалиста по конструированию и эксплуатации вечных двигателей первого рода. Аборигены натурально смотрят этому посланцу сверхразума в рот и, следуя его указаниям, немедленно принимаются строить. Построили. Не работает вечный двигатель. Землянин крутит колеса, ползает среди стержней и всяких шестеренок и бранится, что все сделано не так. «Технология, — говорит, — у вас отсталая, вот эти узлы надо решительно переделать, а вон те так и вообще заменить, как вы предполагаете?» Аборигенам деваться некуда. Принимаются они переделывать и решительно заменять. И только это они закончили, как вдруг прибывает с Земли ракета «Скорой помощи», санитары хватают изобретателя и делают ему надлежащий укол, врач приносит аборигенам свои извинения, и ракета отбывает. Аборигены в тоске и смущении, стыдась глядеть друг другу в глаза, начинают расходиться и тут замечают, что двигатель-то заработал. Да, друзья мои, двигатель заработал и продолжает работать до сих пор, вот уже полтораста лет.

Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхузе выдумал ее сам и скорее всего только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже. Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхузе и не спускал с него причесуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной. «Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности, хотя еще в

начале двадцать первого века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования: там, где нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все так, каково оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. Между прочим, — продолжал Комов, понемножку разгораясь, — это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта окажется именно шизоидный индивидуум, и, поскольку своевременно неразгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания».

Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею, и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полукоткрытым ртом, сразу увяла. Я тоже сразу увял: все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло. Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компания, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко взял меня за локоть и, как-то жутковато-пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил:

— Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось?

Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная пронизательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент. Я отстранился и с безмерным изумлением спросил:

— О чем вы, Геннадий Юрьевич?

Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее:

— Вы боитесь остаться один?

Но я уже прочно сидел в седле.

— Боюсь? — переспросил я. — Ну, это слишком

сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки...

Он отпустил мой локоть.

— А может быть, полетите с нами?

Я пожал плечами.

— Я бы с удовольствием. Но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться.

— Ну-ну! — произнес он с неопределенным выражением, резко повернулся и вышел.

Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя как после хорошо сданного экзамена.

Они помахали мне на прощание и улетели, а я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся на корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих ребятишек, читал, принимал радиogramмы, беседовал с Вадимом и Нинон (было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже всюю играет музыка), я затеял уборку помещения, я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил — и все это в громе, звоне, в завывании флейт и в мяуканье нэкофонов. В общем, я старательно, безжалостно и с пользой для себя и окружающих убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль: откуда Комов узнал о моей слабости и что он в связи с этим намерен предпринять. Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, эта странная интерлюдия в дверях кают-компании... Елки-палки, ведь он предложил мне лететь с ним, он явно опасался оставить меня одного! Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил...

В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В пятнадцать часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне с тщательно продуманной сдержанной приветливостью, не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после шестичасового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что

Майка, которая, к вящей моей радости, выглядела вполне удовлетворительно, воззрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с ног до головы и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте.

— Подкрепиться? — раздумчиво проговорил Вандерхузе. — Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертное заключение, так что если бы ты как-нибудь мимоходом занес мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно, как ты полагаешь?

Я сказал, что принесу, Вандерхузе удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил два стаканчика тонизирующего: один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность, натянутость какая-то, и, чтобы помочь ей разрядиться, я спросил:

— Ну, что там с кораблем?

Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла:

— Знаешь, Стась, все это неспроста.

Я подождал продолжения, но она молчала.

— Что — неспроста? — спросил я.

— Все! — Она неопределенно повела рукой со стаканом. — Кастрированный мир. Бледная немочь. Помяни мое слово: и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно, и вообще вся эта наша затея, весь проект — все провалится на этой планетке! — Она допила вино и поставила стакан на стол. — Элементарные правила безопасности не соблюдаются, большинство работников здесь мальки вроде тебя, да и меня тоже... и все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело! Ведь любой человек с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда — и в один миг все кончилось... Биологически пассивная? Да! Но зато активная некротически. Вот и Панта будет такой через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка, и все вокруг пропитано древними смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того — запах бывшей жизни! Нет, Стась, помяни мое слово, не приживутся здесь пантиане, не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для це-

лого человечества? Нет, не новый дом, а старый замок с привидениями...

Я вздрогнул. Она заметила, но поняла неправильно.

— Ты не беспокойся, — сказала она, печально улыбаясь. — Я в полном порядке. Просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствия, если мне на язык лезут все эти словечки: некротический, привидения...

Она опять прошла по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала:

— Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс — все как по заказу для проекта «Ковчег». Но, даю тебе голову на отсечение, никто из организаторов этой затеи здесь не был, а если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жизнь, что ли, ни на грош не оказалось... Ну понятно, это все старые волки, все в шрамах, все прошли через разнообразные ады... чутье на материальную опасность у них великолепное! Но вот на это... — Она пощелкала пальцами и даже, бедняжка, сморщилась от бессилия выразить. — А впрочем, откуда я знаю, может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное, а как это объяснишь тем, кто здесь не был? Но ты-то меня хоть немножко понимаешь?

Она смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался и, поколебавшись, соврал:

— Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права...

— Вот видишь, — сказала она, — даже ты не понимаешь. Ну ладно, хватит об этом. — Она села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась. — Выговорились, и как-то легче стало. С Комовым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться — сгноит в медотсеке...

Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сразу же спало, и разговор превратился в легкий треп. Я пожаловался ей на вчерашние неприятности с роботами, рассказал, как Вадик купался один в целом океане, и спросил, как продвигаются квартирьерские дела. Майка ответила, что они наметили четыре места для стойбищ, места вообще-то хорошие, и при прочих равных условиях любой пантианин с удовольствием провел бы здесь всю свою жизнь, но, поскольку вся эта затея все равно обречена, говорить особенно не о чем. Я напомнил Май-

ке, что она всегда отличалась природным скептицизмом и что скептицизм этот далеко не всегда оправдывался. Майка возразила, что речь сейчас идет уже не о природном скептицизме, а о скептицизме природы и что я вообще салага, малек и, по сути, должен был бы стоять перед нею, опытной Майкой, по стойке «смирно». Тогда я сказал ей, что настоящий опытный человек никогда не станет спорить с кибертехником, ибо кибертехник является на корабле той осью, вокруг которой, собственно, происходит все коловращение жизни. Майка заметила, что большинство осей вращения являются, по сути, понятием воображаемым, не более чем геометрическими местами точек... Потом мы затеяли спор, есть ли разница между понятиями «ось вращения» и «ось коловращения», в общем, мы трепались, и со стороны, вероятно, это выглядело довольно мило, но не знаю, о чем там в это время думала Майка, а я лично вторым планом все время прикидывал, не заняться ли мне прямо сейчас профилактикой всех систем обеспечения безопасности. Правда, системы эти были рассчитаны на опасность биологическую, и невозможно было сказать, годятся ли они против опасности некротической, но при всем при том береженого бог бережет, под лежащий камень вода не течет, и вообще: тише едешь — дальше будешь.

Словом, когда Майка стала позевывать и жаловаться на недосып, я отослал ее вздремнуть перед обедом, а сам прежде всего полез в библиотеку, отыскал толковый словарь и посмотрел, что такое «некротический». Толкование произвело на меня тяжелое впечатление, и я решил начать профилактику немедленно. Предварительно, правда, я забежал в рубку посмотреть, как работают мои ребяташки, и застал там Вандерхузе как раз в тот момент, когда он складывал аккуратной стопочкой свое экспертное заключение. «Сейчас отнесу это Комову, — объявил он, увидев меня, — потом дам посмотреть Майке, а потом устроим обсуждение, как ты полагаешь? Позвать тебя?» Я сказал, что позвать, и сообщил, что буду в отсеке обеспечения безопасности. Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал и вышел.

Меня позвали часа через два. Вандерхузе по интеркому объявил, что заключение прочитали все члены комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и я. Я, конечно, хотел бы, но профилактика у меня была в самом разгаре, сторож-разведчик наполовину выпотрошен, имела

место запарка, так что я ответил в том смысле, что читать, пожалуй, не стану, а на обсуждение явлюсь непременно, как только покончу с делами. «У меня еще на час работы, — сказал я, — так что обедайте без меня».

В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать.

— Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок, — укоризненно говорил Вандерхузе. — «Пеликаны» прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился.

— Не спорю, — отвечал Комов, глядя в стол и брезгливо морщась. — Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из подпространства...

— Да, конечно, — согласился Вандерхузе. — В этом случае, конечно. Но вероятность...

— Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. Помоему, каждому нормальному человеку ясно, что это может быть только метеорит.

У Вандерхузе был очень несчастный вид.

— Ну... хорошо, — сказал он. — Ну, пусть будет по-вашему... Вы просто не понимаете. Геннадий, вы не звездолетчик... Вы просто не понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из подпространства огромный метеорит огромной энергии... Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности!

— Хорошо. Что вы предлагаете?

Вандерхузе оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал:

— Хорошо, пусть будет так. Но я все-таки буду настаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем: «Указанные факты заставляют предположить...»

— «Сделать вывод», — поправил Комов.

— «Сделать вывод»? — Вандерхузе нахмурился. — Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение! «...заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из подпространства». Вот так. Предлагаю согласиться.

Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками на скулах, потом сказал:

— Согласен. Перехожу к следующей поправке.

— Минуточку, — сказал Вандерхузе. — А ты, Майка?

Майка пожала плечами.

— Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна.

— Следующая поправка, — нетерпеливо произнес Комов. — Нам не надо запрашивать мнение базы, как поступить с останками. Вообще этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на базу.

— Однако... — с растерянным видом начал Вандерхузе.

— Я займусь этим завтра, — прервал его Комов. — Сам.

— Может быть, следовало бы похоронить их здесь? — негромко сказала Майка.

— Не возражаю, — сейчас же сказал Комов. — Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на Землю... Что? — повернулся он к Вандерхузе.

Вандерхузе, открывший было рот, помотал головой и сказал:

— Ничего.

— Короче говоря, — сказал Комов, — этот вопрос из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?

— Пожалуй, — сказал Вандерхузе. — А ты, Майка?

Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему, такие вопросы нельзя решать голосованием.

— Прекрасно, — произнес Комов как ни в чем не бывало. — Теперь относительно причин и обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня вполне удовлетворяют, а формулировку я предлагаю такую: «Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере». Ну а дальше — по вашему тексту.

— Гм... — сказал Вандерхузе с большим сомнением. — Не слишком ли все это категорично, как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессона.

— Тем не менее она оказалась там, — холодно произнес Комов.

— Но ведь именно это обстоятельство... — проникновенно начал Вандерхузе, прижимая руки к груди.

— Слушайте, Яков, — сказал Комов. — Никто не знает, на что способен человек в критических условиях. И особенно женщина. Вспомните историю Марты Пристли. Вспомните историю Колесниченко. И вспомните вообще историю, Яков.

Наступило молчание. Вандерхузе сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды.

— А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне, — подала голос Майка. — Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар, человек умирает...

— Ну, это как раз... — неуверенно проговорил Вандерхузе. — Это может быть. Агония, шарил руками по пультам, зацепил ключ...

— Вопрос о бортжурнале, — сказал Комов, — вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена... если, впрочем, это загадка, а не случайное стечение обстоятельств. Продолжаем, — он быстро перебрал разбросанные перед ним листки. — Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибли, следов ее, во всяком случае, нет... Так... Личные бумаги. Разбирать их — дело не наше, кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда... Да! Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно кибернетическое оборудование кораблей типа «Пеликан»?

— Да, конечно, — сказал я, поспешно отодвигая тарелку.

— Будьте добры, — он перебросил мне листок бумаги, — вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте.

Я взял опись. Все выжидательно глядели на меня.

— Да, — проговорил я, — пожалуй, все на месте.

Даже инициаторные разведчики на месте, обычно их всегда некомплект... А вот этого я не понимаю. Что такое: «Ремонтный робот, переоборудованный в шьющее устройство»?

— Яков, объясните, — распорядился Комов.

Вандерхузе задрал голову и выпятил челюсть.

— Понимаешь ли, Стась, — как бы в задумчивости произнес он. — Трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо у женщины, было несколько необычное хобби.

— Ага, — сказал я, удивившись. — Но этот точно ремонтный кибер?

— Несомненно, — уверенно сказал Вандерхузе.

— Тогда здесь полный комплект, — сказал я, возвращая Комову опись. — Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах.

— Спасибо, — сказал Комов. — Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники.

— Но ведь утечки нет, — возразил я.

Комов не обратил на меня внимания, а Вандерхузе объяснил:

— Это просто название раздела: «Утечка выжившей кибертехники». Ты подпишешь, что утечки нет.

— Так... — проговорил Комов, собирая в пачку разбросанные листы. — Теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок, мы подпишемся, и уже сегодня можно будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду.

Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхузе с тяжким вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился.

— Вандер явно недоволен, — заметил я, накладывая на тарелку жаркое.

— Я тоже недовольна, — сказала Майка. — Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски, наивно... но должно же быть... должна же быть минута молчания какая-то... А тут раз-два, завертели-закрутили колесо: положение останков, утечка кибертехники, топографические пара-

метры... Тьфу! Как будто в школе на практических занятиях...

Я был полностью с нею согласен.

— Ведь Комов никому рта не дает раскрыть! — продолжала она со злостью. — Все ему ясно, все ему очевидно, а на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом неясно, и особенно с этим бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно! По-моему, у него что-то на уме, и Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить... а может быть, считает, что это несущественно...

— Может быть, это и в самом деле несущественно... — пробормотал я неуверенно.

— А я и не говорю, что существенно! — возразила Майка. — Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится! Мне о нем все уши прожужжали, а я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось... В жизни больше никогда с ним работать не буду!

— Ну, не так уж много и осталось, — примирительно сказал я. — Всего-то еще дней двадцать...

На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирные кроки, а я отправился в рубку, где меня ожидал маленький сюрприз: Том сообщал, что закладка фундамента закончена, и предлагал принять работу. Я накинул доху и побегал на стройплощадку.

Солнце уже зашло, сумерки сгустились. Странные здесь сумерки — темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние, да еще какое! Гигантские полотнища радужного света бесшумно развеваются над черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под ветром, переливаются белым, зеленым, розовым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветные пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки, все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета — туман над болотом становится красно-синим, айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени.

Яростно растирая мерзнувшие щеки и нос, я осматривал в этом чудном свете готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры, а когда сияние гасло, не

менее услужливо включал прожекторы. И было, как всегда, мертвенно тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса: Майка и Вандерхузе вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние — единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в ста, и не видел их, но голоса слышал отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их вполуха. Майка говорила что-то о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерхузе гудел об эрозии бортовой квазиорганики — по-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели «Пеликана».

Была в их беседе какая-то странность. Повторяю: я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхузе говорил: «Один планетарный двигатель у них уцелел, иначе они бы просто не могли маневрировать в атмосфере...» А Майка долбила свое: «Нет, Яков, не менее десяти-пятнадцати лет. Посмотрите на эти наплывы...»

Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно, а когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу.

— А это еще что такое? — спрашивала Майка.

— Я бы сказал, что это игрушка, — отвечал Вандерхузе.

— Я бы тоже так сказала. Но зачем?

— Хобби. Ничего удивительного, весьма распространенное хобби.

В общем, это было похоже, как мы развлекались на базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую: «Капитан! Принимаю решение сбросить хвостовую часть и уходить в подпространство!» — на что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался: «Ваше решение одобряю, капитан! Не забудьте головную часть, капитан!» — и так далее. Впрочем, странный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула перепонка люка, и снова наступила тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-

вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Кессон — это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон — первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома: вернулся домой, в родное, теплое, защищенное, из чужого, ледяного, угрожающего. Из тьмы в свет. Я сбросил доху и, на ходу побрякивая и растирая ладони, направился в рубку.

Вандерхузе уже сидел там, обложенный своими бумажками, и, скорбно склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения. Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами.

— А мои ребятки уже фундамент закончили, — похвастался я.

— Угу, — отозвался Вандерхузе.

— А что у вас там за игрушки? — спросил я.

— Игрушки... — рассеянно повторил Вандерхузе. — Игрушки? — переспросил он, не переставая стрекотать машинкой. — Ах, игрушки... — Он отложил готовый листок и взял другой.

Я подождал немного и напомнил:

— Так что это за игрушки?

— Что это за игрушки?.. — со значительностью в голосе повторил Вандерхузе и, задрав голову, поглядел на меня. — Ты так ставишь вопрос? Это, видишь ли... А впрочем, кто его знает, что это за игрушки. Там, на «Пеликане»... Извини, Стась, я сначала закончу, как ты полагаешь?

Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом, так же на цыпочках, вышел из рубки и отправился к Майке.

Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на койке, на полу расстилались простыни-склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошки аэрофотографий, наброски и записи, и Майка по очереди все это рассматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда — бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понаблюдав ее некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул, и уселся на стул сам, так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку.

— Спасибо, — сказал я и отхлебнул.

Майка приподняла голову.

— А, это ты? — произнесла она с неудовольствием. — Ты чего?

— Просто так зашел, — сказал я благодушно. — Нагулялась?

— И не думала, — возразила она, отбирая у меня бутылку. — Сижу как проклятая, вчера вечером не работала, накопилось тут всякого... Какое тут гулянье!

Она вернула мне бутылку, я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство, и тут у меня словно пелена с глаз упала: Майка была одета по-домашнему, в свою любимую пушистую кофту и шорты, на голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные.

— В душе была? — тупо спросил я.

Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал. Аккуратно поставил бутылку на сиденье, пробормотал что-то, не помню что. Каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте, погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли, вроде: «Теперь-то уж все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь. И я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы, затененный потолок медленно поворачивался, ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко, погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла, а потом появился Вадик, уселся у меня в ногах и сказал сердито: «Что же ты валяешься? Целая комиссия тебя ждет, а ты разлежся». — «Да ты громче говори, — сказала ему Нинон, — у него же что-то с ушами, он не слышит». Я сделал каменное лицо и сказал, что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый «Пеликан», вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем «Пеликан», скорее уж это была стройплощадка, копошились мои ребяташки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали по-

перек, то есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузе, только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали, и слышал их только я. Но от Майки не скроешься. «Разве вы не видите, что ему плохо?» — сердито сказала она и положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке.

Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным — бредовая скособоченная фигура без лица, зыбкая, без четких очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече.

Уже точно зная, чем это кончится, я протянул к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух, а он заколыхался, начал таять и исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. А вы знаете, что у алжирского бея под самым носом шишка? Под самым носом... Я был мокрый, какмышь, и мне было невыносимо душно. Я почти задохнулся.

Глава четвертая

ПРИЗРАКИ И ЛЮДИ

Я проснулся поздно с тяжелой головой и с твердым намерением сразу же после завтрака уединиться где-нибудь с Вандерхузе и выложить ему все. Кажется, никогда еще в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Все было кончено для меня, поэтому я не стал даже делать зарядку, а просто принял усиленный ионный душ и побрел в кают-компанию. Уже на пороге я сообразил, что вчера вечером за всеми своими неприятностями я начисто забыл отдать повару распоряжение насчет завтрака, и это меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то невнятное приветствие и чувствуя, что от горя и стыда я красен, как вареный рак, я уселся на свое место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Трапеза была, прямо скажем, монастырская, послушническая была трапеза. Все питались черным хлебом и молоком. Вандерхузе посыпал свой ломоть солью. Майка помазала свой ломоть

маслом. Комов жевал хлеб всухомятку, не прикасаясь даже к молоку.

У меня аппетита не было никакого — подумать было страшно жевать что-нибудь. Я взял себе стакан молока, отхлебнул. Боковым зрением я видел, что Майка смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, что со мной вообще. Однако она ничего не спросила, а Вандерхузе принялся многословно рассуждать, какая это с медицинской точки зрения полезная вещь — разгрузочный день и как хорошо, что у нас сегодня именно такой завтрак, а не какой-нибудь другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и что такое великий пост, и не без уважения отозвался о ранних христианах, которые дело свое знали туго. Заодно он рассказал нам, что такое масленица, но скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлекается описанием блинов с икрой, с балыком, с семгой и с другими вкусными вещами, оборвал себя и принялся в некотором затруднении расправлять бакенбарды. Разговор не завязывался. Я беспокоился за себя. Майка беспокоилась за меня. А что касается Комова, то он опять, как и вчера, был явно не в своей тарелке. Глаза у него были красные, он большей частью смотрел в стол, но время от времени вскидывал голову и озирался, как будто его окликали. Хлеба он крошил вокруг себя ужасно и продолжал крошить, так что мне захотелось дать ему по рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой компанией, а бедный Вандерхузе из сил выбивался, стараясь нас рассеять.

Он как раз мыкался с какой-то длиннющей заунывной историей, которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца, как вдруг Комов издал странный, сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему наконец поперек горла. Я взглянул на него через стол и испугался. Комов сидел прямой, вцепившись обеими руками в край столешницы, красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак.

Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек, во всяком случае, гуманоид, маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человек этот

был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый. И еще глаза: большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи.

— Да вот же он! Вот он! — гаркнул Комов.

Он указывал пальцем совсем в другую сторону, и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотография спринтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом полетело в сторону кресло, Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона, я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять, а Комов уже кричал:

— Дверь! Дверь!

И я увидел: кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компаний, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре. И тогда я рванулся за ним.

Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем, — я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи, и еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить.

В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног, споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках, коридор был уже пуст, только резко и знакомо пахло нашатырным спиртом, позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки, я вскочил, промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарости перепонкой, и вылетел наружу, в лиловатое сияние солнца.

Я сразу увидел его. Он бежал к стройплощадке, бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка, он был все такой же скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями, но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево, но он не испугался, он проскочил в десяти шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему обычное «жду приказаний»

— К болоту! — кричал позади задыхающийся голос Майки. — Отжимай его к болоту!

Маленький абориген и без этого бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел, и расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, издавала что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка.

— Левее, левее бери! — азартно вопила она.

Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный с удобнейшей рубчатой поверхностью, и здесь дело у меня пошло лучше — я стал нагонять. «Не уйдешь, — твердил я про себя, — нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне за все ответишь...» Я глядел не отрываясь на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов сто, и я нагонял.

Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а, напротив, очень живые и вроде бы смеющиеся, и вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по облику все-таки человек, и вдруг человека не стало, а по трясине, через непроходимую бездонную топь, катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то нелепый серый колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда, из-за сероватой пелены, затихающие шорохи, плески и пронзительный свист.

С топотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша.

— Ушел, — констатировала она с досадой.

— Ушел, — сказал я.

Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана. Потом Майка вытерла со лба пот и проговорила:

— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...

— А от тебя, квартирьер, и подавно уйду, — добавил я и огляделся.

Так. Дураки, значит, бегали, а умные, сами понимае-

те, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхузе темнели рядом с кораблем.

— А ничего себе пробежка получилась, — проговорила Майка, тоже глядя в сторону корабля. — Километра три, не меньше, как вы полагаете, капитан?

— Согласен с вами, капитан, — отозвался я.

— Слушай, — задумчиво сказала Майка. — А может быть, это все нам почудилось?

Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга, ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой взорвалось во мне.

— Что ты в этом понимаешь, салажка! — гаркнул я, чуть не плача от счастья и трясая ее изо всех сил. — Что ты понимаешь в галлюцинациях! И не надо тебе ничего понимать! Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся!

Майка растеряннo хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, и я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю.

— Подожди, — слабо отбивалась ошеломленная Майка. — Что ты, в самом деле... Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности?

— Идем, идем, — приговаривал я. — Идем! Сейчас нам любимец доктора Мбога вломит — чуеt мое сердце, что зря мы эту беготню устроили, не надо было нам ее устраивать...

Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед.

— Нет, — сказала она, снова выпрямляясь. — Этого я не понимаю.

— И не надо, — сказал я. — Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему контакт сорвали, а потом все-таки объяснит...

— Слушай, холодно! — сказала Майка, подпрыгнув на месте. — Бежим?

И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая! Да еще как обитаемая, — крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные...

— Стась, — сказала Майка на бегу, — а может быть, это пантаниин?

— Откуда? — удивился я.

— Ну... мало ли откуда... Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась.

— Да нет, — сказал я. — Непохож он на пантианина. Пантиане рослые, краснокожие... Потом они одеты, елки-палки, а этот совсем голый!

Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед.

— Бр-р-р! — произнесла она, растирая плечи. — Ну что, пойдем фитиль получать?

— Полуметровый, — сказал я.

— Хорошо смазанный, — сказала Майка.

— Семьдесят пять миллиметров в диаметре, — сказал я.

Мы крадучись проникли в рубку, но оставаться незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину, а Вандерхузе, глядя в пространство и выпятив челюсть, наматывал свои бакенбарды: правый на палец правой руки, а левый на палец левой. Увидев нас, Комов остановился, но Майка не дала ему заговорить.

— Ушел, — деловито доложила она. — Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом.

— Помолчите, — прервал ее Комов.

«Сейчас начнется», — подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне:

— Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей.

Интересно, что я даже не удивился. Такая постановка вопроса показалась мне совершенно естественной. И я рассказал все: о шорохах, о запахах, о детском плаче, о криках женщины, о странном диалоге вчера вечером и о черном призраке сегодня ночью. Майка слушала меня, приоткрыв рот, а Комов, не отрываясь, глядел мне в лицо — прищуренные глаза его вновь были пристальны и холодны, лицо затвердело, он покусывал нижнюю губу и время от времени напряженно сплетал пальцы, похрустывая суставами. Когда я закончил, воцарилось молчание. Потом Комов спросил:

— Вы уверены, что это плакал ребенок?

— Да-да... Во всяком случае, очень похоже...

Вандерхузе шумно перевел дух и похлопал ладонью по подлокотнику кресла.

— И ты все это вытерпел! — проговорила Майка с испугом. — Бедный Стасик!

— Должен тебе сказать, Стась... — внушительно начал Вандерхузе, но Комов перебил его.

— А камни? — спросил он.

— Что — камни? — не понял я.

— Откуда взялись камни?

— Это на стройплощадке? Киберы натаскали, наверное. При чем это здесь?

— Откуда киберы могли взять камни?

— Н-ну... — начал я и замолчал. Действительно, откуда?

— Кругом песчаный пляж, — продолжал Комов. — Ни одного камешка. Киберы с площадки не отлучались. Откуда же на полосе булыжники и откуда на полосе сучья? — Он оглядел нас и усмехнулся. — Все это риторические вопросы, разумеется. Могу добавить, что у нас за кормой, прямо под маяком, целая россыпь булыжников. Очень любопытная россыпь. Могу также добавить... Простите, вы кончили, Стась? Спасибо. А теперь послушайте, что было со мной.

Комову, оказывается, тоже пришлось нелегко. Правда, испытания его были несколько иного рода. Испытания интеллекта. На второй день после прибытия, запустая в озеро пантианских рыб, он заметил в двадцати шагах от себя необычное ярко-красное пятно, которое расплылось и исчезло, прежде чем он решился приблизиться. На следующий день он обнаружил на самой макушке высоты 12 дохлую рыбу, явно одну из запущенных накануне. Под утро четвертого дня он проснулся с явственным ощущением, что в каюте находится кто-то посторонний. Постороннего не оказалось, но Комову слышался щелчок лопнувшей перепонки люка. Выйдя из корабля, он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплощадке. После разговора со мной он окончательно утвердился в мысли, что в окрестностях корабля происходит неладное. Он уже был почти уверен, что поисковые группы проглядели какой-то чрезвычайно важный фактор, действующий на планете, и только глубокая убежденность в том, что разумную жизнь проглядеть было бы невозможно, удерживала его от самых решительных шагов. Он только принял все меры, чтобы район действия нашей группы не стал объектом нашествия «любопытствующих бездельников». Именно поэто-

му он изо всех сил старался сформулировать экспертное заключение таким образом, чтобы оно не вызывало ни малейших сомнений. Между тем мое возбужденно-подавленное состояние прекрасно подтверждало его предварительный вывод о том, что неизвестные существа способны проникать в корабль. Он стал ждать этого проникновения и дождался его сегодня утром.

— Резюмирую, — объявил он, словно читая лекцию. — По крайней мере, этот район планеты вопреки данным предварительных исследований обитаем крупными позвоночными, причем есть все основания предполагать, что существа эти разумны. По-видимому, это троглодиты, приспособившиеся к жизни в подземных пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, средний абориген анатомически напоминает человека, обладает ярко выраженной способностью к мимикрии, а также и, вероятно, в связи с этим способностью к воспроизводству защитно-отвлекающих фантомов. Должен сказать, что для крупных позвоночных такая способность была до сих пор отмечена только у некоторых грызунов на Пандоре, на Земле же этой способностью обладают некоторые виды головоногих моллюсков. А теперь я хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на эти нечеловеческие и вообще негуманоидные способности, здешний абориген не только в анатомическом, но и в физиологическом, и, в частности, в нейрологическом отношении необычайно, небывало близок к земному человеку. Я кончил.

— Как — кончили? — вскричал я, испугавшись. — А мои голоса? Значит, галлюцинации были?

Комов усмехнулся.

— Успокойтесь, Стась, — сказал он. — С вами все в порядке. Ваши «голоса» легко объясняются, если предположить, что устройство голосового аппарата идентично нашему. Сходство голосового аппарата развитая способность к имитации, плюс гипертрофированная фонетическая память...

— Стойте, — сказала Майка. — Я понимаю, они могли подслушать наши разговоры, но как же женский голос?

Комов кивнул.

— Да, приходится предположить, что они присутствовали при агонии.

Майка присвистнула.

— Слишком замысловато, — пробормотала она с сомнением.

— Предложите другое объяснение, — холодно возразил Комов. — Впрочем, вероятно, мы скоро узнаем имена погибших. Если пилота звали Александром...

— Ну хорошо, — сказал я. — А ребенок плакал?..

— А вы уверены, что это плакал ребенок?

— А с чем это можно спутать?

Комов уставился на меня, плотно прижал пальцем верхнюю губу и вдруг приглушенно залаял. Именно залаял — другого слова я не подберу.

— Что это было? — спросил он. — Собака?

— Похоже, — сказал я с уважением.

— Так вот, это я произнес фразу на одном из наречий Леониды.

Я был сражен. Майка тоже. Некоторое время все молчали. Все было несомненно так, как он говорил. Все объяснилось, все получилось очень изящно, но... Было, конечно, очень приятно сознавать, что все страхи остались позади и что именно нашей группе повезло открыть еще одну гуманоидную расу. Однако вместе с тем это означало самую решительную перемену в наших судьбах. Да и не только в наших. Во-первых, невооруженным глазом было видно, что проекту «Ковчег» конец. Планета занята, придется искать для пантиан другую. Во-вторых, если окончательно выяснится, что аборигены разумны, нас, наверное, сейчас же попрут отсюда, а вместо нас прибудет сюда Комиссия по контактам. Все эти соображения были очевидны не только мне, конечно, но и остальным. Вандерхузе расстроено рванул себя за бакенбарды и сказал:

— Почему же именно разумные? По-моему, пока совершенно ниоткуда не следует, что они непременно разумные, как вы полагаете, Геннадий?

— Я не утверждаю, что они непременно разумные, — возразил Комов. — Я сказал только: есть все основания предполагать, что это так.

— Ну, какие же это такие все основания? — продолжал расстраиваться Вандерхузе. Очень ему не хотелось покидать насиженное место. Известна была за ним такая слабость — любовь к насиженным местам. — Что это за все основания? Внешний облик разве что...

— Дело не только в анатомии, — сказал Комов. — Камни под маяком расположены в явном порядке, это какие-то знаки. Камни и ветки на посадочной полосе...

Я не хочу ничего утверждать категорически, но все это очень похоже на попытку войти в контакт, осуществляемую гуманоидами с первобытной культурой. Тайная разведка и одновременно не то дары, не то предупреждение...

— Да, похоже на то, — пробормотал Вандерхузе и впал в прострацию.

Снова последовало молчание, затем Майка тихонько спросила:

— А откуда следует, что они так уж особенно близки нам по своей физиологической и нервной организации?

Комов удовлетворенно покивал.

— Здесь мы тоже располагаем только косвенными соображениями, — сказал он. — Но это достаточно веские соображения. Во-первых, аборигены способны проникать в корабль. Корабль их впускает. Для сравнения напомним, что ни тагорцу, ни даже пантианину при всем их огромном сходстве с человеком люковую перепонку не преодолеть. Люк просто не раскроется перед ним...

Тут я хлопнул себя по лбу.

— Елки-палки! Значит, все мои киберы были в полном порядке! Просто аборигены, наверное, бегали перед Томом, и он останавливался, потому что боялся наехать на человека... А потом они, наверное, считали Тома за живое существо, размахивали руками и случайно подали ему сигнал: «Опасность! Немедленно в корабль!» Это же очень простой сигнал... — Я показал. — Ну, мои ребяташки и полезли в трюм наперегонки... Конечно, так оно все и было... Да я и сейчас своими глазами видел: Том реагировал на аборигена, как на человека.

— То есть? — быстро спросил Комов.

— То есть когда абориген появился в поле его визиров, Том просигналил: «Жду приказаний».

— Это очень ценное наблюдение, — произнес Комов. Вандерхузе тяжело вздохнул.

— Да, — сказала Майка. — Конец «Ковчегу». Жалко.

— Что же теперь будет? — спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь.

Мне не ответили. Комов поднял листки со своими записями, под ними обнаружилась коробочка диктофона.

— Прошу прощения; — объявил он, очаровательно улыбаясь. — Чтобы не терять времени зря, я нашу дис-

куссию записал. Благодарю за точно поставленные вопросы. Стась, я попрошу вас, закодируйте все это и отправьте в экстренном импульсе прямо в Центр, копию на базу.

— Бедный Сидоров, — негромко сказал Вандерхузе. Комов коротко глянул на него и снова опустил глаза на бумаги.

Майка отодвинула кресло.

— Во всяком случае, с моим квартирньерством здесь покончено, — проговорила она. — Пойду собираться.

— Одну минуту, — остановил ее Комов. — Здесь спросили, что же теперь будет. Отвечаю. Как полномочный член Комиссии по контактам я беру командование на себя. Объявляю весь наш район зоной предполагаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте соответствующую радиogramму. Все работы по проекту «Ковчег» прекращаются. Роботы демобилизуются и переводятся в трюм. Выход из корабля только с моего личного разрешения. Сегодняшняя охота с борзыми, вероятно, уже создала для контакта определенные трудности. Новые недоразумения были бы крайне нежелательны. Итак, Майя, прошу вас загнать глайдер в ангар. Стась, прошу заняться вашей киберсистемой... — Он поднял палец. — Но сначала отправьте запись дискуссии... — Он улыбнулся и хотел сказать еще что-то, но в это время затрещал дешифратор рации.

Вандерхузе протянул длинную руку, извлек из приемного кармана карточку радиogramмы и пробежал ее глазами. Брови его задрались.

— Вот этого я уже не понимаю, — пробормотал он, бросил карточку на стол и прошелся по рубке, заложив руки за спину.

Я взял карточку. Майка возбужденно сопела у меня над ухом. Радиogramма действительно была неожиданная.

Экстренная. Нуль-связь. Центр, Комиссия по контактам, Горбовский — начальнику базы «Ковчег» Сидорову. Немедленно прекратить все работы по проекту. Подготовить возможную эвакуацию личного состава и оборудования. Дополнение — полномочному представителю Комкона Комову. Объявляю район ЭР-2 зоной предполагаемого контакта. Ответственным назначается вы.

— Вот это да! — сказала Майка с восхищением. — Ай да Горбовский!

Комов остановился и исподлобья оглядел нас.

— Прошу всех приступить к выполнению моих распоряжений. Яков, найдите мне, пожалуйста, копию нашего экспертного заключения.

Они с Вандерхузе погрузились в изучение копии, Майка вышла загонять глайдер, а я устроился возле радиации и принялся кодировать нашу дискуссию. Однако не прошло и двух минут, как дешифратор заверещал снова. Комов отпихнул Вандерхузе и кинулся к радиации. Перегнувшись через мое плечо, он жадно читал строчки, появляющиеся на карточке.

Экстренная, нуль-связь. Центр, Комиссия по контактам, Бадер—капитану ЭР-2 Вандерхузе. Срочно подтвердите обнаружение останков двух, повторяю: двух тел на борту корабля и состояние бортового журнала, описанного в вашем экспертном заключении.

Бадер

Комов перебросил карточку Вандерхузе.

— Вот, значит, в чем дело, — проговорил он. — Так-так... — Он повернулся ко мне. — Стась, что вы сейчас делаете?

— Кодировать, — ответил я угрюмо. Я ничего не понимал.

— Дайте-ка мне диктофон, — сказал он. — Пока воздержимся. — Он спрятал диктофон в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан. — Значит, так, Яков. Подтвердите то, о чем они вас просят. Стась, передайте подтверждение. А потом, Яков, я вас попрошу... Вы разбираетесь в этом лучше меня. Окажите мне любезность, поройтесь в нашей фильмотеке и просмотрите всю официальную документацию относительно бортовых журналов.

— Я и так знаю все относительно бортовых журналов, — возразил Вандерхузе недовольно. — Вы мне лучше просто скажите, что вас интересует.

— Я и сам толком не знаю, что меня интересует. Меня интересует, случайно или намеренно был стерт бортжурнал. Если намеренно, то почему. Вы же видите, Бадера это тоже интересует... Не ленитесь, Яков. Существуют же все-таки какие-то правила, предусматривающие уничтожение бортжурнала.

— Не существует таких правил, — проворчал себе под нос Вандерхузе и тем не менее отправился оказывать любезность.

Комов сел писать подтверждение, а я мучительно соображал, что же такое происходит, почему такая паника и как в Центре могли усомниться в совершенно четких формулировках заключения. Не могли же они там подумать, что мы спутали останки землянина с останками какого-нибудь аборигена и добавили лишний труп. И как все-таки, елки-палки, Горбовский умудрился догадаться о том, что у нас здесь происходит? Никакого толку от моих рассуждений не было, и я с тоской смотрел на рабочие экраны, где все было так ясно и понятно, и я с горечью подумал, что туповатый человек самым печальным образом напоминает кибера. Вот я сейчас сижу, тупо выполняю приказания: сказали кодировать — кодировал, сказали прекратить — прекратил, а что происходит, зачем все это, чем все это кончится — ничего не понимаю. Совершенно как мой Том: работает сейчас, бедняга, в поте лица, старается получше выполнить мои распоряжения и ведь знать не знает, что через десять минут я приду, загоню его со всей компанией в трюм, и работа его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому не нужным...

Комов передал мне подтверждение, я закодировал текст, отослал и хотел было уже пересест за свой пульт, как вдруг раздался вызов с базы.

— ЭР-два? — осведомился спокойный голос. — Сидоров говорит.

— ЭР-два слушает! — откликнулся я немедленно. — Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбертович?

— Комова, пожалуйста.

Комов уже сидел в соседнем кресле.

— Я тебя слушаю, Атос, — сказал он.

— Что у вас там произошло? — спросил Сидоров.

— Аборигены, — ответил Комов, помедлив.

— Поподробнее, если можно, — сказал Сидоров.

— Прежде всего имей в виду, Атос, — сказал Комов, — я не знаю и не понимаю, откуда Горбовский узнал об аборигенах. Мы сами начали понимать, что к чему, всего два часа назад. Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать, но тут все так запуталось, что я вынужден просить тебя потерпеть еще

некоторое время. Меня тут старик Бадер на такую идею навел.... Одним словом, потерпи, пожалуйста.

— Понятно, — сказал Сидоров. — Но сам факт существования аборигенов достоверен?

— Абсолютно, — сказал Комов.

Было слышно, как Сидоров вздохнул.

— Ну что ж, — сказал он. — Ничего не поделаешь. Начнем все сначала.

— Мне очень жаль, что все так получилось, — произнес Комов. — Честное слово, жаль.

— Ничего, — сказал Сидоров. — Переживем это. — Он помолчал. — Как ты намерен действовать дальше? Будешь ждать комиссию?

— Нет. Я начну сегодня же. И я очень прошу тебя: оставь ЭР-два с экипажем в моем распоряжении.

— Разумеется, — сказал Сидоров. — Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь понадобится...

— Спасибо, Атос. И не огорчайся, все еще наладится.

— Будем надеяться.

Они распрощались. Комов покусал ноготь большого пальца, с каким-то непонятным раздражением посмотрел на меня и снова принялся ходить по рубке. Я догадывался, в чем тут дело. Комов и Сидоров были старые друзья, вместе учились, вместе где-то работали, но Комову всегда и во всем везло, а Сидорова за глаза называли Атос-неудачник. Не знаю, почему это так сложилось. Во всяком случае, Комов должен был сейчас испытывать большую неловкость. А тут еще радиограмма Горбовского. Получалось так, будто Комов информировал Центр, минуя Сидорова...

Я тихонько перебрался к своему пульту и остановил киберов. Комов уже сидел за столом, грыз ноготь и тарашился на разбросанные листки. Я попросил разрешения выйти наружу.

— Зачем? — вскинулся было он, но тут же спохватился: — А, киберсистема... Пожалуйста, пожалуйста. Но как только закончите, немедленно возвращайтесь.

Я загнал ребятшек в трюм, демобилизовал их, закрепил на случай внезапного старта и постоял немного около люка, глядя на опустевшую стройплощадку, на белые стены несостоявшейся метеостанции, на айсберг, все такой же идеальный и равнодушный... Планета казалась мне теперь какой-то другой. Что-то в ней изменилось. Появился какой-то смысл в этом тумане, в карли-

ковых зарослях, в скалистых отрогах, покрытых лиловатыми пятнами снега. Тишина осталась, конечно, но пустоты уже не было, и это было хорошо.

Я вернулся в корабль, заглянул в кают-компанию, где сердитый Вандерхузе копался в фильмотеке, чувствуя меня распирали, и я отправился утешаться к Майке. Майка расстелила по всей каюте огромную склейку и лежала на ней с лупой в глазу. Она даже не обернулась.

— Ничего не понимаю, — сказала она сердито. — Негде им здесь жить. Все мало-мальски годные для обитания точки мы обследовали. Не в болоте же они барахтаются!..

— А почему бы не в болоте? — спросил я, усаживаясь.

Майка села по-турецки и воззрилась на меня через лупу.

— Гуманоид не может жить в болоте, — объявила она веско.

— Почему же, — возразил я. — У нас на Земле были племена, которые жили даже на озерах, в свайных постройках...

— Если бы на этих болотах была хоть одна постройка... — сказала Майка.

— А может быть, они живут как раз под водой, наподобие водяных пауков, в таких воздушных колоколах?

Майка подумала.

— Нет, — сказала она с сожалением. — Он бы грязный был, грязи бы в корабль натащил...

— А если у них водоотталкивающий слой на коже? Водогрязеотталкивающий... Видела, как он лоснится? И удрал он от нас — куда? И такой способ передвижения — для чего?

Дискуссия завязалась. Под давлением многочисленных гипотез, которые я выдвигал, Майка принуждена была согласиться, что теоретически аборигенам ничто не препятствует жить в воздушных колоколах, хотя лично она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав Ковов, который считает аборигенов пещерными людьми. «Видел бы ты, какие там ущелья, — сказала она. — Вот бы куда сейчас слазить...» Она стала показывать по карте. Места даже на карте выглядели неприветливо: сначала полоса сопок, поросших карликовыми деревцами, за ней изборозжденные бездонными разломами скалистые предгорья, наконец сам хребет, дикий и

жестокий, покрытый вечными снегами, а за хребтом — бескрайняя каменистая равнина, унылая, совершенно безжизненная, изрезанная вдоль и поперек глубокими каньонами. Это был насквозь промерзший, стылый мир, мир ошетилившихся минералов, и при одной мысли о том, чтобы жить, ступать босыми ногами по этому каменному крошеву, кожа на спине у меня начинала ежиться.

«Ничего страшного; — утешала меня Майка, — я могу показать тебе инфрасъемки этой местности, под этим плато есть обширные участки подземного тепла, так что если они живут в пещерах, то от холода они, во всяком случае, не страдают». Я сейчас же вцепился в нее: а что же они едят? «Если есть пещерные люди, — сказала Майка, — могут быть и пещерные животные. А потом мхи, грибы, и еще можно представить себе растения, которые осуществляют фотосинтез в инфракрасном свете». Я представил себе эту жизнь, жалкую пародию на то, что считаем жизнью мы, упорную, но вялую борьбу за существование, чудовищное однообразие впечатлений, и мне стало ужасно жалко аборигенов. И я объявил, что забота об этой расе — задача тоже достаточно благородная и благодарная. Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают.

Это у нас старый спор. По моему мнению, человечество знает достаточно, чтобы судить, какое развитие исторически перспективно, а какое — нет. Майка же в этом сомневается. Она утверждает, что мы знаем ничтожно мало. Мы вошли в соприкосновение с двенадцатью разумными расами, причем три из них негуманоидные. В каких отношениях мы находимся с этими негуманоидами, сам Горбовский, наверное, не может сказать: вступили мы с ними в контакт или не вступили, а если вступили, то по обоюдному ли согласию или навязали им себя, а может быть, они вообще воспринимают нас не как братьев по разуму, а как редкостное явление природы, вроде необычных метеоритов. Вот с гуманоидами все ясно: из девяти гуманоидных рас только три согласились иметь с нами что-либо общее, да и то леонидяне, например, охотно делятся с нами своей информацией, а нашу, земную, очень вежливо, но ре-

шительно отвергают. Казалось бы, совершенно очевидная вещь: квазиорганические механизмы гораздо рациональнее и экономичнее прирученных животных, но леонидяне от механизмов отказываются. Почему? Некоторое время мы спорили — почему, запутались, незаметно поменялись точками зрения (это у нас с Майкой бывает сплошь и рядом), и Майка наконец заявила, что все это вздор.

— Не в этом дело. Понимаешь ли ты, в чем состоит главная задача всякого контакта? — спросила она. — Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже двести лет стремится к контактам, радуется, когда контакты удаются, горюет, когда ничего не получается?

Я, конечно, понимал.

— Изучение разума, — сказал я. — Исследование высшего продукта развития природы.

— Это в общем верно, — сказала Майка, — но это только слова, потому что на самом-то деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего человеческого разума, иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже пятьдесят тысяч лет пытаемся понять, что мы такое, но, глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять себя самого за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами, совсем чужими...

— А зачем это, собственно, нужно? — агрессивно осведомился я.

— А затем, — веско сказала Майка, — что человечество становится галактическим. Вот как ты представляешь себе человечество через сто лет?

— Как представляю? — Я пожал плечами. — Да так же, как ты... Конец биологической революции, преодоление галактического барьера, выход в нуль-мир... ну, широкое распространение контактного видения, реализация П-абстракций...

— Я тебя не спрашиваю, как ты себе представляешь достижения человечества через сто лет. Я тебя спрашиваю, как ты представляешь себе само человечество через сто лет?

Я озадаченно поморгал. Я не улавливал разницы. Майка смотрела на меня победительно.

— Про идеи Комова слышал? — спросила она. — Вертикальный прогресс и все такое прочее...

— Вертикальный прогресс? — Что-то такое я вспоминал. — Подожди... Это, кажется, Боровик, Микава... да?

Она полезла в стол и принялась там копать.

— Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а Комов собирал в библиотеке ребят... На! — Она протянула мне кристаллофон. — Послушай.

Я неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. Это было что-то вроде лекции, читал Комов, и запись начиналась с полуслова. Комов говорил неторопливо, просто, очень доступно, применяясь, по-видимому, к уровню аудитории. Он приводил много примеров, острил. Получалось у него примерно следующее.

Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. Сто тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере, через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики, но впереди всегда была синева, свет, цель, и вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика, есть куда разливаться. Но теперь мы видим, что это равнина, а над нею небо. Новое измерение. Да, на равнине хорошо и можно вволю заниматься реализацией П-абстракций. И казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх, в новое измерение... Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. Это нечто большее. С иными законами существования, с иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что, по сути, речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического, по-видимому, следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов Галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, а ведь нам предстоит еще решать ее, причем решать так, чтобы свести к минимуму число возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно...

Заканчивалась запись тоже на полуслове.

Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. При чем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то галактическими. Я бы сказал, наоборот, люди несут в космос Землю — земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих зна-

комых, идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. В таком примерно плане я принялся было излагать Майке свои соображения, но тут мы заметили, что в каюте, должно быть уже некоторое время, присутствует Вандерхузе. Он стоял, прислонившись к стене, тербил свои рысы бакенбарды и разглядывал нас с задумчиво-рассеянным верблужьим выражением на физиономии. Я встал и пододвинул ему стул.

— Спасибо, — произнес Вандерхузе, — но я лучше постою.

— А что вы думаете по этому поводу? — спросила его Майка воинственно.

— По какому поводу?

— По поводу вертикального прогресса.

Вандерхузе некоторое время молчал, затем вздохнул и произнес:

— Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы.

Мы напряженно задумались. Потом Майка просияла, подняла палец и сказала:

— О!

— Это не я, — меланхолично возразил Вандерхузе. — Это очень старый афоризм. Мне он давно нравился, только все не было случая его привести. — Он помолчал минуту, потом сказал: — Насчет бортжурнала. Представляете себе, действительно было такое правило.

— Какой бортжурнал? — спросила Майка. — При чем здесь бортжурнал?

— Комов попросил отыскать правила, предписывающие уничтожать бортжурналы, — грустно объяснил Вандерхузе.

— Ну? — сказали мы одновременно.

Вандерхузе снова помолчал, потом махнул рукой.

— Срам, — сказал он. — Есть, оказывается, одно такое правило. Вернее, было. В старом «Своде инструкций». В новом — нет. Откуда мне было знать? Я же не историк...

Он надолго задумался. Майка нетерпеливо поерзала.

— Да, — сказал Вандерхузе. — Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами — негуманоидами либо гума-

ноидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации, — ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы.

Мы с Майкой переглянулись.

— Этот бедняга, командир «Пеликана», — продолжал Вандерхузе, — наверное, здорово знал старинные законы. Ведь этому правилу, наверное, лет двести, его выдумали еще на заре звездоплавания, выдумали из головы, стараясь все предусмотреть. Но разве все предусмотреть? — Он вздохнул. — Конечно, можно было догадаться, почему с бортжурналом произошла такая штука. Вот Комов и догадался... И вы знаете, как он реагировал на мое сообщение?

— Нет, — сказал я. — Как?

— Он кивнул и перешел к другим делам, — сказала Майка.

Вандерхузе посмотрел на нее с восхищением.

— Правильно! — сказал он. — Именно кивнул и именно перешел. Я бы на его месте целый день радовался, что я такой догадливый...

— Что же это, значит, получается? — сказала Майка. — Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации. Ничего не понимаю. Ты что-нибудь понимаешь? — спросила она меня.

Меня очень забавляет эта манера Майки с гордостью объявлять, что она ничего не понимает. Я и сам так поступаю частенько.

— Они подъехали к «Пеликану» на велосипедах, — сказал я.

Майка нетерпеливо отмахнулась.

— Машинной цивилизации здесь нет, — пробормотала она. — Негуманоидов здесь тоже нет...

Голос Комова по интеркому провозгласил:

— Вандерхузе, Глумова, Попов! Прошу явиться в рубку.

— Началось! — сказала Майка, вскакивая.

Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола и вкладывал в пластиковый чехол портативный транслятор. Судя по положению переключателей, транслятор был подключен к бортовому вычислителю. Лицо у Комова было непривычно озабоченное, какое-то очень человечное, без этой своеобразной, оскомины набившей ледяной сосредоточенности.

— Сейчас я выхожу, — объявил он. — Первый курс. Яков, вы остаетесь за старшего. Главное: обеспе-

чить непрерывное наблюдение и бесперебойную работу бортового вычислителя. При появлении аборигенов немедленно известить меня. Рекомендую установить у обзорных экранов трехсменную вахту. Майя, ступайте к экранам прямо сейчас же. Стась, там мои радиogramмы. Передайте их как можно быстрее. Я думаю, нет необходимости объяснять, почему никто не должен выходить из корабля. Вот и все. Давайте за дело.

Я подсел к рации и принялся за дело. Комов и Вандерхузе о чем-то негромко говорили у меня за спиной. Майка на другом конце рубки настраивала экраны кругового обзора. Я перебрал радиogramмы. Да, пока мы решали философские проблемы, Комов здесь здорово поработал. Почти все его радиogramмы были ответами. Иерархию срочности за неимением специальных указаний я устанавливал сам.

ЭР-2, Комов — Центр, Горбовскому. Благодарю за любезное предложение, не считаю себя вправе отрывать вас от более важных занятий, буду держать вас в курсе всех новостей.

ЭР-2, Комов — Центр, Бадеру. От поста главного ксенолога проекта «Ковчег-2» вынужден отказаться. Рекомендую Амирэджиби.

ЭР-2, Комов — Европейский пресс-центр, Домбини. Присутствие здесь вашего научного комментатора считаю преждевременным. За информацией прошу обращаться в Центр, Комиссия по контактам.

И так далее, в том же духе. Штук пять радиogramм было в Центральный информаторий. Этих я не понял.

Работа моя была в самом разгаре, когда дешифратор снова завершал.

— Откуда? — спросил меня Комов с другого конца рубки. Он стоял рядом с Майкой и осматривал окрестности.

— «Центр, исторический отдел...» — прочитал я.

— А, наконец-то! — сказал Комов и направился ко мне.

— «Проект «Ковчег», — читал я. — ЭР-2, Вандерхузе, Комову, информация. Обнаруженный вами корабль регистрацион-

ный номер такой-то есть экспедиционный звездолет «Пилигрим». Приписан к порту Деймос, отбыл второго января двести тридцать первого года в свободный поиск в зону «Ц». Последний отзыв получен шестого мая двести тридцать четвертого года из области «Тень». Экипаж: Семенова Мария-Луиза и Семенов Александр Павлович. С двадцать первого апреля двести тридцать третьего года пассажир: Семенов Пьер Александрович. Архив «Пилигрима»...

Там было еще что-то, но тут вдруг Комов засмеялся у меня за спиной, и я с изумлением обернулся к нему. Комов смеялся, Комов сиял.

— Так я и думал! — торжествующе сказал он, а мы все смотрели на него, разинув рты. — Так я и думал! Это человек! Вы понимаете, ребята? Это человек!

Глава пятая

ЛЮДИ И НЕЛЮДИ

— Стоять по местам! — весело скомандовал Комов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился.

Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посредине рубки с затуманенным взором и беззвучно шевелила губами — соображала.

Я посмотрел на Вандерхузе. Брови у Вандерхузе были высоко задраны, баки растопырились, впервые на моей памяти он был похож не на млекопитающее, а на черт-рыбу, вытащенную из воды. На обзорном экране Комов, обвешанный аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строительной площадки.

— Так-так-так! — произнесла Майка. — Вот, значит, почему игрушки...

— Почему? — живо поинтересовался Вандерхузе.

— Он с ними играл, — объяснила Майка.

— Кто? — спросил Вандерхузе. — Комов?

— Нет. Семенов.

— Семенов? — удивленно переспросил Вандерхузе. — Гм... Ну и что?

— Семенов-младший, — нетерпеливо сказал я. — Пассажир. Ребенок.

— Какой ребенок?

— Ребенок Семеновых! — сказала Майка. — Понимаете, зачем у них было это шьющее устройство? Чепчики всякие там, распашоночки, подгузнички...

— Подгузнички! — повторил пораженный Вандерхузе. — Так это у них родился ребенок! Да-да-да-да! Я еще удивился, где они подцепили пассажира, и вдобавок однофамильца! Мне и в голову... Ну конечно!

Запел радиовывоз. Я машинально откликнулся. Это оказался Вадик. Говорил он торопливо и вполголоса — видно, боялся, что засекут...

— Что у вас там, Стась? Только быстро, мы сейчас снимаемся...

— Такое быстро не расскажешь, — сказал я недовольно.

— А ты в двух словах. Корабль Странников нашли?

— Каких Странников?

— Ну, этих... которых Горбовский ищет...

— Кто нашел?

— Вы нашли! Нашли ведь? — Голос его вдруг изменился. — Проверяю настройку, — строго произнес он. — Выключаюсь.

— Что там нашли? — спросил Вандерхузе. — Какой еще корабль?

Я отмахнулся.

— Это так, любопытные... Значит, родился он в апреле тридцать третьего, а отозвались они в последний раз в мае тридцать четвертого... Яков, как часто они должны были выходить на отзыв?

— Раз в месяц, — сказал Вандерхузе. — Если корабль находится в свободном поиске...

— Минуточку, — сказал я. — Май, июнь...

— Тринадцать месяцев, — сказала Майка.

Я не поверил и пересчитал сам.

— Да, — сказал я.

— Невероятно, правда?

— Что, собственно, невероятно? — осторожно спросил Вандерхузе.

— В день крушения, — сказала Майка, — младенцу был год и один месяц. Как же он выжил?

— Аборигены, — сказал я. — Семенов стер бортжурнал. Значит, кого-то увидел... И нечего было Комову на меня лаять! Это был настоящий детский плач! Что я, годовалых детей не слышал?... Они все это записали, а когда он вырос, дали ему прослушать...

— Чтобы записать, нужно иметь технику, — сказала Майка.

— Ну, не записали, так запомнили, — сказал я. — Это неважно.

— Ага, — произнес Вандерхузе. — Он увидел либо негуманоидов, либо гуманоидов, но в стадии машинной цивилизации. И поэтому стер бортжурнал. По инструкции.

— На машинную цивилизацию непохоже, — сказала Майка.

— Значит, негуманоиды... — До меня вдруг дошло. — Ребята, — сказал я, — если здесь негуманоиды, то это такой случай, что я просто не знаю... Человек-посредник, понимаете? Он и человек и нечеловек, гуманоид и негуманоид! Такого еще никогда не бывало. О таком даже мечтать никто не рискнул бы!

Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Перспективы ослепляли нас. Туманные, неясные, но ослепительно радужные. Дело было не только в том, что впервые в истории установился возможный контакт с негуманоидами. Человечество получало уникальнейшее зеркало, перед человечеством открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, непостижимый мир принципиально иной психологии, и смутные комовские идеи вертикального прогресса обретали наконец экспериментальный фундамент...

— Чего ради негуманоиды станут возиться с человеческим ребенком? — задумчиво произнес Вандерхузе. — Зачем это им и что они в этом понимают?

Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас же сказала с вызовом:

— На Земле известны случаи, когда негуманоиды воспитывали человеческих детей.

— Так то на Земле! — сказал Вандерхузе грустно.

И он был прав. Все известные разумные негуманоиды отстояли от человека гораздо дальше, чем волки или даже осьминоги. Утверждал же такой серьезный специалист, как Крюгер, что разумные слизни Гарроты рассматривают человека со всей его техникой не как явление реального мира, а как плод своего невообразимого воображения...

— И тем не менее он уцелел и вырос! — сказала Майка.

И она тоже была права.

Я человек по натуре скептический. Я не люблю зары-

ваться и чрезмерно фантазировать. Не то что Майка. Но тут больше просто ничего нельзя было предположить. Годовалый ребенок. Ледяная пустыня. Один. Ведь ясно же, что сам по себе он выжить не смог бы. Причем с другой стороны — стертый бортжурнал. Что тут еще можно придумать? Какие-нибудь пришельцы-гуманоиды случайно оказались поблизости, выкормили, а потом улетели... Чепуха ведь...

— А может быть, он не выжил? — сказала Майка. — Может быть, все, что от него осталось, это его плач и голоса его родителей?

На секунду мне показалось, что все рухнуло. Вечно эта Майка что-нибудь выдумает. Но я тут же сообразил:

— А как он проходит в корабль? Как он командует моими киберами? Нет, ребята, либо мы встретили в космосе точную — понимаете? — точную, идеальную реплику человечества, либо это космический Маугли. Не знаю, что более вероятно.

— И я не знаю, — сказала Майка.

— И я, — сказал Вандерхузе.

Из репродуктора раздался голос Комова:

— Внимание, на борту! Я вышел на позицию. Смотреть вокруг хорошенько. Мне отсюда видно немного. Радиogramмы были?

Я заглянул в приемный карман.

— Целая пачка, — сказал я.

— Целая пачка, — сказал Вандерхузе в микрофон.

— Стась, мои радиogramмы вы отправили?

— А... еще не все, — сказал я, поспешно усаживаясь за рацию.

— Еще не все, — сообщил Вандерхузе в микрофон.

— Хлев на палубе! — объявил Комов. — Хватит философствовать, принимайтесь за дело. Майя, следите за экраном. Забудьте обо всем и следите за экраном. Попов, чтобы последняя моя радиogramма через десять минут была в эфире. Яков, зачитайте, что там пришло на мое имя...

Когда я закончил передачу и осмотрелся, все были заняты своими делами. Майка сидела за пультом обзор — на панорамном экране виднелся Комов, крошечная фигурка у самого берега; над болотом шевелился туман, и больше никакого движения на всех трехстах шестидесяти градусах в радиусе семи километров от корабля не было заметно. Комов сидел к нам спиной: очевидно, он ждал, что наш Маугли появится из болота. Майка мед-

ленно поворачивала голову из стороны в сторону, озирая окрестности, и время от времени давала на какой-нибудь подозрительный участок максимальное увеличение — тогда на экранах малых мониторов появлялся то поникший куст, то лиловая тень дюны на искрящемся песке, то неопределенное пятно в редкой щетине карликовых деревьев.

Вандерхузе монотонно бубнил в микрофон: «...варианты психотина двоеточие шестнадцать эн дробь тридцать два дзета или шестнадцать эм... мама... дробь тридцать один ипсилон...» — «Достаточно, — говорил Комов. — Следующую». — «Земля Лондон Картрайт, уважаемый Геннадий, еще раз напоминаю о вашем обещании дать отзыв...» — «Достаточно. Следующую». — «Пресс-центр...» — «Достаточно. Дальше. Яков, читайте только то, что из Центра или с базы». Пауза. Вандерхузе перебирает карточки. «Центр Бадер затребованная вами аппаратура нуль транспортируется на базу вышлите ваши предварительные соображения по следующим пунктам первое другие вероятные зоны обитания аборигенов...» — «Достаточно. Дальше»...

Тут меня вызвала база. Сидоров спрашивал Комова.

— Комов на контакте, Михал Альбертович, — сказал я виновато.

— Контакт начался?

— Нет еще. Ждем.

Сидоров кашлянул.

— Ну ладно, я соединюсь с ним попозже. Это не срочно. — Он помолчал. — Волнуетесь?

Я прислушался к своим ощущениям.

— Н-не то что волнуемся... Странно как-то. Как во сне. Как в сказке.

Сидоров вздохнул.

— Не буду мешать, — сказал он. — Желаю удачи.

Я поблагодарил. Затем я оперся локтем на пульт, положил подбородок на ладонь и снова прислушался к своим ощущениям. Да, странно как-то. Человек — не человек. Наверное, на самом деле его нельзя называть человеком. Человеческий детеныш, воспитанный волками, вырастает волком. Медведями — медведем. А если бы человеческого детеныша взялся воспитывать спрут? Не съел бы, а стал воспитывать... Дело даже не в этом. И волк, и медведь, и спрут — все они лишены разума. Во всяком случае, того, что ксенологи называют разумом. А вот если нашего Маугли воспитали существа

разумные, но в то же время в некотором смысле спруты?.. И даже еще более чужие, чем спруты... А ведь это они научили его выбрасывать защитные фантомы, научили мимикрии — в человеческом организме нет ничего для таких штук, значит, это искусственное приспособление. Постой, а для чего ему мимикрия? От кого это он приучен защищаться? Планета-то ведь пуста! Значит, не пуста.

Я представил себе огромные пещеры, залитые призрачным лиловым светом, мрачные закоулки, в которых таится смертельная опасность, и маленького мальчика, который крадется вдоль липкой стены, готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться в неверном сиянии, оставив врагу свою зыбкую, расплывающуюся тень. Бедный мальчуган. Его надо немедленно вывезти отсюда... Стоп-стоп-стоп! Это все чепуха. Это все не бывает. Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь попроще, поглупее. Сколько здесь обнаружили видов живых существ? Не то одиннадцать, не то двенадцать — и это во всем диапазоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, так не бывает. Тут что-то не то. Ладно, скоро узнаем. Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? Много ли человеческие волчата рассказали людям о волках? На что же рассчитывает Комов? Мне захотелось сейчас же, немедленно спросить у Комова, на что он рассчитывает.

Вандерхузе, дочитав последнюю радиограмму, вытянулся в кресле, заложил руки за голову и произнес задумчиво:

— А ведь я знал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди. Романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть... Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль... Уничтожить бортжурнал, стереть свой след в пространстве — ведь на том конце следа Земля! Да, это очень на него похоже. — Вандерхузе помолчал. — Между прочим, таких, кто ищет уединения, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение не такая уж плохая вещь, как вы полагаете?

— Не для меня, — коротко сказала Майка, не отрываясь от экрана.

— Это потому, что ты молода, — возразил Вандерху-

зе. — В твоём возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими и чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе — большой шумной компанией. И чтобы устраивать мозговые атаки, и все время быть в веселом напряжении, и чтобы все время соревноваться, все равно в чем — в прыжках ли с крыльями, в количестве острот на единицу времени, в знании наизусть каких-нибудь таблиц... во всем. А в промежутках во все горло распевать под нэкофон куплеты собственного сочинения... — Вандерхузе вздохнул. — Обычно это происходит с началом настоящей любви... Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с двадцатого года Шурик и Мари ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу не видел. Один раз говорил по видео... Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал у меня разрешение на выход с Пандоры. — Вандерхузе снова вздохнул. — Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся... — Он помолчал. — Если хотите знать, — объявил он, — я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродят по космосу в одиночку, опасно, научный выход ничтожный, а иногда мешают... Помните историю с Каммерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома... По-моему, Шурик и Мари так ничего и не нашли в космосе, во всяком случае ничего такого, о чем стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании.

— Но зато они были счастливы, — сказала Майка, не оборачиваясь.

— Почему ты так думаешь?

— Иначе бы они вернулись! Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы? — Майка сердито посмотрела на Вандерхузе. — Что вообще стоит искать, кроме счастья?

— Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет, — сказал Вандерхузе, — но я не подготовлен к такому глубокому спору, да и ты тоже, как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов...

— На борту! — раздался голос Комова. — Смотреть внимательно!

— Именно это я и хотел сказать, — проговорил Вандерхузе, и Майка снова отвернулась к экрану.

Теперь мы смотрели на экран все троим. Солнце было совсем низко, оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко освещивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвижной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно-фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов.

— Пять часов, — негромко сказал Вандерхузе. — Не пора ли нам обедать? Геннадий, как вы будете есть?

— Мне ничего не надо, — сказал Комов. — Я захватил с собой. А вы поешьте, потом может стать не до того. Я поднялся.

— Пойду готовить. Какие заказы?

И тут Вандерхузе сказал:

— Вижу!

— Где? — сейчас же спросил Комов.

— Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Градусах в шестидесяти влево от вашего направления на корабль.

— Ага, — сказала Майка. — Я тоже вижу! Действительно, идет.

— Не вижу! — нетерпеливо сказал Комов. — Дайте координаты по дальномеру.

Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и продиктовал координаты. Теперь и я увидел: вдоль самой кромки черной воды не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая, странно скособоленная фигурка.

— Нет, не вижу, — сказал Комов с досадой. — Рассказывайте мне.

— Н-ну, значит, так... — начал Вандерхузе и откашлялся. — Идет медленно, смотрит на нас... в руках охапка каких-то прутьев... Остановился, поковырял ногой в песке... Бр-р-р, по такой холодине нагишом... Пошел дальше... Смотрит в вашу сторону, Геннадий... Любопытно, анатомия у него нечеловеческая, точнее, не совсем человеческая... Вот опять остановился и все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас на траверзе, к вам он сейчас ближе, чем к нам...

Пьер Александрович Семенов, космический Маугли,

приближался. Сейчас до него было метров двести, и, когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками, снова стало совсем светло, длинные тени протянулись вдоль пляжа.

Это был ребенок, мальчишка лет двенадцати, угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже лицо у него не было мальчишеское, с человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правое заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный неровный шрам, грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалывшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо, и вдобавок мертвенного, синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и, когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий — удивительно, по-взрослому жилистый, не мускулистый, не атлет, а именно жилистый, и еще стали видны страшные рваные шрамы — глубокий шрам на левом боку через ребра до самого бедра, отчего он и был таким скособоченным, и еще шрам на правой ноге, и глубокая вдавлинка посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствие с собой.

Он был теперь шагах в двадцати, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль; он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена

чуть назад и слегка согнута в колене, но всем весом он опирался именно на нее. И вперед он выставил левое плечо. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновение уловить подобную позу — долго так не прстоишь, это неудобно, да и некрасиво, а он стоял, стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал — присел, но это неправильно: он опустил на левую ногу, правую же, не сгибая, вытянул вперед — даже смотреть на него было неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой ногой. Потом он поднял к нам лицо, протянул руки — в каждом кулаке по пруту, — и тут началось такое, что я вообще не берусь описывать.

Могу только сказать: лицо его ожило, и не просто ожило — оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться — с шорохом; с барабанной дробью, со стреко- том, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня за- рябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое про- странство.

— Почему вы молчите? — надрывался Комов. — Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?

Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе, лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхузе откашлялся и проговорил:

— Слышу.

— Что произошло?

— Не берусь рассказать, — сказал он. — Может быть, вы, ребята?

— Он разговаривал! — произнесла Майка сдавленным голосом. — Это он разговаривал!..

— Слушайте, — сказал я. — А он не к люку пошел?

— Возможно, — сказал Вандерхузе. — Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку...

— Следите за люком, — быстро скомандовал Комов. — Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами запритесь в рубке... — Он помолчал. — Жду вас через час, — проговорил он с какой-то новой интонацией, обычным спокойно-деловым тоном и словно бы отвернувшись от микрофона. — За час вы управитесь?

— Не понял, — сказал Вандерхузе.

— Запритесь! — раздраженно закричал Комов прямо в микрофон. — Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль!

— Это я понял, — сказал Вандерхузе. — Где вы нас ждете через час?

Наступило молчание.

— Жду вас через час, — снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов. — За час вы управитесь?

— Где? — сказал Вандерхузе. — Где ждете?

— Яков, вы меня слышите? — громко спросил Комов с беспокойством.

— Слышу вас отлично, — произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас. — Вы сказали, что ждете нас через час. Где?

— Я не говорил... — начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона:

— А не пора ли нам обедать? Стас там, наверное, соскучился, как ты полагаешь, Майка?

Майка нервно захихикала.

— Это же он... — проговорила она, тыча пальцем в экран. — Это же он... там...

— Что происходит, Яков? — гаркнул Комов.

Станный голос — я даже не сразу понял чей — произнес:

— Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу...

Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.

— Ничего особенного, Геннадий, — произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. — Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.

— Вы его видите?

— Нет... Впрочем, вот он появился.

Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы слышали голос Майки:

— В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому...

— Сейчас он говорит голосом Майки, — невозмутимо сообщил Вандерхузе. — А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?

Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый — странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.

— Ага, вижу! — с удовлетворением сказал Комов. — Он стоит шагах в двадцати от корабля, так?

— Так, — сказал Вандерхузе.

— Не так, — сказал я.

Вандерхузе присмотрелся.

— Да-да, пожалуй, не так, — согласился он. — Это, пожалуй, как вы это называете, Геннадий? Фантом?

— Стойте, — сказал Комов. — Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне.

— Ты видишь его? — спросила меня Майка.

— Нет, — ответил я. — Темно уже.

— Не в темноте дело, — возразила Майка.

Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом, и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел.

Потом я увидел, что Комов сел.

— Подходит, — проговорил он вполголоса. — Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте

внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все.

— Доброй охоты, — сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: — Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари.

Майка судорожно зевнула и проговорила:

— Спать мне хочется, что ли? Или это от нервов?

— Между прочим, спать нам теперь придется мало, — заявил Вандерхузе. — Давайте сделаем так: пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через четыре часа я его разбужу, как ты полагаешь, Стась?

Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом — наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.

Некоторое время он молчал. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегаёт на четвереньках и рычит. Медвежий человек тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш Маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он активно пользуется руками, это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведаёт речью, задействована у него великолепно... И ведь он запоминает все с одного раза! Странно, очень странно. Негуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно не способны так воспитывать человеческого детеныша. Прокормить его, приручить могли бы. Исследовать в своих странных лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника, тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем че-

ловека — вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды?..

— Во всяком случае, — сказал вдруг Вандерхузе, — они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека, ничего, может быть, не зная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась?

Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал.

В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил: на темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транслятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги в синих спортивных костюмах и с зонтиками, они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло. Вандерхузе сидел, напряженно пригнувшись к экрану, вцепившись руками в подлокотники.

— Стась! — окликнул он негромко.

— Да?

— Посмотри на экран.

Я без того уже смотрел на экран, но не видел пока ничего особенного. Как и прежде, полыхали и переливались небесные огни. Комов сидел в прежней позе, далекий айсберг отсвечивал розовым и зеленым. Потом я увидел.

— Над горами? — шепотом спросил я.

— Да. Именно над горами.

— Что это такое?

— Не знаю.

— Давно?

— Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад.

Думал, смерч...

Я сначала тоже подумал, что это смерч. Над бледной иззубренной линией хребта, на фоне радужных полотнищ поднималось что-то вроде длинного тонкого хлыста — черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда

словно бы проседал и снова распрямлялся, и заметно было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, похожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, до которого было, по крайней мере, километров десять, словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удлище. Он придавал знакомому пейзажу на экране нереальный вид декораций кукольного театра. Смотреть на это было как-то противоестественно и жутко-смешно, как если бы над вершинами появилась неправдоподобно громадная физиономия. В общем, это было что-то вне всяких масштабов, что-то невозможное, вне всяких представлений о пропорциях.

— Они? — спросил я шепотом.

— Невозможно, чтобы это было естественное... — проговорил Вандерхузе. — И невозможно, чтобы это было искусственное.

Я и сам чувствовал то же самое.

— Надо сообщить Комову, — сказал я.

— Комов отключился, — ответил Вандерхузе. Он наводил дальномер. — Расстояние не меняется. Четырнадцать километров. И эта штука страшно вибрирует, вся трясется. Амплитуда не меньше сотни метров... Совершенно невозможная штука.

— Какая же у него высота? — пробормотал я.

— Около шестисот метров.

— Елки-палки, — сказал я.

Он вдруг вскочил и нажал сразу две клавиши: наружного аварийного радиовызова «всем немедленно вернуться на борт» и внутреннего сигнала «всем собраться в рубке». Потом он повернулся ко мне и непривычно отрывистым голосом скомандовал:

— Стась! Бегом на пост УАС. Приведи в готовность носовую ПМП. Сиди и жди. Без команды ничего.

Я выскочил в коридор. Из-за дверей кают слышались приглушенные отрывистые звонки сигнала сбора. Навстречу мне мчалась Майка, на ходу натягивая куртку. Она была в туфлях на босу ногу.

— Что случилось? — сиплым со сна голосом спросила она еще издали.

Я махнул рукой и по трапу ссыпался вниз, в пост управления активными средствами. Меня слегка лихорадило, но в общем я был спокоен. В известном смысле я был даже горд: ситуация складывалась редкостная. Настолько редкостная, что я был уверен: с момента

первого старта этого корабля на пост УАС никто еще не заходил — разве что работники космодромов для профилактического осмотра автоматики.

Я повалился в кресло, врубил круговой экран, отключил автоматику ПМП и сразу же заблокировал кормовую установку, чтобы в суматохе не выпасть в надр. Затем я взялся за верньеры ручной наводки, и изображение на экране поползло через черное перекрестие перед моими глазами: прополз клыкастый айсберг, проползла туманная масса над болотами, прополз Комов — теперь он стоял, озаряемый сполохами, спиной к нам и глядел в сторону гор... Еще немного повыше. Вот он. Черный, дрожащий, нелепый, совершенно невозможный. А рядом второй, он покороче, но растет на глазах, вытягивается, гнется... Елки-палки, да как же они это делают? Какие же это мощности нужны и что это за материал? Ну и зрелище!.. Теперь это было так, будто чудовищный таракан прячется за горами и высунул оттуда свои усы. Я прикинул телесный угол поражения и установил перекрестие таким образом, чтобы одним ударом поразить обе цели. Теперь оставалось только толкнуть ногой педаль...

— Пост УАС, — гаркнул Вандерхузе.

— Есть пост УАС! — отозвался я.

— Готовность!

— Есть готовность!

По-моему, это у нас очень лихо получилось.

— Обе цели видишь? — обыкновенным голосом спросил Вандерхузе.

— Да. Накрываю обе одним импульсом.

— Обрати внимание: сорок градусов к востоку — третья цель.

Я взглянул: действительно, еще один гигантский ус гнулся и трепетал в неверном свете сполохов. Это мне не понравилось. Успею или нет? Чего там, должен успеть... Я мысленно прорепетировал, как я выпускаю импульс, а затем двумя движениями разворачиваю пушку на третью цель. Ничего, успею.

— Вижу третью цель, — сказал я.

— Это хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но ты, однако, не горячись. Стрелять только по моей команде.

— Вас понял, — буркнул я.

Вот даст он по кораблю каким-нибудь... этим... искривителем пространства каким-нибудь, дождешься тогда от тебя команды. Меня уже заметно трясло.

Я стиснул руки, чтобы привести себя в порядок. Потом я посмотрел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он снова сидел в прежней позе, повернувшись к гигантскому таракану боком. Я сразу успокоился, тем более что обнаружил наконец рядом с Комовым крошечную черную фигурку. Мне даже стало неловко.

Чего это я вдруг? Какие, собственно, основания для паники? Ну, выставил усы... Большие усы, не спорю, я бы даже сказал — сногшибательной величины усы. Но, в конце концов, никакие это, вероятно, не усы, а что-нибудь вроде антенн. Может быть, они просто за нами наблюдают. Мы за ними, а они за нами. И даже, собственно, не за нами, наверное, а за своим воспитанником, за Пьером Александровичем Семеновым наблюдают — как, мол, он здесь, не обижают ли его...

Вообще, если подумать, противометеоритная пушка — страшная штука, не хотелось бы ее здесь применять. Одно дело — сровнять с грунтом какую-нибудь скалу, чтобы расчистить посадочную площадку, или, скажем, завалить ущелье, когда нужен пресный водоем, а другое дело — вот так, по живому... А вообще-то применялись когда-нибудь ПМП как средство обороны? Пожалуй, да. Во-первых, был случай, не помню где, грузовой автомат потерял управление и стал валиться прямо на лагерь, пришлось его сжечь. А потом, помнится, разбирали такой инцидент: на какой-то биологически активной планете корабль-разведчик подвергся «направленному непреодолимому воздействию биосферы»... То есть подвергся он или нет — до сих пор неизвестно, но капитан решил, что подвергся, и ударил из носовой пушки. Выжег он вокруг себя все, до самого горизонта, так что потом при расследовании эксперты только руками разводили. Капитана, помнится, от полетов отстранили надолго... Да что и говорить, страшное средство — ПМП. Последнее средство.

Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, я произвел замеры расстояний до целей и рассчитал их высоту и толщину. Расстояния оказались: четырнадцать, четырнадцать с половиной и шестнадцать километров. Высота от пятисот до семисот метров, а толщина у них была примерно одинаковая: у основания около пятидесяти метров, а на самом кончике уса меньше метра. И все они действительно были суставчатыми, как бамбуковые стволы или катушечные антенны. И еще мне показалось, что я различаю на их поверхности какое-то

движение, направленное снизу вверх, этакую перистальтику, но, может быть, это была только игра света. Я попытался прикинуть свойства материала, из которого могут состоять такие вот образования, — получалась какая-то чепуха. Да, пощупать бы их локатором-пробником, но нельзя, конечно. Неизвестно, как они к этому отнесутся. Да и не это главное. Главное — это то, что цивилизация здесь, пожалуй, технологическая. Высокоразвитая цивилизация. Что и требовалось доказать. Непонятно только, чего это они зарылись под землю, почему оставили свою родную планету во власть пустоты и тишины. Впрочем, если подумать, у каждой цивилизации свои представления о благоустроенности. Например, на Тагоре...

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе над самым ухом, так что я вздрогнул. — Как видишь цели?

— Вижу цели... — откликнулся я машинально, но тут же осекся: усов над горами не было. — Нет целей, — упавшим голосом сказал я.

— Спишь на посту!

— Ничего не сплю... Только что были, своими глазами видел...

— И что ты видел своими глазами? — осведомился Вандерхузе.

— Цели. Три цели.

— А потом?

— А теперь их нет.

— Гм... — сказал Вандерхузе. — Странно это как-то произошло, как ты полагаешь?

— Да, — сочувственно сказал я. — Очень странно. Были — и вдруг нет.

— Комов возвращается, — сообщил Вандерхузе. — Может быть, он что-нибудь понимает?..

Действительно, Комов, обвешанный футлярами, неловкой походкой — очевидно, у него затекли ноги — возвращался к кораблю. Время от времени он оборачивался — надо полагать, прощался с Пьером Александровичем, но самого Пьера Александровича видно не было.

— Отбой, — сказал Вандерхузе. — Оставь все как есть и беги на камбуз, приготовь что-нибудь горячее и подкрепляющее. Геннадий, наверное, замерз как сосулька. Впрочем, голос у него был довольный, как ты полагаешь, Майка?

Я мигом очутился на кухне и принялся торопливо

готовить глинтвейн, кофе и легкую закуску. Я очень боялся пропустить хоть слово из того, что будет рассказывать Комов. Но когда я бегом прикатил столик в рубку, Комов еще ничего не рассказывал. Он стоял перед столом, растирая замерзшую щеку, на столе была расстелена самая большая и подробная карта нашего района, и Майка пальцем показывала ему те места, откуда высовывались давешние усы-антенны.

— Здесь ничего нет! — возбужденно говорила Майка. — Здесь мерзлые скалы, каньоны в сто метров глубины, вулканические пропасти — и ничего живого. Я пролетала здесь десятки раз. Тут даже кустарники нет.

Комов рассеянно-благодарно кивнул мне, взял в обе руки чашку с глинтвейном, погрузил в нее лицо и стал шумно прихлебывать, побряхтывая, обжигаясь и с наслаждением отдуваясь.

— И грунт здесь хрупкий, — продолжала Майка, — он бы не выдержал таких сооружений. Это же десятки, а может быть, и сотни тысяч тонн!

— Да, — произнес Комов и со стуком поставил пустую чашку на стол. — Что и говорить, странно. — Он сильно потер ладони. — Замерз как собака, — сообщил он. Это был опять совсем другой Комов, румяный, красноносый, доброжелательный, с блестящими веселыми глазами. — Странно, странно, ребята. Но это еще не самое странное — мало ли странного бывает на чужих планетах. — Он повалился в кресло и вытянул ноги. — Сегодня меня, знаете ли, трудно удивить. За эти четыре часа я наслышался такого... Кое-что нуждается, конечно, в проверке. Но вот вам два фундаментальных факта, которые, так сказать, уже теперь лежат на поверхности. Во-первых, Малыш... его зовут Малыш... уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему. Это мальчишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми!

— Что значит — бегло? — недоверчиво спросила Майка. — После четырех часов обучения — бегло?

— Да, после четырех часов обучения — бегло! — торжествующе подтвердил Комов. — Но это во-первых. А во-вторых, Малыш пребывает в совершенной убежденности, что он единственный обитатель этой планеты.

Мы не поняли.

— Почему же единственный? — спросил я. — Какой же он единственный?

— Малыш совершенно убежден, — с ударением произнес Комов, — что, кроме него, на этой планете нет ни одного разумного аборигена.

Воцарилось молчание. Комов поднялся.

— У нас много работы, — сказал он. — Завтра утром Малыш намерен нанести нам официальный визит.

Глава шестая

НЕЛЮДИ И ВОПРОСЫ

Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно, а что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции: ярко выраженные отрицательные эмоции (красная лампочка на пульте), ярко выраженные положительные эмоции (зеленая лампочка) и вся остальная эмоциональная гамма (белая лампочка). А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что Малыш не согласится так, ни с того ни с сего, укладываться в матово-белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к девяти часам мы кое-как управились, и тут во весь рост встала проблема дежурства по посту УАС.

Вандерхузе, как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И наконец, выяснилось, что Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с Малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка сно-

ва отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера, так что все желающие могли убедиться: индикатор эмоций действует — красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАС можно было слышать, что говорится в кают-компании, через интерком с усилителем.

В девять пятнадцать по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен, на столе красовались блюда со сладостями, освещение было отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. И мы стали ждать.

Он явился в девять сорок по бортовому времени.

Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание — мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным: и поза, по-человечески совершенно неестественная и вместе с тем непринужденная, и блестящая, словно лаком покрытая, зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные ступни ног. И то, что он оказался не таким уж маленьким — ростом с Майку. И то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей. И то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев.

Взгляд его остановился наконец на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль: уж не догадывается ли Малыш о назначении диагностера, — а наш brave капитан в конце концов с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и вопреки инструкции слегка поклонился.

— Феноменально! — громко и отчетливо произнес Малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка.

Капитан снова нервно взбил бакенбарды и искатель-

но улыбнулся. И тотчас же лицо Малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут Малыш отлепился наконец от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона.

— Что это? — спросил он.

— Видеофон, — ответил Комов.

— Да, — сказал Малыш. — Все движется, и ничего нет. Изображения.

— Вот еда, — сообщил Комов. — Хочешь поесть?

— Еда отдельно? — непонятно спросил Малыш и приблизился к столу. — Это еда? Непохоже. Шарада.

— Непохоже на что?

— Непохоже на еду.

— Все-таки попробуй, — посоветовал Комов, придвигая к нему блюдо с меренгами.

Тогда Малыш вдруг упал на колени, протянул руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд, затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собою смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор, несомненно правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение Малыш застыл в неподвижности и вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло.

— Я понимаю, — объявил он, — это ваша еда. Я так не ем.

— Смотри, как надо, — сказал Комов.

Он протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу Малыша пробежала судорога.

— Нельзя! — почти крикнул он. — Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо!

— А ты попробуй, — снова предложил Комов, взглянул в сторону диагностера и осекся. — Ты прав. Не надо. Что будем делать?

Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес:

— Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова: когда вы отсюда уходите?

— Сейчас объяснить трудно, — мягко ответил Комов. — Нам очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь.

— Ты знаешь обо мне все, — объявил Малыш голосом Комова. — Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все.

У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился.

— Почему ты думаешь, что я все это знаю? — спросил он.

— Я размышлял. Я понял.

— Это феноменально, — спокойно сказал Комов, — но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня.

— Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все?

— Да, если ты захочешь.

— Тогда спрашивай, — сказал Малыш. — Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить.

Я взглянул на индикатор. Просто так взглянул. И мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхузе встревожено.

— Сначала расскажи мне, — произнес Комов, — почему ты так долго прятался?

— Курвиспат, — отчетливо выговорил Малыш и пересел на правую пятку. — Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел: люди пришли. Я стал размышлять и понял, если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут, но я не знал когда. Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал: один человек говорить не может. Я пришел к четверым. Было очень весело, мы играли с изображениями, мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел: один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял: ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот! Вот как было.

Он говорил резко и отрывисто, голосом Комова, и только внесмысловые слова он произносил этим сочным незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое, и сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо-плавны, он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище: привычные стены кают-компаний, ванильный запах от пирожных, все такое домашнее, обычное — только странный лиловатый свет и в этом свете на полу гибкое, плавное и стремительное маленькое чудовище. И тревожный рубиновый огонек на пульте.

— Откуда ты знал, что люди придут снова? — спросил Комов.

— Я размышлял и понял.

— А может быть, кто-нибудь рассказал тебе?

— Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои изображения. Но они молчат: С ними можно только играть. Нет, люди пришли и ушли. — Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу. — Я подумал и понял: они придут снова.

— А почему тебе было плохо?

— Потому что люди.

— Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Я знаю, — сказал Малыш. — Я ведь уже говорил: люди уйдут, и будет хорошо.

— От каких действий людей тебе плохо?

— От всех. Они есть, или они могут прийти — это плохо. Они уйдут навсегда — это хорошо.

Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под стол.

— Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут? — спросил Комов, не обратив на меня внимания.

— Я знал: люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми.

— Я много размышлял. Долго не понимал. Потом понял.

— Когда понял? Давно?

— Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал

размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать.

Комов покусал нижнюю губу.

— Я заснул на берегу океана, — сказал он вдруг. — Когда я проснулся, то увидел: на мокром песке возле меня следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял: пока я спал, мимо меня прошел человек. Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека, я увидел только следы. Я размышлял: раньше следов не было; теперь следы есть; значит, они появились, пока я спал. Это человеческие следы — не следы волн, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь. Но ты поразмыслил и узнал, что они обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?

Малыш молчал долго — минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой и сказал громким сочным баритоном:

— Это вопрос. По бим-бом-брамселям!

Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и Малыш сейчас же поглядел на него.

— Феноменально! — воскликнул он все тем же баритоном. — Я всегда хотел узнать: почему длинные волосы на щеках?

Воцарилось молчание. И вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный.

— Ответьте ему, Яков, — спокойно попросил Комов.

— Гм... — сказал Вандерхузе, порозовев. — Как тебе сказать, мой мальчик... — Он машинально взбил бакенбарды. — Это красиво, это мне нравится... По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь?

— Красиво... нравится... — повторил Малыш. — Колокольчик! — сказал он вдруг нежно. — Нет, ты не объяснил. Но так бывает. Почему только на щеках? Почему нет на носу?

— А на носу некрасиво, — наставительно сказал Вандерхузе. — И в рот попадают, когда ешь...

— Правильно, — согласился Малыш. — Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху.

— Гм, — сказал Вандерхузе. — Видишь ли, я редко хожу через кусты.

— Не ходи через кусты, — сказал Малыш. — Будет больно. Сверчок на печи!

Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему видно было, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек, Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно, испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта. Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза и выпалил:

— А ты?

— Что — я? — спросил я, растерявшись, а потому агрессивно.

Комов немедленно и с явным удовольствием пнул меня в лодыжку.

— У меня вопрос к тебе, — объявил Малыш. — Тоже всегда. Но ты боялся. Один раз чуть меня не погубил — зашипел, заревел, ударил меня воздухом. Я бежал до самых сопок. То большое, теплое, с огоньками, делает ровную землю — что это?

— Машины, — сказал я и откашлялся. — Киберы.

— Киберы, — повторил Малыш. — Живые?

— Нет, — сказал я. — Это машины. Мы их сделали.

— Сделали? Такое большое? И двигается? Феноменально. Но ведь они большие!

— Бывают и больше, — сказал я.

— Еще больше?

— Гораздо больше, — сказал Комов. — Больше, чем айсберг.

— И они тоже двигаются?

— Нет, — сказал Комов. — Но они размышляют.

И Комов принялся рассказывать, что такое кибернетические машины. Мне было очень трудно судить о душевных движениях Малыша. Если исходить из предположения, что душевные движения его так или иначе выражались движениями телесными, можно было считать, что Малыш сражен наповал. Он метался по кают-компании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолятеля. Когда Комов объяснил ему, почему моих киберов нельзя считать ни живыми, ни мертвыми, он вскарабкался на потолок и бессильно повис там, прилипнув к пластику ладонями и ступнями. Сообщение о машинах, гигантских машинах, которые размышляют быстрее,

чем люди, считают быстрее, чем люди, отвечают на вопросы в миллион раз быстрее, чем люди, скрутило Малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам, шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не приходилось мне встречать такого благодарного слушателя. Изумрудная лампа на пульте индикатора сияла, как кошачий глаз, а Комов говорил и говорил, точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным размеренным голосом и время от времени вставлял интригующие: «Подробнее об этом мы поговорим позже» или: «Это на самом деле гораздо сложнее и интереснее, но ведь ты пока еще не знаешь, что такое гемостатика».

Едва Комов закончил, Малыш вскочил на кресло, обхватил себя своими длинными жилистыми руками и спросил:

— А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы слушали?

— Ты это уже сделал, — сказал я.

Он бесшумно, как тень, упал на руки на стол передо мной.

— Когда?

— Ты прыгал перед ними, и самый большой — его зовут Том — останавливался и спрашивал тебя, какие будут приказания.

— Почему я не слышал вопроса?

— Ты видел вопрос. Помнишь, там мигал красный огонек? Это был вопрос. Том задавал его по-своему.

Малыш перелился на пол.

— Феноменально! — тихо-тихо сказал он моим голосом. — Это игра. Феноменальная игра. Щелкунчик!

— Что значит «щелкунчик»? — спросил вдруг Комов.

— Не знаю, — сказал Малыш нетерпеливо. — Просто слово. Приятно выговаривать. Ч-чеширский кот. Щ-щелкунчик.

— А откуда ты знаешь эти слова?

— Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы... По бим-бом-брамселям! Щелкунчик... С-верчок на печи. Мар-ри, Мар-ри! Сверчок кушать хоч-чет!

Честно говоря, у меня мороз пошел по коже, а Вандерхузе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш выкрикивал слова сочным баритоном: закрыть глаза —

так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека, бесстрашного, сильного, доброго... Потом в интонации его что-то изменилось, и он тихонько пророкотал с неизъяснимой нежностью:

— Кошенька моя, ласонька... — И вдруг ласковым женским голосом: — Колокольчик!.. Опять мокренький...

Он замолчал, постукивая себя пальцем по носу.

— И ты все это помнишь? — слегка изменившимся голосом произнес Комов.

— Конечно, — сказал Малыш голосом Комова. — А ты разве не помнишь все?

— Нет, — сказал Комов.

— Это потому, что ты размышляешь не так, как я, — уверенно сказал Малыш. — Я помню все. Все, что было вокруг меня когда-нибудь, я уже не забуду. А когда забываю, надо только поразмыслить хорошенько, и все вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом расскажу. А сейчас ответь мне: что вверху? Ты вчера сказал: звезды. Что такое звезды? Сверху падает вода. Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда корабли? Очень много вопросов, я очень много размышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. Нет, не так. Много разных ответов, и все они спутаны друг с другом, как листья... — Он сбил листья на полу в беспорядочную кучку. — Закрывают друг друга, мешают друг другу. Ты ответишь?

Комов принялся рассказывать, и Малыш опять заметался, трепеща от возбуждения. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили Малышу таких простых вещей; и как это они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревал об их существовании; и как это Малыш умудряется помнить так точно все, что слышал во младенчестве; и как это, в сущности, страшно — особенно то, что он ничего не понимает из запомненного.

Тут Комов вдруг замолчал, в нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было, только слабый, совсем прозрачный фантом быстро таял над горстью рассыпанных листьев. В отдалении слабо чмокнула перепонка люка. Голос Майки обеспокоенно осведомился по интеркому:

— Куда это он так почесал? Что-нибудь случилось?

Я взглянул на Комова. Комов с шелестом потирал руки, задумчиво улыбаясь.

— Да, — проговорил он. — Любопытная картина получается... Майя! — позвал он. — Усы эти появлялись?

— Восемь штук, — сказала Майка. — Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта... причем цветные — желтые, зеленые... Я сделала несколько снимков.

— Молодец, — похвалил Комов. — Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы... Яков, забирайте регистрограммы, пойдите ко мне. А вы, Стась... — Он встал и направился в угол, где был установлен блок видеофонографов. — Вот вам кассета, Стась, передайте все в экстренных импульсах прямо в Центр. Дубль я возьму себе, надо проанализировать... Где я тут видел проектор? А, вот он. Я думаю, в нашем распоряжении еще часа три-четыре, потом он снова придет... Да, Стась! Поглядите заодно радиogramмы. Если есть что-нибудь стоящее. Только из Центра, с базы, или лично от Горбовского, или от Мбога.

— Вы меня просили, — сказал я, поднимаясь. — Вам еще надо поговорить с Михаилом Альбертовичем.

— Ах да! — Лицо Комова стало виноватым. — Знаете, Стась, это не совсем законно... Окажите любезность, выдайте запись сразу по двум каналам: не только в Центр, но и на базу, лично и конфиденциально Сидорову. Под мою ответственность.

— Я и под свою могу, — проворчал я уже за дверью.

Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил передачу и просмотрел радиogramмы. На этот раз их было немного — всего три; видимо, Центр принял меры. Одна радиogramма была из Информатория и состояла из цифр, букв греческого алфавита и значков, которые я видел, только когда регулировал печатающее устройство. Вторая радиogramма была из Центра: Бадер продолжал настойчиво требовать предварительных соображений относительно других вероятных зон обитания аборигенов, возможных типов предстоящего контакта по классификации Бюлова и тому подобное. Третья радиogramма была с базы, от Сидорова: Сидоров официально запрашивал Комова о порядке доставки заказанного оборудования в зону контакта. Я пораскинул умом и решил, что первая радиogramма Комову может понадобиться; третью не передать неудобно перед Михаилом Альбертовичем; а что касается Бадера, пусть пока постоит. Какие там еще предварительные соображения?

Через полчаса транслирующий автомат просигналил, что передача закончена. Я вынул кассету, забрал две карточки с радиограммами и отправился к Комову. Когда я вошел, Комов и Вандерхузе сидели перед проектором. По экрану взад и вперед молнией проносился Малыш, виднелись наши с Комовым напряженные физиономии. Вандерхузе сидел, весь подавшись к экрану, захватив бакенбарды в сжатые кулаки.

— Резкое повышение температуры, — бубнил он. — Доходит до сорока трех градусов... И теперь обратите внимание на энцефалограмму, Геннадий... Вот она, волна Петерса, снова появляется...

На столе перед ним были расстелены рулоны регистрограмм нашего диагностера, множество рулонов валялось на полу и на койке.

— Ага... — задумчиво говорил Комов, ведя пальцем по регистрограмме. — Ага... Минуточку, а здесь у нас что было? — Он остановил проектор, повернулся, чтобы взять один из рулонов, и заметил меня. — Да? — сказал он с неудовольствием.

Я положил перед ним радиограммы...

— Что это? — спросил он нетерпеливо. — А... — Он пробежал радиограмму из Информатория, усмехнулся и отбросил ее в сторону. — Все не то, — сказал он. — Впрочем, откуда им знать... — Потом он проглядел радиограмму Сидорова и поднял глаза на меня. — Вы отправили ему?..

— Да, — сказал я.

— Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радиограмму, что оборудования пока не нужно. Вплоть до нового запроса.

— Хорошо, — сказал я и вышел.

Я составил и отправил радиограмму на базу и решил посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старательно крутила верньеры. Насколько я понял, она тренировалась в наведении пушки на далеко разнесенные цели.

— Безнадежное дело, — объявила она, заметив меня. — Если все они одновременно в нас плюнут, нам каюк. Просто не успеть.

— Во-первых, можно увеличить телесный угол поражения, — сказал я, подходя. — Эффективность, конечно, уменьшится порядка на три, на четыре, но зато можно охватить четверть горизонта, а расстояния здесь небольшие... А во-вторых, ты действительно веришь, что в нас могут плюнуть?

— А ты?

— Да непохоже что-то...

— А если непохоже, то чего ради я здесь сижу?

Я опустил на пол возле ее кресла.

— Честно говоря, не знаю, — сказал я. — Все равно надо вести наблюдение. Раз уж планета оказалась биологически активной, надо выполнять инструкцию. Сто-рожа-разведчика ведь не разрешают выпускать...

Мы помолчали.

— Тебе его жалко? — спросила вдруг Майка.

— Н-не знаю, — сказал я. — Почему жалко? Я бы сказал — жутко. А жалеть... Почему, собственно, я дол-жен его жалеть? Он бодрый, живой... совсем не жалкий.

— Я не об этом. Не знаю, как это сформулировать... Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на маль-чишку...

— Что значит — наплевать? Комову надо устано-вить контакт. Он проводит определенную стратегию... Ты ведь понимаешь, что без Малыша в контакт нам не вступить...

— Понимаю. От этого меня, наверное, и тошнит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах... Слепое орудие!

— Ну, не знаю, — сказал я. — По-моему, ты здесь выпадаешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не че-ловек. Он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. Для этого надо преодолеть какие-то препятствия, раз-гадать какие-то загадки... Трезво надо к этому отно-ситься, по-деловому. Чувства здесь ни при чем. Он ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не испытывает. И ис-пытывать не может. В конце концов, что такое контакт? Столкновение двух стратегий.

— Ох, — сказала Майка. — Скучно ты говоришь. Суконно. Тебе только программы составлять. Кибер-техник.

Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего возразить по существу, и я чувствовал, что ее действительно что-то мучает.

— Опять у тебя предчувствия, — сказал я. — Но ведь на самом-то деле ты и сама прекрасно пони-маешь, что Малыш — это единственная ниточка, кото-рая связывает нас с этими невидимками. Если мы Малы-шу не понравимся, если мы его не завоеваем...

— Вот-вот, — прервала меня Майка, — в том-то и

дело. Что бы Комов ни говорил, как бы он ни поступал, сразу чувствуется: его интересует только одно — контакт. Все для великой идеи вертикального прогресса!

— А как надо? — спросил я.

Она дернула плечом.

— Не знаю. Может быть, как Яков... Во всяком случае, он, единственный из вас, говорил с Малышом по-человечески.

— Ну, знаешь, — сказал я, несколько обидевшись, — контакт на бакенбардном уровне — тоже, в общем...

Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с превеликим старанием крутила верньеры, нацеливая черное перекрестие на заснеженные зубцы хребта.

— В самом деле, Майка, — сказал я наконец. — Ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся?

— Да хочу, наверное, — сказала Майка без всякого энтузиазма. — Ты же видел, я очень обрадовалась, когда мы впервые поняли, что к чему... Но вот прослушала я эту вашу беседу... не знаю. Может быть, это потому, что я никогда не участвовала в контактах... Я все не так себе представляла.

— Нет, — сказал я. — Здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что он человек...

— Ты уже говорил это, — сказала Майка.

— Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в глаза человеческое. А ты подойди к этому с другой стороны. Не будем говорить про фантомы, про мимирию — что у него вообще наше? В какой-то степени общий облик, прямохождение. Ну, голосовые связки... Что еще? У него даже мускулатура не наша, а уж это, казалось бы, прямо из ген... Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить. Действительно, он великолепно говорит... Но и это ведь, в конце концов, не наше! Никакой человек не способен научиться бегло говорить за четыре часа. И тут дело даже не в запасе слов — надо освоить интонацию, фразеологию... Оборотень это, если хочешь знать! А не человек. Мастерская подделка. Подумай только: помнить, что было с тобой в грудном возрасте, а может быть — как знать! — и в утробе матери... Разве это человеческое?.. Вот ты видела когда-нибудь роботов-андроидов? Не видела, конечно, а я видел.

— Ну и что? — мрачно спросила Майка.

— А то, что теоретически идеальный робот-андроид

может быть построен только из человека. Это будет сверхмыслитель, это будет сверхсилач, сверхэмоционал, все что угодно «сверх», в том числе и сверхчеловек, но только не человек...

— Ты, кажется, хочешь сказать, что аборигены превратили его в робота? — проговорила Майка, криво улыбаясь.

— Да нет же, — сказал я с досадой. — Я только хочу убедить тебя, что все человеческое в нем случайно, это просто свойство исходного материала... и что не нужно разводить вокруг него сантименты. Считай, что ты ведешь переговоры с этими цветными усами...

Майка вдруг схватила меня за плечо и сказала вполголоса:

— Смотри, возвращается!

Я привстал и посмотрел на экран. От болота, прямо к кораблю, быстро семеня ногами, во весь дух чесала скособоленная фигурка. Короткая черно-лиловая тень моталась по земле перед нею, грязный хохол на макушке отсвечивал рыжим. Малыш возвращался, Малыш спешил. Длинными своими руками он обнимал и прижимал к животу что-то вроде большой плетеной корзины, доверху набитой камнями. Тяжеленная, должно быть, была корзина.

Майка включила интерком.

— Пост УАС — Комову, — громко сказала она. — Малыш приближается.

— Понял вас, — сейчас же откликнулся Комов. — Яков, по местам... Попов, смените Глумову на посту УАС. Майя, в кают-компанию.

Майка нехотя поднялась.

— Иди, иди, — сказал я. — Посмотри на него вблизи, сосуд скорби.

Она сердито фыркнула и взбежала по трапу. Я занял ее место. Малыш был уже совсем близко. Теперь он замедлил свой бег и смотрел на корабль, и снова у меня появилось ощущение, будто он глядит мне прямо в глаза.

И тут я увидел: над хребтом, в серо-лиловом небе возникли из ничего, словно проявились, чудовищные усы чудовищных тараканов. Как и давеча, они медленно гнулись, вздрагивали, сокращались. Я насчитал их шесть.

— Пост УАС! — окликнул меня Комов. — Сколько усов на горизонте?

— Шесть, — ответил я. — Три белых, два красных, один зеленый.

— Вот видите, Яков, — сказал Комов, — строгая закономерность. Малыш к нам — усы наружу.

Приглушенный голос Вандерхузе отозвался:

— Отдаю должное вашей проницательности, Геннадий, и тем не менее дежурство полагаю пока обязательным.

— Ваше право, — коротко сказал Комов. — Майя, садитесь вот сюда...

Я доложил:

— Малыш скрылся в мертвом пространстве. Тащит с собой здоровенную плетенку с камнями.

— Понятно, — сказал Комов. — Приготовились, коллеги!

Я весь обратился в слух и сильно вздрогнул, когда из интеркома грянул рассыпчатый грохот. Я не сразу сообразил, что это Малыш разом выпал на пол свои булжники. Я слышал его мощное дыхание, и вдруг совершенно младенческий голос произнес:

— Мам-ма!.. — И снова: — Мам-ма...

А затем раздался уже знакомый мне захлебывающийся плач годовалого младенца. По старой памяти у меня что-то съежилось внутри, и в то же мгновение я понял, что это: Малыш увидел Майку. Это продолжалось не больше полминуты; плач оборвался, снова загремели камни, и голос Комова деловито произнес:

— Вот вопрос. Почему мне все интересно? Все вокруг. Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь мне от них нехорошо — двадцать вопросов в день. Я стараюсь спастись: бегаю, целый день бегаю или плаваю — не помогает. Тогда начинаю размышлять. Иногда приходит ответ. Это удовольствие. Иногда приходит много ответов, не могу выбрать. Это неудовольствие. Иногда ответа не приходит. Это беда. Очень чешется. Ш-шарада. Сначала я думал, вопросы идут изнутри. Но я поразмыслил и понял: все, что идет изнутри, должно делать мне удовольствие. Значит, вопросы идут снаружи? Правильно? Я размышляю, как ты. Но тогда, где они лежат, где они висят, где их точка?

Пауза. Потом снова раздался голос Комова — настоящего Комова. Очень похоже, только настоящий Комов говорил не так отрывисто, и голос его звучал не так резко. В общем, отличить было можно, если знаешь, в чем дело.

— Я мог бы уже сейчас ответить на этот твой вопрос, — медленно проговорил Комов. — Но я боюсь ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки.

Пауза. Загремели и заскрипели по полу передвигаемые камни.

— Ф-фрагмент, — сказал Малыш. — Вот еще вопрос. Откуда берутся ответы? Ты меня заставил думать. Я всегда считал: есть ответ — это удовольствие, нет ответа — беда. Ты мне рассказал, как размышляешь ты. Я вспоминал и вспомнил, что я тоже часто так размышляю, и часто приходит ответ. Видно, как он приходит. Так я делаю объем для камней. Вот такой. («Корзину», — подсказал Комов.) Да, корзину. Один прут цепляется за второй, второй — за третий, третий дальше, и получается... корзина. Видно как. Но гораздо чаще я размышляю, — снова загремели камни, — и ответ получается готовый. Есть куча прутьев, и вдруг готовая корзина. Почему?

— И на этот вопрос, — сказал Комов, — я смогу ответить, только когда узнаю о тебе все.

— Тогда узнавай! — потребовал Малыш. — Узнавай скорее! Почему не узнаешь? Я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего, теперь он съезжился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так.

Из интеркома донесся раздирающий хруст и треск, и сейчас же отчаянно, на нестерпимо высокой ноте завизжал ребенок. И сквозь этот визг, сквозь затихающий треск, удары, звон бьющегося стекла прохрипел мужской задыхающийся голос:

— Мари... Мари... Ма...ри...

Ребенок кричал надрываясь, и некоторое время ничего больше не было слышно. Потом раздался какой-то шорох, сдавленный стон. Кто-то полз по полу, усеянному обломками и осколками, что-то покатилося с дребезгом. До жути знакомый женский голос простонал:

— Шура... Где ты, Шура... Больно... Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

И все это сквозь непрекращающийся крик младенца. Потом женщина затихла, через некоторое время затих и младенец. Я перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня сжаты, а ногти глубоко вонзились в ладони. Челюсти у меня онемели.

— Так было долго, — сказал Малыш торжествен-

но. — Я устал кричать. Я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть и чтобы было тепло, что сделалось так.

Целый каскад звуков хлынул из интеркома — совершенно незнакомых звуков. Ровное нарастающее гудение, частое шелканье, какие-то гулы, похожие на эхо; басистое, на пороге слышимости, бормотание; писк, скрип, зудение, медные удары, потрескивание... Это продолжалось долго, несколько минут. Потом все разом стихло, и Малыш, чуть задыхаясь, сказал:

— Нет. Так мне не рассказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я вижу. Что делать?

— И тебя накормили? Согрели тебя? — спросил Комов ровным голосом.

— Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый корабль.

— А что это было? — спросил Комов и, на мой взгляд, очень удачно проимитировал звуковую кашу, которую мы только что слышали.

Пауза.

— А, понимаю, — сказал Малыш. — Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить. Ведь у тебя самого нет слова, чтобы назвать. А ты знаешь больше слов, чем я. Дай мне слова. Ты мне дал много ценных слов, но все не те.

Пауза.

— Какого это было цвета? — спросил Комов.

— Никакого. Цвет — это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами.

— Где — там?

— У меня. Глубоко. В земле.

— А как там на ощупь?

— Прекрасно, — сказал Малыш. — Удовольствие. Ч-чеширский кот! У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди.

— Ты там спишь? — спросил Комов.

— Я там все. Сплю, ем, размышляю. Только играю я здесь, потому что люблю глядеть глазами. И там тесно играть. Как в воде, только еще теснее.

— Но ведь в воде нельзя дышать, — сказал Комов.

— Почему нельзя? Можно. И играть можно. Только тесно.

Пауза.

— Теперь ты все обо мне узнал? — осведомился Малыш.

— Нет, — решительно сказал Комов. — Ничего я о тебе не узнал. Ты же видишь, у нас нет общих слов. Может быть, у тебя есть свои слова?

— Слова... — медленно повторил Малыш. — Это когда двигается рот, а потом слышно ушами. Нет. Это только у людей. Я знал, что есть слова, потому что я помню. По бим-бом-брамселям. Что это такое? Я не знаю. Но теперь я знаю, зачем многие слова. Раньше не знал. Было удовольствие говорить. Игра.

— Теперь ты знаешь, что значит слово «океан», — произнес Комов, — но океан ты видел и раньше. Как ты его называл?

Пауза.

— Я слушаю, — сказал Комов.

— Что ты слушаешь? Зачем? Я назвал. Так нельзя услышать. Это внутри.

— Может быть, ты можешь показать? — сказал Комов. — У тебя есть камни, прутья...

— Камни и прутья не для того, чтобы показывать, — объявил Малыш, как мне показалось, сердито. — Камни и прутья — для того, чтобы размышлять. Если тяжелый вопрос — камни и прутья. Если не знаешь, какой вопрос, — листья. Тут много всяких вещей. Вода, лед — он хорошо тает, поэтому... — Малыш помолчал. — Нет слов, — сообщил он. — Много всяких вещей. Волосы... и много такого, для чего нет слова. Но это там, у меня.

Послышался протяжный тяжкий вздох. По-моему, Вандерхузе.

Майка вдруг спросила:

— А когда ты двигаешь лицом? Что это?

— Мам-ма... — сказал Малыш нежным мяукающим голоском. — Лицо, руки, тело, — продолжал он голосом Майки, — это тоже вещи для размышления. Этих вещей много. Долго все называть.

Пауза.

— Что делать? — спросил Малыш. — Ты придумал?

— Придумал, — ответил Комов. — Ты возьмешь меня к себе. Я посмотрю и сразу многое узнаю. Может быть, даже все.

— Об этом я размышлял, — сказал Малыш. — Я знаю, что ты хочешь ко мне. Я тоже хочу, но я не могу. Это вопрос! Когда я хочу, я все могу. Только не

про людей. Я не хочу, чтобы они были, а они есть. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, но не могу. Люди — это беда.

— Понимаю, — сказал Комов. — Тогда я возьму тебя к себе. Хочешь?

— Куда?

— К себе. Туда, откуда я пришел. На Землю, где живут все люди. Там я тоже смогу узнать о тебе все, и довольно быстро.

— Но ведь это далеко, — проговорил Малыш. — Или я тебя не понял?

— Да, это очень далеко, — сказал Комов. — Но мой корабль...

— Нет! — сказал Малыш. — Ты не понимаешь. Я не могу далеко. Я не могу даже просто далеко и уж совсем не могу очень далеко. Один раз я играл на льдинах. Заснул. Проснулся от страха. Большой страх, огромный. Я даже закричал. Фрагмент! Льдина уплыла, и я видел только верхушки гор. Я подумал, что океан проглотил землю. Конечно, я вернулся. Я очень захотел, и льдина сразу пошла обратно к берегу. Но теперь я знаю, мне нельзя далеко. Я не только боялся. Мне было худо. Как от голода, только гораздо хуже. Нет, к тебе я не могу.

— Ну хорошо, — произнес Комов натужно-веселым голосом. — Наверное, тебе надоело отвечать и рассказывать. Я знаю, что ты любишь задавать вопросы. Задавай, я буду отвечать.

— Нет, — сказал Малыш. — У меня много вопросов к тебе. Почему падает камень? Что такое горячая вода? Почему пальцев десять, а чтобы считать, нужен всего один? Много вопросов. Но я не буду сейчас спрашивать. Сейчас плохо. Ты не можешь ко мне, я не могу к тебе, слов нет. Значит, узнать все про меня ты не можешь. Ш-шарада! Значит, не можешь уйти. Я прошу тебя: думай, что делать. Если сам не можешь быстро думать, пусть думают твои машины в миллион раз быстрее. Я уйду. Нельзя размышлять, когда разговариваешь. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера. А вчера было хуже, чем позавчера.

Загремел и покатился камень. Вандерхузе опять протяжно и тяжело вздохнул. Я глазом не успел моргнуть, а Малыш уже вихрем мчался к сопкам через строительную площадку. Я видел, как он проскочил взлетную полосу и вдруг исчез, словно его и не было.

И в ту же секунду, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом.

— Так, — сказал Комов. — Ничего не поделаешь. Яков, прошу вас, дайте радиogramму Сидорову, пусть доставит сюда оборудование, я вижу, без ментоскопа мне не обойтись.

— Хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но я хотел бы обратить ваше внимание, Геннадий... За весь разговор на индикаторе ни разу не зажегся зеленый огонь.

— Я видел, — сказал Комов.

— Но ведь это не просто отрицательные эмоции, Геннадий. Это ярко выраженные отрицательные эмоции...
Ответа Комова я не расслышал.

Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью Малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И Майка тоже.

Глава седьмая

ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ

За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но был он весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы.

По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами: они изменили его физиологию и частично анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить которые на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомофизиологических изменений лежит, может быть, на поверхности: аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным представляется вопрос, зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной. Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомофизиологиче-

ских изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у Малыша все его младенческие воспоминания и впечатления, с тем чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, Малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память Малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной Малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты, как спонтанное — внелогическое — появление у Малыша ответов на вопросы, неперенное исполнение всех осознанных и даже неосознанных желаний Малыша; прикованность Малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое напряжение, в котором пребывает Малыш в связи с появлением людей. Сам Малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему. Мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов.

Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими — так или иначе несоизмеримыми с физическими размерами Малыша. Именно поэтому Малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающей его с младенчества. («Когда я спросил его про усы, Малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли».) Лично он, Комов, склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человек встречался прежде. Мы знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели: чудовищные сооружения (или образования?) над горизонтом, появление и исчезновение

которых явно связаны с посещениями Малыша. Мы слышали: ни с чем не ассоциируемые звуки, которые производил Малыш, описывая свой «дом». Мы поняли: аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне теоретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов немного, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат Малыша, почему они вообще заинтересовались им, какое им до него дело? Откуда они знают людей — знают неплохо, разбираются в основах их психологии и социологии? Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? Как совместить, очевидно, высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности? Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие соображения на этот счет, но он полагает, что высказывать их пока преждевременно.

Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности, реализовать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество Малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все сто процентов мы сможем только в том случае, если Малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду.

— Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю, — произнес Комов, отодвинув пустой стакан. — Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята, веселее, проще! Представьте себе, что он ваш младший братишка-вундеркинд... Яков, вам придется побыть на дежурстве. В конце концов, вы сами его учредили... Ну а если Малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь с силами и позвольте ему подергать вас за бакенбарды — очень он ими интересуется. А я притаюсь, как паук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться «третьим глазом». Если Малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему ки-

но... Покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый сюрприз. И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше... По местам, ребята, по местам!

Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга.

— Вопросы есть, кибертехник? — спросила Майка. Холодно спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня.

— Нет, квартирьер, — сказал я. — Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу.

— Все это, конечно, хорошо, — задумчиво проговорил Вандерхузе. — Мне бакенов не жалко. Но!..

— Вот именно, — сказала Майка, поднимаясь. — Но.

— Я хочу сказать, — продолжал Вандерхузе, — что вчера вечером была радиограмма от Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться.

— А что Комов? — спросил я.

Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа.

— Комов высказался об этом непочтительно, — сказал он. — Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет.

— И? — сказал я. Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком никогда не видел.

— И все, — сказал Вандерхузе, тоже поднимаясь.

Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с «третьим глазом» — знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию, все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука, ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования ЭР. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не сваливались на переносицу и чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Майку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшеве-

лить ее. Все втуне — Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает, случаются у нее приступы хандры, и в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня; почему-то я чувствовал себя виноватым перед нею и совершенно не понимал, как быть.

Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но было все-таки еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде видно не было.

Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно испрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мячом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали — честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что Майка по обыкновению войдет в азарт, но и здесь втуне. В конце концов мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила мяч на рубчатку, села на него, подобрала доху и пригорюнилась.

— В чем все-таки дело? — повторил я.

Майка посмотрела на меня и отвернулась.

— Может быть, ты все-таки ответишь? — спросил я, повысив голос.

— Ветерок нынче, — произнесла Майка, рассеянно оглядывая небо.

— Что? — спросил я. — Какой ветерок?

Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом «третьего глаза» и сказала:

— Ба-кал-да-ка. На-кас слы-кы-ша-кат.

— Са-ка-ма-ка ба-кал-да-ка, — отвечивал я. — Та-кам же-ке тра-кан-сля-ка-то-кор...

— И то верно, — сказала Майка. — Вот я и говорю тебе: ветерок, мол.

— Да, — подтвердил я. — Что ветерок, то ветерок.

Я постоял, чувствуя себя чертовски стесненно и пытаясь придумать какую-нибудь нейтральную тему для беседы, ничего, кроме того же ветерка, не придумал, и тут мне пришло в голову, что неплохо бы пройтись. Я ведь ни разу еще не бродил по окрестностям — без

малого неделю здесь нахожусь, а на земле этой так толком и не стоял, только на экранах видел. К тому же был шанс наткнуться где-нибудь в зарослях на Малыша, особенно если он сам этого захочет, и это было бы уже не только приятно, но и полезно для дела: завязать с ним беседу в привычной для него обстановке. Я изложил все эти соображения Майке. Она молча встала и пошла к болоту, а я, погрузив нос в меховой воротник и засунув руки поглубже в карманы, поплелся следом. Том, изнемогая от услужливости, увязался было за мною, но я велел ему оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.

В болото мы, конечно, не полезли, а двинулись в обход, продираясь через заросли кустарника. Жалкая была здесь растительность: бледная, худосочная, вялые синеватые листочки с металлическим отливом, хрупкие узловатые веточки, пятнистая оранжевая кора. Кусты редко достигали моего роста, так что вряд ли Вандерхузе рисковал бы здесь своими бакенбардами. Под ногами упруго подавался толстый слой палых листьев, перемешанных с песком. В тени искрился иней. Но при всем при том растительность эта вызывала определенное к себе уважение. Наверное, очень нелегко было ей здесь произрастать: ночью температура падала до минус двадцати, днем редко поднималась выше нуля, а под корнями сплошной соленый песок. Не думаю, чтобы какое-нибудь земное растение сумело бы приспособиться к таким безрадостным условиям. И странно было представить себе, что где-то среди этих прозябших кустов бродит, ступая босыми пятками по заиндевело-му песку, голый человечек.

Мне почудилось какое-то движение в густых зарослях справа. Я остановился, позвал: «Малыш!» — но никто не откликнулся. Мерзлая, ледяная тишина окружала нас. Ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых — все это вызывало неожиданное ощущение, словно мы плутали среди театральных декораций. Мы обогнули длинный язык тумана, высунувшийся из горячего болота, и стали подниматься по склону холма. Собственно, это была песчаная дюна, схваченная кустами. Чем выше мы поднимались, тем тверже становилась под ногами песчаная поверхность. Взобравшись на гребень, мы огляделись. Корабль скрывали от нас облака тумана, но посадочная полоса была видна хорошо. Весело и ярко блестела под солнцем рубчатка, сиротливо чернел

посередине оставленный мяч, и грузный Том неуверенно топтался вокруг него — явно решал непосильную задачу: то ли убрать с полосы этот посторонний предмет, то ли при случае жизнь положить за эту забытую человеком вещь.

И тут я заметил следы на промерзшем песке — темные влажные пятна среди серебристого инея. Здесь проходил Малыш, проходил совсем недавно. Сидел на гребне, а потом поднялся и пошел вниз по склону, удаляясь от корабля. Цепочка следов тянулась в заросли, забившие дно лощины между дюнами. «Малыш!» — снова позвал я, и снова он не отозвался. Тогда я стал спускаться в лощину.

Я нашел его сразу. Мальчик лежал ничком, вытянувшись во всю длину, прижавшись щекой к земле и обхватив голову руками. Он казался очень странным и невозможным здесь, никак не вписывался он в этот ледяной пейзаж. Противоречил ему. В первую секунду я даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слишком уж здесь было холодно и неприятно. Я присел рядом с ним на корточки, окликнул, а потом, когда он промолчал, легонько шлепнул его по голому поджарому задку. Это я впервые прикоснулся к нему и чуть не заорал от неожиданности: он показался мне горячим, как утюг.

— Он придумал? — спросил Малыш, не поднимая головы.

— Он размышляет, — сказал я. — Трудный вопрос.

— А как я узнаю, что он придумал?

— Ты придешь, и он сразу тебе скажет.

— Мам-ма, — вдруг сказал Малыш.

Я взглянул, Майка стояла рядом.

— Мам-ма, — повторил Малыш, не двигаясь.

— Да, колокольчик, — сказала Майка тихо.

Малыш сел — перелился из лежачего положения в сидячее.

— Скажи еще раз! — потребовал он.

— Да, колокольчик, — сказала Майка. Лицо у нее побелело, резко проступили веснушки.

— Феноменально! — произнес Малыш, глядя на нее снизу вверх. — Щелкунчик!

Я прокашлялся.

— Мы тебя ждали, Малыш, — сказал я.

Он стал смотреть на меня. С большим трудом я

удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо.

— Зачем ты меня ждал?

— Ну как зачем... — Я несколько растерялся, но меня тут же осенило: — Мы скучаем без тебя. Нам без тебя плохо. Нет удовольствия, понимаешь?

Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудобно сел — я бы двух секунд так не просидел.

— Тебе плохо без меня?

— Да, — сказал я решительно.

— Феноменально, — проговорил он. — Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Ш-шарада!

— Ну почему же шарада? — огорчился я. — Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада. А сейчас мы встретились, можно играть... Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один...

— Нет, — возразил Малыш. — Только сначала я играл один. А потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним играть, оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так.

Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы — черные, белые, желтые, красные, а потом сел посередине и горделиво огляделся. И должен вам сказать, это было зрелище: голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах.

— Феноменально, — сказал я и посмотрел на Майку, приглашая ее принять хоть какое-нибудь участие в беседе. Мне было неловко, что я сам все время говорю, а она молчит. Но она ничего не сказала, просто хмуро глядела, а фантомы зыбко колебались и медленно таяли, распространяя запах нашатырного спирта.

— Я всегда хотел спросить, — объявил Малыш, — зачем вы заворачиваетесь? Что это такое? — Он подскочил ко мне и дернул за полу дохи.

— Одежда, — сказал я.

— Одежда, — повторил он. — Зачем?

Я рассказал ему про одежду. Я не Комов. Сроду не читал лекций, особенно об одежде. Но без ложной скромности скажу: лекция имела успех.

— Все люди в одежде? — спросил пораженный Малыш.

— Все, — сказал я, чтобы покончить с этим вопро-

сом. Я не совсем понимал, что его, собственно, поражает.

— Но людей много! Сколько?

— Пятнадцать миллиардов.

— Пятнадцать миллиардов, — повторил он и, выставив перед собой палец без ногтя, принялся сгибать и разгибать его. — Пятнадцать миллиардов! — сказал он и оглянулся на призрачные остатки фантомов. Глаза его потемнели. — И все в одежде... А еще что?

— Не понимаю.

— Что они еще делают?

Я набрал в грудь побольше воздуха и принялся рассказывать, что делают люди. Странно, конечно, до сих пор я как-то не задумывался над этим вопросом. Боюсь, что у Малыша создалось впечатление, будто человечество занимается большей частью кибертехникой. Впрочем, я решил, что для начала и это неплохо. Малыш, правда, не метался, как во время лекций Комова, и не скручивался в узел, но слушал все равно словно завороженный. И когда я кончил, совершенно запутавшись и отчаявшись дать ему представление об искусстве, он немедленно задал новый вопрос.

— Так много дел, — сказал он. — Зачем пришли сюда?

— Майка, расскажи ему, — взмолился я сиплым голосом. — У меня нос замерз...

Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки принялась вяло и, на мой взгляд, совсем неинтересно рассказывать про блаженной памяти проект «Ковчег». Я не удержался, стал ее перебивать, пытаюсь расцветить лекцию живописными подробностями, затеял вносить поправки, и в конце концов вдруг оказалось, что опять говорю я один. Рассказ свой я счел необходимым закончить моралью.

— Ты сам видишь, — сказал я. — Мы начали было большое дело, но, как только поняли, что твоя планета занята, мы сразу же отказались от нашей затеи.

— Значит, люди умеют узнавать, что будет? — спросил Малыш. — Но это неточно. Если бы люди умели, они бы давно отсюда ушли.

Я не придумал, что ответить. Тема показалась мне скользкой.

— Знаешь, Малыш, — сказал я бодро, — давай пойдем поиграем. Посмотришь, как интересно играть с людьми.

Малыш молчал. Я свирепо поглядел на Майку, что она, в самом деле, не могу же я один тащить на себе весь контакт!

— Пойдем поиграем, Малыш, — без всякого энтузиазма поддержала меня Майка. — Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?

— Ты будешь летать в воздухе, — подхватил я, — и все будет внизу: горы, болота, айсберг...

— Нет, — сказал Малыш. — Летать — это обычное удовольствие. Это я могу сам.

Я подскочил.

— Как — сам?

По лицу его прошла мгновенная рябь, поднялись и опустились плечи.

— Нет слов, — сказал он. — Когда захочу, летаю...

— Так полети! — вырвалось у меня.

— Сейчас не хочу, — сказал он нетерпеливо. — Сейчас мне удовольствие с вами. — Он вскочил. — Хочу играть! — объявил он. — Где?

— Побежали к кораблю, — предложил я.

Он испустил душераздирающий вопль, и не успело эхо замереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись через кустарник. На Майку я окончательно махнул рукой: пусть делает что хочет.

Малыш скользил меж кустов, как солнечный зайчик. По-моему, он не задел ни одной ветки и вообще ни разу не коснулся земли. Я в своей дохе с электроподогревом ломил напролом, как песчаный танк, только трещало вокруг. Я все время пытался его догнать, и меня все время сбивали с толку его фантомы, которые он поминутно оставлял за собой. На опушке зарослей Малыш дождался меня и сказал:

— У тебя так бывает? Ты просыпаешься и вспоминаешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда это хорошо известно. Например, как я летаю. Иногда совсем новое, такое, чего не видел раньше.

— Да, бывает, — сказал я, переводя дух. — Это называется сон. Ты спишь и видишь сны.

Мы пошли шагом. Где-то позади трещала кустарником Майка.

— Откуда это берется? — спросил Малыш. — Что это такое — сны?

— Небывалые комбинации бывалых впечатлений, — отбарабанил я.

Он не понял, конечно, и мне пришлось прочесть еще

одну большую лекцию — о том, что такое сны, как они возникают, зачем они нужны и как было бы плохо человеку, если бы их не было.

— Чеширский кот! Но я так и не понял, почему я вижу во сне то, чего раньше не видел никогда.

Майка нагнала нас и молча пошла рядом.

— Например? — спросил я.

— Иногда мне снится, что я огромный-огромный, что я размышляю, что вопросы приходят ко мне один за другим, очень яркие вопросы, удивительные, и я нахожу ответы, удивительные ответы, и я очень хорошо знаю, как из вопроса образуется ответ. Это самое большое удовольствие, когда знаешь, как из вопросов образуется ответ. Но когда я просыпаюсь, я не помню ни вопросов, ни ответов. Помню только удовольствие.

— М-да, — сказал я уклончиво. — Интересный сон. Но объяснить его я тебе не могу. Спроси у Комова. Может быть, он объяснит.

— У Комова... Что такое Комов?

Мне пришлось изложить ему нашу систему имен. Мы уже огибали болото, и перед нами открылся корабль и посадочная полоса. Когда я закончил, Малыш вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Странно. Никогда со мной так не было.

— Как?

— Чтобы я хотел для себя и не мог.

— А что ты хочешь?

— Я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два.

— Ну, брат, — сказал я, — тут и хотеть нечего. Это же невозможно.

— А если бы возможно? Плохо или хорошо?

— Плохо, конечно, — сказал я. — Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать... Можно разорваться пополам. Это совсем плохо. Можно заболеть: называется раздвоение личности. Это тоже плохо, но это можно поправить.

— Больно? — спросил Малыш.

Мы ступили на рубчатку. Том уже катил навстречу, гоня перед собой мяч и радостно мигая сигнальными огоньками.

— Брось об этом, — сказал я. — Ты и в целом виде хорош.

— Нет, не хорош, — возразил Малыш, но тут набежал Том, и началась потеха.

Из Малыша градом посыпались вопросы. Я не успевал отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не успевал касаться земли. И только Малыш все успевал.

Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело, даже Майка в конце концов разошлась. Наверное, мы были похожи на расшалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана. Сначала еще была какая-то неловкость, сознание того, что мы не развлекаемся, а работаем, что за каждым нашим движением следят, что между нами и Малышом осталось что-то тяжелое, недоговоренное, а потом все это как-то забылось. Остался только мяч, летящий тебе прямо в лицо, и восторг удачного удара, и злость на неуклюжего Тома, и звон в ушах от удалого гиканья, и резкий отрывистый хохот Малыша — мы впервые услышали тогда его смех, самозабвенный, совсем детский...

Это была странная игра. Малыш придумывал правила на ходу. Он оказался невероятно вынослив и азартен, он не упускал ни единого случая продемонстрировать перед нами свои физические преимущества, он навязал нам соревнование, и как-то само собой получилось, что он стал играть один против нас троих, и мы все время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому что мы поддавались. Потом он выигрывал, потому что мы не понимали его правил. Потом мы поняли правила, но нам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка вошла в азарт и заиграла в полную силу, я тоже делал все, что мог, но мы проигрывали очко за очком. Мы ничего не могли сделать с этим молниеносным дьяволенком, который перехватывал любые мячи, сам бил очень сильно и точно, негодуяще вопил, если мяч задерживался в наших руках дольше секунды, и совершенно сбивал нас с толку своими фантомами или, того хуже, манерой мгновенно исчезать из виду и появляться столь же мгновенно совсем в другом месте. Мы не сдавались, конечно, — от нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, мы орали друг на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось.

Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок.

— Это было хорошо, — сказал он. — Я никогда не знал, что бывает так хорошо.

— Что? — крикнул я, задыхаясь. — Устал, Малыш?

— Нет. Вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь. Поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро.

— Ну что ты, в самом деле, Малыш! — сказал я расстроено. Я не совсем понимал, что с ним происходит, но я видел, что ему действительно плохо. — Выбрось ты все это из головы! Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть...

— Нет, — сказал Малыш и вскочил. — Больше не приду.

— Ну почему же? — вскричал я. — Ведь было хорошо! Будет еще лучше! Есть другие игры, не только с мячом... С обручем, с крыльями!

Он медленно пошел прочь.

— Есть шахматы! — торопливо говорил я ему в спину. — Ты знаешь, что такое шахматы? Это величайшая игра!

Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы — простые шахматы, трехмерные шахматы, эн-мерные шахматы... Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покар. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал.

— Да, — произнес Малыш. — Я приду.

И, уже больше не останавливаясь, он побрел нога за ногу к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед, потом Майка крикнула: «Малыш!» — сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо: Малыш обещал вернуться, значит, все-таки привязался к нам, значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами... «Привыкнет, — повторял я про себя. — Ничего, привыкнет...» Я увидел, что Майка остановилась, а Малыш побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху и спросил:

— Ну что?

— Все в порядке, — сказала она. Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные.

— Я думаю, что в конце концов... — начал я и осекся. — Майка, — сказал я, — ты же «третий глаз» потеряла!

— Я его не потеряла, — сказала Майка.

Глава восьмая

СОМНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала «третий глаз» интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо-маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно, но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вершины или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте.

По-моему, Малыш двигался без определенной цели — просто брел куда глаза глядят, подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялся ослепительно белый конус нашего ЭР-2, серебристая лента посадочной полосы, оранжевый Том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзорном экране Малыша мы так и не обнаружили.

Примерно через час Малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив, и видно стало хуже. Дюны вскоре кончились, Малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья, среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой, по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму примешивалось не то жужжа-

ние, не то гудение. Звук этот, непрерывный и неприятный, становился все громче. Скорее всего это гудел и жужжал сам Малыш — может быть, это была песня, а может быть, и разговор с самим собой.

Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны, громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него, на мгновение мы увидели взбаламученную воду, затем изображение потускнело и исчезло — Малыш нырнул.

Под водой он был очень долго, я уже думал, что он утопил передатчик и мы больше ничего не увидим, но минут через десять изображение появилось снова, мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая пантианская рыба.

Когда объектив «глаза» очистился окончательно, Малыш бежал. Деревесные стволы неслись на нас и в последние мгновения стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания — только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло непонятное: Малыш как вкопанный остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не было. Когда через несколько секунд Малыш извлек руки, они были черные и блестящие, и это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения и Малыш побежал дальше.

Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню, и я не сразу понял, что это разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении и что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем Малыш медленно приблизился, заглянул в отверстие дыры люка — на мгновение экран погрузился в непроглядную тьму, затем так же медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту,

и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой почернелой обшивке явно виднелся отчетливый рельефный отпечаток — ладонь с растопыренными пальцами.

— Ух ты, мой сверчок на печи, — произнес сочный баритон.

— Колокольчик!.. — откликнулся нежный женский голос.

— Зика! — почти шепотом проговорил баритон. — Зиканька!..

Заплакал младенец.

Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон — изборожденный трещинами гранит, старые осыпи, крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницаемо черные расщелины. Малыш поднимался по склону, мы видели его руки, цепляющиеся за выступы, зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом движение стало плавным и быстрым, у меня зарябило в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел — это было несомненно.

На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами, — безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ошетиненный. И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто. Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен — сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы.

А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось, — в черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи — там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но и с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился!» — подумал я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье.

На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки — какое-то бульканье, хриплое курлыкание, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга, курлыкание и бульканье становилось то громче, то тише, разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один и еще... Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра», — сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал.

Все пространство было заполнено фосфоресцирующим туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем угадывалась какая-то структура, словно срез животной ткани под расфокусированным микроскопом, и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрания темных пульсирующих зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а Малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, а вокруг булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.

Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев Малыша. И тогда Малыш остановился. Мы поняли это потому, что звуки

перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистое бормотанье, задавленные писки... что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами... зудение, скрип, медные удары... А потом в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких; сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимая словно бы несколько сверху... И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бешеный голос Комова произнес:

— Зачем вы это сделали?

Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым лицом к лицу. Она молчала.

— Что случилось? — осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.

— Вы либо хулиганка, либо... — Комов остановился. — Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАС. Ступайте отсюда.

Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней.

— Попов! — резко сказал Комов.

Я остановился.

— Прошу вас немедленно передать эту запись в Центр. Экстренно.

Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. «Как Малыш», — мелькнуло у меня в голове.

Вандерхузе произнес, кашлянув:

— Э-э, Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? Горбовский ведь уже на базе. Может быть, все-таки на базу, как вы полагаете?

Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его казались льдинками.

— Да, конечно, — проговорил он совершенно, впрочем, спокойно. — Копию на базу, Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я бы повернул свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничился тем, что спросил с вызовом:

— А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?

Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием.

— Она включила прожектор, — сказал наконец Комов.

Я не сразу понял.

— Какой прожектор?

Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу.

— А, — произнес Вандерхузе с огорчением.

А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к рации. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты даже на освещенной стороне планеты... даже если он засыпан... Такой прожектор излучает в диапазоне от ультрафиолета до УКВ... Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой самое бешеное, самое кровожадное животное. Даже тахорги, которые вообще ничего на свете не боятся, тормозят задними ногами, останавливая свой неудержимый разбег... «С ума со-

шла, — подумал я безнадежно. — Совсем взбесилась...» Но вслух я сказал (усаживаясь за рацию):

— Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, ошибся...

— Да, действительно, — произнес Вандерхузе. — Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор... Клавиши рядом... Как вы полагаете, Геннадий?

Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону.

— Неприятно, конечно, — бормотал Вандерхузе. — Ай-яй-яй-яй... В самом деле, ведь это может отразиться... Активное воздействие... Вряд ли приятное... Гм... У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Неудивительно, что девочка ошиблась... Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать... как-то улучшить изображение... Бедный Малыш. По-моему, это он закричал...

— Вот, — сказал Комов. — Можете полюбоваться. Три с половиной кадра.

Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние, в полном соответствии с законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы.

— Это Малыш, — проговорил Комов. — Узнаете?

До меня дошло: действительно, это был Малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз.

— Похоже на многократное отражение, — пробормотал Вандерхузе.

— Отражение... — повторил Комов. — А где же тогда отражение лампы? И где у Малыша тень?

— Не знаю, — честно признался Вандерхузе. — Действительно, тень должна быть.

— А вы что думаете, Стась? — спросил Комов, не оборачиваясь.

— Ничего, — коротко сказал я и вернулся на свое место.

На самом деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели — так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером.

— Да, не много мы узнали, — проговорил Комов. — Даже шерсти клочок оказался никудышным...

— Охо-хо-хо-хонюшки, — проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка. Но я взглянул на хронометр — до конца передачи оставалось еще минут десять. Комов шуршал и возился у меня за спиной. Потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиограммы.

— Это объяснительная записка, — сказал Комов. — Отправьте сразу же по окончании передачи записи.

Я прочел радиограмму.

ЭР-2, Комов — база, Горбовскому, копия: Центр, Бадеру. Направляется вам запись с передатчика типа Т. Г. Носитель Малыш. Запись велась с 13.46 по 17.02. Прервана вследствие случайного включения лампы-вспышки по моей небрежности. Ситуация на настоящий момент неопределенная.

Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил: потому ли, что пожалел Майку (сомнительно), или устыдился своей резкости (более похоже на правду), или потому, что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из космоса существенно уменьшилась, а позиции и реноме самого Ко-

мова заметно ухудшились. Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, в самом деле? Что она — маленькая? В куклы она тут играть решила!

Автомат звякнул и выключился, я взялся за радиogramму. Вошел Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной легкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще.

— А салат? — огорченно спросил Вандерхузе.

Я покачал головой и сказал в спину Комову:

— У меня все закончено. Можно быть свободным?

— Да, — ответил Комов, не оборачиваясь. — Из корабля не выходить.

В коридоре Вандерхузе сообщил мне:

— Майка обедает.

— Истеричка, — сказал я со злостью.

— Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и довольна. И никаких следов раскаяния.

Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то книжку.

— Здорово, арестант, — сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом.

Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищулив один глаз.

— Как начальство? — осведомилась она.

— В тягостном раздумье, — сказал я, разглядывая ее. — Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедленно или довести до Дувра, где тебя повесят на цепях.

— А что на горизонтах?

— Без изменений.

— Да, — сказала Майка, — теперь он больше не придет.

Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, что не он командует в сей кампании.

— Да, — сказал я. — Похоже на то, что контакт ты нам сорвала.

— Грешна, — коротко ответила Майка и снова

уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала продолжения.

— Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо, — сказал Вандерхузе. — Будем надеяться, что это просто очередное осложнение.

— Вы думаете, Малыш вернется? — спросил я.

— Думаю, да, — сказал Вандерхузе со вздохом. — Он слишком любит задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых. — Он доел салат и поднялся. — Пойду в рубку, — сообщил он. — Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают...

Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго:

— Ты это сделала нарочно или случайно?

— А ты как полагаешь? — спросила Майка, уставясь в книгу.

— Комов взял вину на себя, — сказал я.

— То есть?

— Лампа-вспышка была включена, оказывается, по его небрежности.

— Очень мило, — произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась. — Великолепный жест.

— Это все, что ты можешь мне сказать?

— А что тебе, собственно, нужно? Чистосердечное признание? Раскаяние? Слезы в жилетку?

Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.

— Прежде всего я хотел бы узнать: случайно или нарочно?

— Нарочно. Что дальше?

— Дальше я хотел бы узнать: для чего ты это сделала?

— Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше?

— Какое безобразие? О чем ты говоришь?

— Потому что это отвратительно! — сказала Майка с силой. — Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию. — Она отшвырнула книжку. — И нечего сверкать на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах, как он великодушен! Любимец доктора Мбога! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя

хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают!

У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца. Но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно.

— Нагло! — сказал я, не находя слов. — Нагло себя ведешь! Нагло!

Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать.

— А дальше? — спросила Майка, презрительно усмехаясь.

— Все, — сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее.

— А если все, — сказала Майка, — то иди в рубку и целуйся со своим Комовым. А заодно со своим Томом и прочей своей кибернетикой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ — нет у меня товарища. Ну что ж, перебежусь.

— Приятного аппетита, — сказал я и на негнущихся ногах направился в коридор.

Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали. Я заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. В голове у меня в горькой и бездонной пустоте кружились, сталкивались и рассыпались невысказанные слова. Глупо. Глупо!.. Ну ладно, ну не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится! В конце концов, тебя сюда не приглашали, случайно ты здесь оказалась, так води себя как полагается! Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный... Снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! Ну и что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела — абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится... Ну хорошо, ну не нравится тебе. Ну откажись!.. Ведь так все шло славно, только-только с Малышом сошлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер. Друг называется... А теперь

вот ни Малыша, ни друга... И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напролом, ни посоветуется, ни объяснит ничего толком... Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал — дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2» — с Вадиком, с Таней, с головастой Нинон, в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!.. Незаметно я заснул и спал так, что только бурболки отскакивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое суток я не спал и четырех часов. Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на вахту.

— А Майка? — спросил я спросонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не расслышал.

Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через шесть часов меня сменит Комов.

Было ровно двадцать два по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана — рвал в клочья туманную шапку над горячей трясинной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился.

Я попытался представить себе, что сейчас делает Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее, не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями... Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть, ох есть о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжело переживает обиду, которую нанесла ему Майка. («Мам-ма...» — «Да, колокольчик», — вспомнил я.) С точки зрения Малыша это все должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше

сюда никогда бы не пришел... А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на Малыша свой обруч. «Молодец, Майя, — сказал он. — Это хороший шанс, я бы не рискнул...» Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео... хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей... Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только — каким образом летел, почему летел, на чем летел?.. И эта сцена у разбитого «Пеликана»... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту...

Запел радиовывоз. Я подошел к радию. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал, робко попросил Комова.

— Кто вызывает? — осведомился я не очень приветливо.

— Это такой член Комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия. — Я сел. — Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?

— Сейчас, Леонид Андреевич, — забормотал я. — Сию минутку, Леонид Андреевич... — Я торопливо включил интерком. — Комова в рубку, — сказал я. — Срочный вызов с базы.

— Да не такой уж срочный... — запротестовал Горбовский.

— Вызывает Леонид Андреевич Горбовский! — торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слишком копался.

— Молодой человек... — позвал Горбовский.

— На вахте Стась Попов, кибертехник! — отрапортовал я. — За время моей вахты никаких происшествий не произошло!

Горбовский помолчал, лотом неуверенно произнес:

— Вольно...

Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место.

— Комов слушает, — проговорил он. — Это вы, Леонид Андреевич?

— Это я, здравствуйте... — отозвался Горбовский. — Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки...

Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.

— Ага, — удовлетворенно сказал Горбовский. — Вот я вас начинаю видеть.

На нашем экранчике тоже появилось изображение — знакомое мне по портретам и описаниям длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел таким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имела место царапина — по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.

Горбовский сказал:

— Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интересно. Изобретательно, изящно... молниеносно...

— Польщен, — отрывисто сказал Комов. — Но?

— Почему «но»? — удивился Горбовский. — «И» — вы хотите сказать. И большинство членов комиссии придерживается того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.

— Я здесь ни при чем, — сухо сказал Комов. — Благоприятные обстоятельства, только и всего.

— Нет, не говорите, — живо возразил Горбовский. — Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто — знать заранее. А потом — ваша решительность, интуиция... энергия...

— Я польщен, Леонид Андреевич, — повторил Комов, чуть повысив голос.

Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:

— Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу Малыша?

Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгно-

вание ока, с наивозможной быстротой и прямотой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать.

Комов сказал:

— Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.

— Я понимаю, — сказал Горбовский. — Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?

— Леонид Андреевич, — произнес Ковов жестко. — Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание Малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, — ситуация критическая. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и Малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не понимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество... Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у Малыша — после того, как мы раскроем ему истинное положение дел, — в сознательное стремление защитить от нас свой «дом», своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен, мы сумеем убедить Малыша, что наши цивилизации — это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радостна и полна... — Ковов помолчал. — Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого слу-

чая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.

— Понимаю, — сказал Горбовский. — Знаю ваши идеи, ценю их... Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности!.. И еще я все думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело пойдет так далеко уже через двое суток. — Горбовский сделал паузу. — Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить отбой.

— Контакт будет! — сказал Комов.

— Контакта не будет, — мягко, но настойчиво повторил Горбовский. — Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. С разумом, замкнутым на себя.

— Это не замкнутость, — сказал Комов. — Это квазизамкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.

— Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость — это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например санитарно-гигиеническая. Что же касается Малыша... Конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность...

— Все это возможно, — сказал Комов. — Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки контакта остаются. Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией... Нет, Леонид Андреевич. Обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего — и только. Вы предлагаете отступить, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.

— Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет, — тихонько сказал Горбовский.

— Кто же еще? — осведомился Комов с легкой иронией. — Август-Иоганн-Мария Бадер?

— Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий... Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер боржурнал не на планете, а еще в космосе; не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно, — вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И вот два часа назад пришло сообщение, что он наконец обнаружен. — Горбовский замолчал.

Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать:

— Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое — мне объясняли, но я не понял, что именно — какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на бордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. Очень давно установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной, иного объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один: они на своем опыте поняли, что местная цивилизация некоммуникабельна, более того, она замкнута, более того, контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август-Иоганн-Мария Бадер... Но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о Странниках, Геннадий. — Горбовский снова помолчал. — Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзи-

рая даже на мнение Странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций... Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья, и за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.

Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный, какой-то надломленный. Заговорил он о Странниках; сначала удивился тому, что Странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ни чем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувекковая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск — слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку. «Да, — соглашался Горбовский, — я тоже об этом думал». Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. «У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения; а ведь теперь они предстают в новом свете». — «И верно! — с энтузиазмом подхватил Горбовский. — Об этом я как раз не подумал, это очень интересная мысль». Поговорили об охранным спутнике, удивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления Странников об обитаемости вселенной, нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что Странники, по-видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись — возможно, прав Боровик, полагая, что Странники вообще покинули Галактику. Комов полушутливо предположил, что аборигены и есть Странники — угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшийся на себя Горбовский опять

намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию Странников в свете теории вертикального прогресса.

Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то Островной Империи и о роли в этом умиротворении некоего Карла-Людвига, которого они почему-то тоже называли Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от Карла-Людвига к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации... Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное — почему они говорят именно об этом.

Потом Горбовский сказал:

— Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы таки давненько не видались.

— Но скоро, конечно, увидимся вновь, — проговорил Комов с горечью.

— Да, думаю, дня через два. Бадер уже в пути. Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь Комкон будет на базе.

— Значит, до послезавтра, — сказал Комов.

— Передайте привет вашему вахтенному... Стасю, кажется. Очень он у вас... такой... строевой, я бы сказал. И Якову, Якову обязательно передайте привет! Ну и всем остальным, конечно.

Они попрощались.

Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и кололо под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно: «А что мне Странники? Подумаешь, Странники! Я сам в некотором роде Странник...»

Вдруг Комов сказал:

— Ну а ваше мнение, Стась?

Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?» — но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы,

смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полужакрыты, рот какой-то скорбный.

— Наверное, придется выждать... — сказал я. — Что ж делать... Да и Малыш, может быть, больше не придет... во всяком случае, не скоро придет...

Комов усмехнулся краем рта.

— Малыш-то придет, — сказал он. — Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?

Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании Вандерхузе.

— Тогда, может быть... — пробормотал я нерешительно, — может быть, и на самом деле лучше...

Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова что мог сказать незаметный рядовой кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы шесть с половиной суток, — парень, может быть, и неплохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признать, невеликого ума, простоватый, невежественный...

— Может быть, — вяло сказал Комов. Он поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось. Он почти выкрикнул: — Неужели же никто из вас не понимает, что Малыш — это случай единственный, случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний! Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Ни-ког-да!

Он ушел, а я остался сидеть лицом к ради и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, бедная Майка, бедный Малыш... А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет легче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать: наткнуться — лично наткнуться! — на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести наконец под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг все вдребезги! Вдруг тот самый Малыш, который должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие... Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза,

вроде апорий Зенона... Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество все-таки... В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности — и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели из головы.

Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на снегу и не решается войти, одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями...

Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек, испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Черт знает, какая дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.

Это был наш мяч. А на мяч был напаян обруч с «третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.

И ни одного следа на снежной пелене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Побеседуем? Давай?

Для связи выделено четыре часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписания. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник Странников... Я не сержусь. На него нельзя сердиться.

— Здравствуй, Малыш, — отзываюсь я. — Конечно, давай побеседуем.

Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой стандартный вопрос:

— Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изображение?

Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов, лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит, может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова — «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брамселям»...

— Почему глаз видит? — начинает он.

Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и, хотя теперь он бросил эту свою манеру: метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает, я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неопиcуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.

— Феноменально! — хвалит он, когда я заканчиваю. — Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз...

Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас:

— Как узнали, что люди думают головой? — спрашивает он. Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но, когда я заканчиваю, он объявляет:

— Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?..

Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удастся, и в последнее время я заметил, что Малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться? Кто его знает... Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его...

— Почему вы можете, а я не могу?

— Этого мы еще толком не знаем, — признаюсь я и осторожно добавляю: — Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек...

— Тогда что же такое человек? — немедленно осведомляется он. — Что такое человек совсем?

Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений — относительно моделирования П-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов...

— У тебя усталый вид, — сочувственно замечает Малыш. — Ты устал?

— Ничего, — говорю я, — терпеть можно.

— Странно, что ты устаешь, — сообщает он задумчиво. — Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?

Я набираю в грудь побольше воздуха и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.

— Ты рассказал хорошо, — говорит Малыш. — Скажи мне, наша беседа записывается?

— Да, конечно.

— Изображение хорошее, четкое? Изображение!

— Как всегда.

— Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед, узлы остывания здесь, здесь и здесь...

Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и неко-

торые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля.

— Обязательно, — говорю я. — Непременно передам. Сегодня же.

— А может быть, это пустяки, — вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию. — Что сейчас делает Лева? — спрашивает он.

Лева — это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в помощи, — когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь...

— Лева спит, — говорю я. — У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.

— Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?

— Это нестрашно, — говорю я искренне. — Мне интереснее с тобою, чем спать.

— Нет. Ты иди и спи, — решительно распоряжается Малыш. — Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.

Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.

— Иди спать, — повторяет Малыш. — Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?

— Никто, — говорю я, как обычно. — Можешь не беспокоиться.

— Это хорошо, — говорит он с удовольствием. — Так ты спи, а я пойду поразмышляю.

— Конечно, иди, — говорю я.

— До свидания, — говорит Малыш.

— До свидания, — говорю я и отключаюсь.

Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не выплусь.

Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег — песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним тонкие и длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.

Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понутив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Ты уже поспал?

— Да, — отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.

— А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась. Верно?

— Да, — говорю я. — Это было бы неплохо.

— Сверчок на печи, — говорит он и некоторое время молчит.

Я жду.

— Ладно, — бодро говорит Малыш. — Тогда давай опять побеседуем. Давай?

— Конечно, — говорю я. — Давай.

ЧЕЛОВЕК НАСТОЯЩЕГО — ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО

Три повести, вошедшие в этот сборник, — это три ступени творчества братьев Стругацких. Они совпадают с этапами развития современной советской фантастики.

...Вспомним, как это было в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Первые спутники и первый космический старт Юрия Гагарина. Космос сразу и неожиданно вторгся в повседневность, в обычную, обыденную жизнь, а в фантастическом преломлении и в литературу. В невообразимо далеких пространствах вселенной писатели издавна помещали всякие дива дивные, а тут вдруг стало ясно, что эти пространства близки, достигаемы, чуть ли не рукой подать.

И литература, фантастика, так сказать, обратила очи внутрь человека. Он, человек, стал восприниматься уже как представитель Человечества перед лицом вселенной. Раз мы уже смогли выйти в космос, значит, и другие, если они есть, смогут. Значит, от нас требуется...

А что, собственно, от нас требуется?

Сначала человек космический мыслился как слегка улучшенный вариант человека земного. Мужественный и решительный, наделенный всепоглощающей страстью к познанию — таков Борис Янович Лозовский из ранней повести Стругацких «Извне». Оказавшись около корабля космических пришельцев, он бесстрашно забирается туда и отправляется в неведомое. Делает он это без колебаний и не жалеет о содеянном, хотя в звездолете испытывает всяческие лишения.

Но все кончается ничем — контакт не состоялся. Лозовский высажен из корабля на Землю, и сделанное им оценивается двумя словами: «Узнал и рассказал». Молодые в то время писатели, начинаю-

шие фантасты Аркадий и Борис Стругацкие были достаточно талантливы, чтобы создать и подробно мотивировать ситуацию (временами излишне подробно), но еще не сумели взять от нее все, что можно.

В дальнейшем Стругацкие посвятили этой теме много книг, можно сказать, создали свою модель контакта. И опять-таки модель эта была неразрывно связана с общим развитием советской фантастики, которая требовала от героев, вступающих в контакт с иными цивилизациями, не только выдающихся личных качеств, но и высокого общественного сознания, подлинно гуманистического мировоззрения. Таков был, например, Антон-Румата из повести «Трудно быть богом», человек, выносящий почти невыносимые душевные муки ради того, чтобы помочь обитателям далекой планеты поскорее стать людьми, ради того, чтобы ускорить духовный прогресс другого человечества.

«Пикник на обочине», который читатель найдет в этом сборнике, — своеобразное продолжение темы контакта. Однако это не просто продолжение, повторение пройденного в новом варианте. Издавна приходилось слышать, что в фантастике не встретишь многогранный, подробно выписанный характер, психологическую глубину. До поры до времени это и в самом деле было так, герой был не более чем олицетворением идеи, рупором автора. Однако развитие фантастики привело ее к необходимости такого героя, к характерам сложным и многоплановым. Произошло это не в последнюю очередь потому, что такой герой требовался именно для произведений, посвященных контакту, — не просто носитель, пусть самых передовых, авторских взглядов, но личность, во взаимодействии которой с иным разумом проявляются те или иные стороны человеческой природы вообще. Фантастика смотрит в будущее как в зеркало и видит в нем сегодня не столько другие планеты и могучую технику, сколько нашего современника. Проецируя его черты в будущее, она стремится выяснить, что же в нем годится или не годится для настоящего.

Итак, пригоден ли Рэд Шухарт из «Пикника» для контакта с иной цивилизацией? Конечно же, нет, несмотря на его смелость, решительность, самоотверженность. Стругацкие в этой повести пользуются методом «от противного», они как бы смотрят, а что получится, если контакт выпадет на долю человека, обладающего многими подходящими чертами, но лишённого одной, главной, — цельного гуманистического мировоззрения. Человека, социально безграмотного, не понимающего устройства и законов общества, в котором он живет.

Стругацкие создают некий городок Мармонт, который посетили пришельцы. Придумывают профессию сталкера — человека, добывающего из Зоны посещения всяческие чудеса и этим живущего. И «героя» — вот этого самого Рэда Шухарта.

Вероятно, можно прочитать «Пикник на обочине» как обыкновенную приключенческую фантастику. Но, мне кажется, гораздо интереснее и поучительнее следить за подлинным сюжетом повести — нравственной эволюцией Рэда Шухарта. (Обратим внимание на то, что в современной фантастике не так уж часто встречаются книги, в которых самым поучительным и интересным является нравственная эволюция героя, — в большинстве произведений он формируется до начала действия и существует как данность, практически неизменная, а сюжет складывается из взаимодействия этой данности с разными фантастическими явлениями.)

От встречи разных людей с инопланетными чудесами могут полу-

читься разные результаты. До поры до времени фантасты не обращали на этот факт особого внимания, героем их произведений становился, так сказать, среднеарифметический человек. Но развитие фантастики, приближение ее к обычной, нефантастической литературе привело ее к человеку социально детерминированному, конкретному.

Причем дело не только в том, что Шухарт не ученый, что ему не хватает знаний. Есть ли у нас уверенность, что высококошлый ученый Валентин Пильман в финале «Пикника на обочине», оказавшись около Золотого шара, нашел бы те слова, ту формулу всеобщего счастья, которую так настойчиво и бесплодно ищет Рэд и чуть не плачет от сознания своего бессилия? Пожалуй, нет, ибо интеллектуал-профессор и отщепенец-сталкер примерно одинаковы по уровню их социального мышления, они воспитаны одним и тем же обществом — миром капитала.

Но Рэду в отличие от профессора дано мучительно ощутить свою социальную безграмотность там, перед Золотым шаром, к которому он наконец прорвался через все страшные чудеса Зоны. Тут самая большая его победа — все-таки дошел, и самое тяжелое поражение. Он мучается, не зная, как выразить то, чего он хочет от шара, удовлетворяющего все человеческие желания. Ведь шел-то с благими целями, с добрыми намерениями...

Что ж, если на Земле и впрямь появятся когда-нибудь гости из космоса, то возможен и этот вариант. Первым, кто встретится с ними, может оказаться вот такой парень, не умеющий думать, как он сам с горечью осознает. Насколько я знаю, Стругацкие не первыми смоделировали этот вариант, но они показали, к каким последствиям может привести такой неподготовленный контакт, «неназначенная встреча». И вывод, к которому шли авторы, возникает в сознании читателя как бы сам собой, под впечатлением финальной сцены повести. Думать надо, учиться думать: не только Рэду Шухарту — всем, чтобы точно знать, кто твой друг, кто враг, и что ты лично можешь сделать для улучшения жизни на твоей планете. К этой мысли приводят нас многие хорошие книги, но Стругацкие использовали для этого фантастическую ситуацию.

«Малыш», если рассматривать его только как новую повесть Стругацких, может показаться в их творчестве неожиданным. Но неожиданность эта весьма относительна, если включить творчество Стругацких в общий процесс развития современной фантастики. Здесь мы найдем типичную для фантастики ситуацию — попытку контакта с инопланетной цивилизацией, найдем обычных для Стругацких героев, некоторых из них мы уже встречали в других произведениях писателей. Но все это освещено новым светом — поэтическим.

Строго говоря, поэтическая фантастика не новость; в этом жанре работает, например, такой большой писатель, как Рэй Брэдбери. Однако это остается чертой его индивидуальности, в то время как обращение Стругацких к поэтической фантастике — знак сращения фантастической литературы с «обычной», поскольку до «Малыша» они писали почти «чистую» фантастику.

Думаю, нет надобности объяснять здесь, что такое поэтическая проза, тем более что перед нами сама повесть Стругацких. Скажу только, чем, по моему мнению, «Малыш» отличается от других произведений этих писателей.

Мы много узнаем о ее главном герое, Малыше, но далеко не все. Практически ничего мы не узнаем и о его спасителях, неведо-

мой цивилизации неведомой планеты. Нам не рассказывают о том, как его спасли, как он вырос, — только отрывочные, неполные сведения. Для Стругацких, умеющих придумать и обосновать любую фантастическую гипотезу, это было бы странно, если бы мы не поняли с самого начала, что они намеренно оставляют место тайне. Малыш, явившийся ниоткуда, уцелевший непонятным образом, загадочен и притягателен этой своей таинственностью. Отдадим должное мастерству писателей, сумевших сделать своего героя удивительно обаятельным, сумевших совместить в нем обыкновенного земного мальчика с порождением неведомой цивилизации — ведь он принадлежит одновременно и Земле и планете, на которой его нашли, точнее, на которой он пришел к людям. С точки зрения «чистой» фантастики идея Стругацких весьма остроумна — придумать существо, которое принадлежит двум цивилизациям. Но все, что касается обитателей планеты, загадочно и непонятно, оттого Малыш и приобретает оттенок поэтической таинственности, недосказанности. И эта недосказанность делает особенно значимой одну из главных идей Стругацких, разрабатываемую ими во многих произведениях, — идею о том, что всякое вмешательство в жизнь другой цивилизации должно быть тщательнейшим образом обосновано и подготовлено, и о том, что могут быть соображения, по которым вмешательство вообще не возможно; так в конце концов и получается в «Малыше».

Дебют братьев Стругацких в литературе состоялся около двадцати лет назад. Они работали во многих жанрах научной фантастики, создали много книг, пользующихся популярностью. Но мне кажется, что одна из ведущих тем их творчества — это тема контакта. Вновь и вновь возвращаются они к этой теме, вновь и вновь решают ее на разном материале, но в главном остаются верными себе, какие бы фантастические гипотезы они ни изобретали. В сущности, ставя своих героев перед разными ситуациями контакта, они заставляют их решать одну задачу — «найти этическую панацею для всего человечества», как говорил один из героев Лема. Задачу, неразрешимую не только для них, но и для общества, в котором живут некоторые из них, для мира, сегодня разделенного на два лагеря. Но тут важно другое — нравственное и интеллектуальное бесстрашие человека, идущего навстречу этой неразрешимой задаче и делающего все лично от него зависящее, чтобы она когда-нибудь была разрешена. Важно, что Рэд Шухарт вдруг понимает: его счастье каким-то непостижимым для него образом связано со счастьем всех живущих на Земле.

Ю. Смелков

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ИЗВНЕ | 5 |
| ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ | 63 |
| МАЛЫШ | 211 |
| Человек настоящего — Человек будущего. Ю. Смелков | 348 |

ИБ № 2238

АРКАДИЙ, БОРИС
СТРУГАЦКИЕ

НЕНАЗНАЧЕННЫЕ ВСТРЕЧИ

Редактор И. Авраменко
Художник В. Гошно
Художественный редактор Б. Федотов
Технический редактор Н. Носова
Корректоры Н. Павлова, В. Назарова

Сдано в набор 19.11.79. Подписано в печать 05.09.80.
А13811. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ.
л. 18,48. Учетно-изд. л. 19,9. Тираж 100 000 экз. Цена
1 р. 60 к. Заказ 1982.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес изд-ва и типографии:
103030, Москва, К-30. Суцевская, 21.

Сканирование - Беспалов, Николаева
DjVu-кодирование - Беспалов



